

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

НАЧАЛО ВЕКА 2/2014

НАЧАЛО ВЕКА

2



2014

НАЧАЛО ВЕКА 2014/2

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Выходит с января 2007 года

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Главные редакторы:

Геннадий СКАРЛЫГИН
Владимир КРЮКОВ

Редколлегия:

АЛЕКСАНДР КАЗАРКИН
ГАЛИНА КЛИМОВСКАЯ
ВЕНИАМИН КОЛЫХАЛОВ
ВАЛЕРИЙ МАРКОВ
ВАЛЕРИЙ СЕРДЮК
НИКОЛАЙ СЕРЕБРЕННИКОВ
НИКОЛАЙ ХОНИЧЕВ
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

Адрес редакции:

634069, г. Томск,
ул. Шишкова, д. 10.
Тел. 528-369,
e-mail: tooooospr2013@yandex.ru

Электронная версия журнала:

<http://www.lib.tomsk.ru>
(электронная библиотека)

При перепечатке материалов
ссылка на журнал
«Начало века» обязательна.
Мнения авторов не обязательно
совпадают с мнением редакции.

На обложке:

Вадим Мизеров.
Солнечный день. 1946.

Журнал выходит
при поддержке
Администрации Томской
области

В НОМЕРЕ:

Татьяна МИКУЦКАЯ
Мастро акварели Вадим Мизеров..... 2

ПРОЗА

Эдуард БУРМАКИН
Ради кота..... 4
Александр ЕВТЕЕВ
Лёнина невеста..... 15
Виктор ЖУКОВ
До озера и обратно..... 22

ПОЭЗИЯ

Татьяна ПРОКОПЬЕВА..... 37
Игорь ТЮЛЕНЕВ..... 42
Валентина СУРНИНА..... 49

ПАМЯТЬ

Александр ШИШКИН..... 52
Светлана АКЕНТЬЕВА..... 56

ПРОЗА

Елена КЛИМЕНКО
Прощайте, док!..... 59

ПОЭЗИЯ

Юрий ТАТАРЕНКО..... 62
Ольга КОРТУСОВА..... 65

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Михаил УСКОВ..... 72

ПРОЗА

Андрей ПОЧИВАЛОВ
Бега..... 74

ПУБЛИЦИСТИКА

Лев ПИЧУРИН..... 80

ПАМЯТЬ

Сергей СМИРНОВ
С надеждой на встречу..... 84

ЗАМЕТКИ О НАШЕМ ВРЕМЕНИ

Владимир КРЮКОВ
Слава тебе, общежитие!..... 104
Томск: что ушло, что осталось..... 127

КРАЕВЕДЕНИЕ

Александр МАЛЫШЕВ
Пимокаты..... 134
Валерий ДОМАНСКИЙ
Малороссийская труппа
Ф.А. Хмары в Томске..... 138
Сергей ЗАПЛАВНЫЙ
Все дороги ведут в Тобольск..... 142

ЧТО СМЕШНОГО

Андрей ДОРОШЕНКО..... 152

АВТОРЫ НОМЕРА..... 156

16 мая 2014 года исполнилось 125 лет со дня рождения замечательного художника Вадима Матвеевича Мизерова (1889–1954). В октябре в Томском областном художественном музее (ТОХМ) откроется его персональная выставка.

МАЭСТРО АКВАРЕЛИ ВАДИМ МИЗЕРОВ

В собрании Томского областного художественного музея хранится 144 работы Мизерова, 140 из них были подарены музею в 1989 году вдовой художника Валентиной Михайловной Гладковой. Так после нескольких десятилетий забвения в 1987–1989 годах было возвращено имя и наследие одного из крупнейших русских художников.

Большая часть работ Вадима Мизерова была создана в любимом Томске и посвящена непарадному, меланхолическому Томску, городу небольших улочек, старых домов и синих сумерек. Ему нравилась вечеря города, где небо влажно, как море, а океан серебристых тополей безбрежен, как небо. На чем бы ни останавливался взгляд мастера, всё превращалось в «пластическое событие». Он, как истинно русский художник, был романтичен в отношении к будничному, неизменно скрывающему в себе возвышенное.

Родина художника – небольшой городок Пермской губернии Красноуфимск, где его отец – Матвей Иванович, выпускник Казанского университета, доктор медицинских наук, – работал в земской больнице и где до настоящего времени одна из улиц носит его имя.

Художественное образование Вадим Мизеров получил в Казанской художественной школе, которую окончил с отличием в 1913 году, обучаясь у известного художника мирового уровня Николая Ивановича Фешина. По странному стечению обстоятельств темой дипломного проекта, за который молодой художник получил первую премию, была «Часовня для Томска», а через семь лет судьба привела его с женой и сыном Борисом в наш город, где он прожил до конца жизни.

Томск стал для Мизерова городом, которому он посвятил дар педагога, работая в томских вузах с 1923 по 1948 год, и свой талант художника, изображая город и друзей-томичей на акварелях, не теряющих яркость и сочность красок до настоящего времени. В 1921 году он открыл частную художественную студию и вёл её до конца жизни. Располагалась она во Дворце труда, затем в Доме учёных. Из студии вышло немало известных художников, архитекторов и просто талантливых людей, обладающих хорошим вкусом. Это омский мастер пастели, член-корреспондент Академии художеств А. Либеров, автор монографий об архитектуре А. Прибыткова, Е. Ащепков – новосибирский профессор архитектуры, петербургский архитектор и график С. Захаров, костромской живописец В. Рассыпнов. У Мизерова учились томские профессора Л. Березнеговская, С. Гудошников, томские художники В. Гроховский, В. Попов, М. Горбатенко, заслуженные художники России К. Залозный и Г. Ламанов. Его ученик, впоследствии действительный член Академии художеств Михаил Васильевич Посохин (сын известного в Томске книготорговца) писал о своем учителе: «Вадим Матвеевич обладал редким талантом художника и, прежде всего, секретом и необыкновенным мастерством чистой акварели. Кроме того, велика его заслуга в передаче молодым своего большого опыта и знаний в художественной студии. Был период в юношестве, когда для меня сибирский художник Мизеров был почти кумиром. Внешность у него была именно такой, каким я представлял себе настоящего художника: крупные черты лица, удлинённые густые волосы, тёмная блуза в виде толстовки с большим бантом на шее и какая-то спокойная, с достоинством постановка фигуры и выразительной головы».

Художник исповедовал в своём творчестве идею живого, эмоционального языка акварели, наделяя её нотами грустного гротеска или значительности незначительного, столь свойственными «мирикусникам» – творцам Серебряного века русской культуры. Мизеров воплощал ностальгию по юношеским идеалам близкого ему художественного круга, что

придавало его работам обаяние «мирискусников второго поколения». Это был мастер тонкого, даже тончайшего и драгоценного слоя русской интеллигенции, тот, для кого политика не имела цены. «Только в мире искусства создается истинная красота, прикосновение к которой озаряет собой неэстетичное бытие». Поэтому у Мизерова столь часто соединяются идея и декоративный мотив, светящиеся пятна цвета и гибкая линия «модерна», которые образуют особый мир художника, где пространство обладает глубиной, фигуры и предметы почти лишены массы, а звучный цвет доминирует в мелодичном строе композиции.

Стиль модерн сформировал нового художника – универсальную артистичную личность, мечтателя и практика одновременно, способного создавать произведения и преобразовать в явление искусства самые прозаические предметы быта и лица крестьянских девушек, извлекая из природы одухотворенную красоту. Мизеров был и педагогом-практиком, и теоретиком, разработавшим свой курс по «Перспективе» и «Теории теней», и архитектором-декоратором, выполнившим проект реконструкции Дома учёных, и автором статей по искусству.

Но главное – он был Маэстро акварели. Он отмечал эту технику как наиболее камерную, которая настраивает на доверительное общение, предполагает определённую роль интимности «собеседования» художника и зрителя. Обаяние его портретных образов истекает из атмосферы той ясной и спокойной благожелательности, в которую они погружены художником. С увлекательной пристальностью любителю он душевными и пластическими особенностями своих моделей и передаёт их языком особого благородства. Ему нравилось сравнение живописи с романом в прозе, а акварели – с романтическими стихами.

Семья и окружение дали Мизерову глубокие знания европейской и русской культуры и истории, определили его жизненную позицию – позицию мудрого созерцателя, «своего» в минувших веках и «собеседника» великих поэтов и философов прошлого и в то же время человека артистичного, всегда по-хорошему современного, даже модного.

Однако его художническая судьба складывалась по-особенному – не была такой звёздно-яркой, как его акварели. Первая персональная выставка прошла в 1968 году, а потом до 1987 года работы бережно хранились его вдовой Валентиной Михайловной Гладковой, профессором Политехнического института, в их доме на улице Гагарина. В 1987-м они экспонировались на выставке в Томском художественном музее, который через два года подготовил и открыл большую экспозицию работ мастера, собранную в разных городах, частных коллекциях, музеях и посвящённую 100-летию юбилею художника.

В благодарность за возвращение имени В.М. Мизерова и включение в культурный оборот его произведений В.М. Гладкова передала в дар музею всю коллекцию его работ. Саму жизнь художника можно считать произведением искусства, что делает его для нас особенно привлекательным. Разочарования, неудачи, губительные для Мизерова противоречия 1930-х годов, возможность работать только в свободное от педагогической работы время – всё, так мучившее мастера, было часто скрыто от большинства глаз. Гениальным одиночкой он прошёл свой путь, став для многих поколений сибиряков непревзойдённым маэстро акварели, талантливым педагогом и человеком, воплощавшим идеальное представление о красоте во всём.

**Татьяна МИКУЦКАЯ,
искусствовед**

Работа В.М. Мизерова (на обложке) является собственностью Томского областного художественного музея.

Эдуард Бурмакин

РАДИ КОТА

(рассказ)

1.

Кот был самым обыкновенным: тигрового окраса с белым треугольником на груди и белыми носочками, конечно, с круглыми зелёными глазами. Хозяйке его отдала вахтёрша: «Возьмите котика! Чего вы с мужем одни живёте, никакой живности у вас нет. А котик хороших кровей, охотник, будет вас развлекать». И хозяйка, поддавшись минутному настроению, взяла котёнка, который тотчас вцепился ей в кофту – не отдрать. Отдавая котёнка мужу, сказала: «Вот навязали мне кота – Матроскина. Пусть поживёт у нас?» Хозяин посмотрел на котика и заявил: «Почему Матроскин? Он по всем статьям в адмиралы годен». Котёнок тотчас оценил ум и наблюдательность хозяина и полюбил его всем сердцем. А котёнка стали звать Адмиралом. Конечно, имя совершенно не кошачье, но ему нравилось, он и сам считал себя выдающейся личностью, то есть далеко выдающейся за пределы кошачьей породы и кошачьего интеллекта. Было бы даже неловко позвать его: «кис-кис». Да он бы никогда и не откликнулся на такое вульгарное обращение. Кот рос и продолжал удивлять и радовать хозяев своими способностями. Так, он отказался справлять нужду в лотке, а вскарабкивался на унитаз. Хозяева восторгались и всем рассказывали: его же никто не приучал, не показывал, сам сообразил, поразительно! Котик лишь усмехался про себя: нашли чем восхищаться, он способен на значительно большее; немного только мешают, присутствуя всем котам, лень, а так бы он показывал разные фокусы. К примеру, он мог открыть прикрытую специально от него дверь в кухню, чтобы он не лазил по столам и не вылизывал сковороды. Дверь он открывал, сковородки и кастрюли исследовал. Но он умел, покидая кухню, лапкой прикрывать дверь, и хотя хозяева и понимали, что он был в кухне, но прикрытая дверь опять приводила их в восхищение. Между тем для Адмирала более важным было получать полноценное и вкусное питание; тут уж приходилось тренировать хозяев, чтобы поняли, что он более всего любит. Поначалу он ел кошачий корм, вполне приличная еда с некоторыми, видимо, приманивающими добавками, но вскоре понял – это уж слишком примитивно. Хотелось чего-то свеженького; он отказался от всякой еды, пока более сообразительный хозяин не понял, что кот хочет сырого мяса. Потом он таким же образом объяснил, что копчёной колбасе предпочитает докторскую, что молоко он не любит, а вот сметанку с творогом поест и сырое яйцо выпьет, и суп на мясном бульоне примет. Питание было организовано. Своим излюбленным местом он определил кресло, где со временем образовалось даже некоторое углубление, очень удобное. Иногда, в зимние холода, он забирался на хозяйскую постель и располагался у них в ногах, но в отсутствии хозяев позволял себе укладываться на подушке. Поспать он любил не меньше, чем вкусно поесть. В скором времени стало совершенно ясно, кто в доме истинный хозяин. Завоевав власть над своими кормильцами, Адмирал стал проявлять откровенно диктаторские замашки. Он решил, что ему удобней оправляться, не громоздясь на унитаз, а прямо в ванной, куда он без труда запрыгивал, но позже потребовал, чтобы его туда сажали, а потом открывали холодную воду, набирали её в ладонь, из которой он соизволил эту воду пить; он тогда заметней ощущал, что за ним ухаживают, его обожают и готовы исполнять все капризы. Да разве им самим не приятно поить любимого котика из ладошки?! И ещё одна дурная привычка появилась у Адмирала – он стал орать по ночам.

В середине ночи поднимал истошный вопль, которым мог напугать и всполошить соседей. Хозяин вскакивал с постели, бежал к коту: «Что? Что ты орёшь?» Он и сам не мог объяснить: то ли какие-то страхи наваливались, то ли инстинкт ночного охотника пробуждался, а, может быть, просто самодурство тирана проявлялось в этих ночных воплях, но ему совершенно необходимо было, чтобы вышел хозяин, чтобы поговорил с ним, посадил в ванную, разбил сырое яйцо или дал консервы из лосося. Так и повелось каждую ночь. Стало ясно, что оставлять Адмирала на ночь одного нельзя, соседи милицию вызовут. А хозяева как раз выиграли в какой-то лотерее путёвки в Таиланд. Конечно, им очень хотелось поехать отдохнуть, потому что они за зиму сильно устали на своих работах и вообще никогда не бывали в Таиланде. Обратились за помощью к родителям. Конечно, можно было бы отнести кота к старикам на квартиру, но кто-то из знающих людей сказал им, что это будет для него большим потрясением. Оставался только один вариант: кому-то из родителей придётся на время их поездки пожить с котом в их квартире. Мама отпадала – у неё давление. Оставался отец. Будто у него нет давления и он не устал за учебный год, и в Таиланде каждое лето проводит. А ему, ведь, уже за семьдесят и больное сердце. Но он ещё работал, не оставлял свою профессорскую должность на кафедре культурологии, читал лекции, занимался с аспирантами. Как-нибудь две недели переживёт с котом? А старик собирался летом, наконец, хорошо додумать и написать статью о современных острых вопросах этики. Для этого ему нужен был его привычный письменный стол, его ноутбук, давно установившийся режим дня. Теперь всё рушилось ради кота. Но чего не сделаешь ради кота, вернее, ради детей, которым так захотелось отдохнуть в Таиланде! Всё-таки всё равно ради кота. Старик по доброте душевной согласился подомовничать с котом, но чувствовал себя обиженным. Адмирал, конечно, знал этого старика, даже испытывал некоторое уважение к его профессорскому званию, но когда тот пытался, согласно традиционному обращению с кошками, погладить его, он спрыгивал с кресла и отбегал в сторону. Старик возмущался: «Что за кот? Погладить не даётся! Дикарь какой-то!» А кот отвечал ему про себя: «Не нужны мне такие ласки! Без всякого искреннего чувства, по привычке!»

И вот они остались вдвоём. Кот принялся – никаких раздражающих запахов не обнаружил, решил, что ещё понаблюдает за профессором, а потом уж станет проверять его в конкретных делах по обслуживанию доверенного ему Адмирала. Профессор же включил телевизор – и, о радость, показывали футбол! Правда, английский, приучают своих болельщиков к жизни в колонии, но он смотрел с удовольствием, ни за кого не болея, что, конечно, было противоестественно. Иногда всё-таки и отечественные команды показывают, и, значит, он будет смотреть футбол. Настроение тотчас улучшилось. Надо сказать, жена профессора терпеть не могла футбол, можно сказать, ненавидела эту игру и даже всячески препятствовала просмотру по телевидению матчей: то, мол, сильно громко, убавь звук, то ей срочно надо поговорить по телефону, то просто она хочет смотреть фильм по другой программе; хоть покупай ещё один телик.

– Но ведь это же спорт! – неожиданно для себя обратился профессор к Адмиралу, который поглядывал на него, лёжа на своём кресле. – Как можно ненавидеть спорт? Спорт надо любить и поощрять, не жалеть на него государственных средств! Как можно больше олимпиад, универсиад, международных соревнований и турниров на приз президента, премьер-министра, лучшего хоккеиста, лучшего футболиста и т.п. Спорт отвлекает молодёжь от наркотиков, от разных демонстраций, вообще от политики, которая тоже вредный и опасный наркотик. Нет, в самом деле. Если говорить всерьёз, в частности, о футболе, то, как же его можно не любить? Это же универсальный спорт, который требует от спортсмена полноценной, всесторонней подготовки,

не только физической, но и психологической и интеллектуальной. Известная поэтесса Инна Лиснянская очень любила футбол, она открыла в нём шахматную природу: каждый матч, как партия в шахматы, со своей стратегией, тактикой, которую определяет тренер, а футболисты реализуют. Вообще спорт нельзя ненавидеть! Это противоестественно. Правда, я сам тоже кое-что возненавидел, а именно ныне ставшие очень популярными смешанные единоборства. Но это не спорт! Это драка без правил, без элементарных человеческих нравственных норм. С детства помню, что даже в уличной драке было правило – лежачего не бьют, а тут именно лежачего и бьют, стараются свалить соперника и безжалостно колошматить его по голове и лицу, до крови и всё равно бить и бить. Вот пропаганда жестокости и насилия. И что же тут удивляться, когда показывают снятые на мобильник самими участниками избиения кадры, где девочки бьют свою одноклассницу, уже упавшую. Это сколько же злости скопилось у людей?

Вот такой спич произнёс профессор, обращаясь к коту. А потом спросил его:

– Ты сам-то, поди, как раз эти смешанные единоборства любишь смотреть?

– Нет, мне нравятся прыжки в длину, – ответил кот. А старик даже и не понял, что услышал внятную человеческую речь, подумал – пригрезилось, сильно возбудился. Кроме того, он же смотрел футбол и заговорил с Адмиралом, не отрываясь от экрана телика.

Вечер прошёл в обстановке намечающейся дружбы и взаимопонимания. Тем более неожиданным и возмутительным стал ночной крик Адмирала. Старик вскочил с дивана, где ему была постелена постель: «Ты что орёшь? Бесстыдник! Ведь взрослый мужик уже, а кричишь на весь дом, спать не даёшь». Кот орал, стоя перед закрытой дверью спальни, видно, забыл, что хозяева уехали. Профессор напомнил ему: «Там никого нет, в Таиланд улетели». «Точно знаешь?» – спросил Адмирал. «Да точно, точно. Поэтому я и ночую здесь и вынужден слушать твой крик». Тем не менее, он посадил кота в ванную, налил ему свежей воды в плошку, в другую разбил сырое яйцо, то есть выполнил весь ночной ритуал, к чему его готовили хозяева кота, объясняя что и как надо делать. Снова лёг на диван. Кот растянулся рядом на полу, было тепло, дверь в лоджию открыта и оттуда тянуло прохладой.

– Сон перебил, – сказал старик недовольно.

– Да ты бы и сам скоро поднялся в туалет, – отвечал кот.

– Откуда тебе знать? У меня пока с этим делом всё в порядке, могу до шести утра терпеть, – ответил старик и тут же спохватился – кот говорил и он его понимал: – Ты что, можешь разговаривать?

– Могу. Чего ты удивляешься?

– Чёрт тебя знает, до какого самодурства ты можешь ещё дойти! Вот уж говорить начал.

– Не понимаю твоего удивления. Мировая литература запечатлела великие образы котов, которые конечно же говорили человеческой речью. Как же иначе? Ты вспомни – Кот в сапогах. Он же разговаривал. Гигантский образ. С кем его сравнить в литературе? Не с кем. А ты удивляешься. А ещё Кот учёный, который ходит по цепи кругом, при этом, заметь, то песнь заводит, то сказку говорит. А драма шекспировского масштаба «Кошкин дом», там даже котята говорят. А кот-Бегемот, который всё с примусом возится. Это вообще оборотень: то кот, то человек. Значит, наши породы близки, и у котов есть отрицательные человеческие качества, а у людей – положительные кошачьи черты. К примеру, сразу после войны бесчинствовала банда «Чёрная кошка». Кошки, конечно, тут были не причём, это люди так себя называли и рисовали на месте преступления силуэт кошки. Помнишь, в фильме, где играют Высоцкий и Конкин, есть такой эпизод. Кстати, в кино тоже кошки изображались не раз. И даже в документальном: сидит Ленин за столом, а у него на руках кошечка, и он её

поглаживает. Этот документальный эпизод многого стоит. А знаменитая песня про чёрного кота, которому почему-то не везёт: она же разоблачает выдуманную людьми примету – если чёрный кот дорогу перейдёт, то, мол, будет неприятность. Мракобесие какое-то! Много чего можно ещё вспомнить из мирового искусства и литературы. Я уж не говорю о таких мелочёвках, как кот Леопольд или этот любитель молочка из Простоквашина. Все говорили, все. А ты удивился. И ещё надо заметить, что замечательные страницы мирового искусства посвящены котам.

– Тебя послушать, так кошачья тема кажется самой востребованной в мировом искусстве.

– Так оно и есть. Мы носители мудрости. Потому что созерцатели, а созерцание предшествует познанию. Мы разрешаем то противоречие интеллектуальной жизни, которое не могут разрешить люди, – между левым и правым полушарием мозга: между рационально-логическим и интуитивно-эмоциональным началами мышления.

– Однако! – потрясённо произнёс профессор.

– Да, да! – продолжал Адмирал, – Вот мы гоняемся за солнечным зайчиком, и люди потешаются – вот, дурак, надеется поймать солнечное пятнышко! А мы показываем, как можно совместить рациональное и эмоциональное. Что мы не понимаем, что ли, что такие «зайчики» не ловятся. Это с точки зрения логики и рационализма, но это доставляет удовольствие. И вот мы всё знаем, но не отказываемся от наслаждения погоняться за интуицией. Ну, конечно! Солнечный зайчик – это и есть интуиция, которая догадывается о правильном решении, не имея достаточных данных. А вы потешаетесь над нами, считая нас придурками.

– Однако! – опять произнёс профессор. – Я просто потрясён и не знаю, что сказать. Наваждение какое-то! Но ты что-то слишком сложное придумал, я этого не понимаю. Хотя, что такое интуиция, я знаю.

– Уже хорошо. Интуиция – великая вещь. Она даёт возможность предугадывать будущие события. Вот известный пример – кот Леонида Ильича Брежнева! Как он задерживал хозяина, не хотел, чтобы тот поехал встречать космонавтов. Вокруг было много людей, и он не мог говорить, но всячески мешал Брежневу выйти, путался в ногах, бросался под ноги. И что? Было покушение. Правда, как заметил президент Академии наук, пострадал не тот, кто должен был, – Брежнев остался невредим. И кот предчувствовал покушение. Я подумал, что с профессором можно поговорить на серьёзные темы. Может быть, это и ему доставит удовольствие. Видишь ли, мы не имеем возможности заниматься каким-нибудь физическим человеческим трудом, но зато мозг у нас работает в полную силу. Мои хозяева думают, что я целыми днями дрыхну на кресле, а я созерцаю жизнь. Я всё вижу, всё слышу и размышляю.

– Начинаю понимать истоки твоей мудрости. Я лишён возможности заниматься только созерцанием. Занятия в университете, заседания разных учёных советов и обыденные хлопоты и заботы. Ты знаешь, что такое ЖКХ? Тут не созерцать, а волком выть хочется от бесчинства этих дельцов.

– Да уж слышан. Коту ясно, что вас дурят и обкрадывают. Придумали ОДН! В том числе за воду. А вода-то в квартире берётся, и за неё уже уплачено! Всё знаю. Погоди, ещё не то будет. Пока считают квадратные метры, а будут считать кубометры. Сколько кубометров в квартире, за столько и плати – это же воздух, каким дышишь, за всё надо платить. И за воздух ОДН введут.

– Каким образом?

– Кубометры в подъездах посчитают. Ты по подъезду, не дыша, что ли, идёшь? Тоже дышишь. Вот и плати.

– Знаешь, Адмирал, что я вспомнил. Невероятная давность! В отрочестве и ранней юности жил я у деда с бабушкой в совершенно неблагоустроенной квартире. Даже

водопровода не было, за водой ходили на водокачку, не ближний свет. Сперва носила вёдра на коромысле Муся (по паспорту – Мавра), сестра моей бабушки, потом я. Слива в доме тоже не было, стояло под умывальником, как мы говорили, поганое ведро, и все остальные удобства во дворе. Отопление печное. Из всех коммунальных услуг только свет. Платили копейки за лампочки, сколько лампочек включается, такая и плата. Не было в квартире ни одной розетки, чтобы включить какой-нибудь электроприбор, а у нас и приборов таких не было, даже утюга. Но вот стали на базаре продавать самодельные электроплитки, а куда включить её? Появились тогда «жучки», это патрон, у которого есть два отверстия для штепселя, он ввинчивается в патрон для лампочки, а в него уже лампа; с первого взгляда и не разглядишь, что есть этот «жучок», незаконно ворующий электроэнергию. И нам сосед добыл «жучка». Очень удобно было: чайник вскипятить, что-нибудь подогреть, особенно летом, не топить же печь. Видно, коммунальщики были тогда добродушными и не очень бдительными, вот их и обманывали. Теперь всё наоборот – коммунальщиков не обманешь, а они тебя – в два счёта, причём на законных основаниях. Но всё-таки и в то время много на нашей улице развелось «жучков», возросло количество истраченной электроэнергии и стали ходить и проверять, у кого есть «жучки», штрафовали. Натерпелись мы страху. Вворачивали «жучок» поздно, почти ночью, промучились лето и вывернули его совсем. Но я не об этом хотел. В общем, была только одна услуга – свет, да и тот часто отсутствовал. Тогда зажигали керосиновую лампу в одной, большой комнате, а в кухне ставили свечу. Сталкивались тьма и свет. Метались тени, будто какие-то живые существа. Страх и радость окатывали сердце. Особенно тянула к себе свеча. Такой слабый, но живой огонёк, бесстрашно разрывающий темноту. И вот через многие десятилетия читаю я у одного поэта, которого считают великим, а я не большой его поклонник, стихотворение, в котором есть строчки, показавшиеся мне гениальными. Послушай:

*Мело, мело по все земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.*

Главные слова здесь – свеча горела. Ты понимаешь, по всей земле мело, бураны, вьюги, ураганы, войны, горе, страдания, а свеча горела. Свеча горела, несмотря ни на что! В этом вся надежда человечества. Чтоб не погасла свеча человеческого разума, чувства, души. Подразумевай, что хочешь! Не должно погаснуть человечество. Свеча горела... Великий русский философ Лосев писал: «Квартиры, в которых нет живого огня – в печи, в свечах, в лампадах, – страшные квартиры». В нашей неблагоустроенной квартире был живой огонь, как и положено ему, в печке, в свече, в лампаде. Видно поэтому мы и выжили в военные годы. А что касается стихов поэта, которого считают великим, они прекрасны, но вовсе не оригинальны – они повтор, или, лучше сказать, продолжение стихов Блока:

*Чёрный вечер,
Белый снег.
Ветер, ветер!
На всём белом свете!*

Профессор обнаруживал, что он становится уж очень откровенным перед этим котом, открывает вовсе интимные свои мысли и переживания. Он давно так не разговаривал ни с женой, ни с детьми. Как не крути, а сын со своей женой уехали в

Таиланд, чтобы отдохнуть и развлечься, а он ради кота должен пожертвовать часть своего отпуска и отложить на неопределённый срок написание статьи. Несправедливо это! Утешало и развлекало то, что они с котом приладились беседовать ночами, так и пошло с первой ночи. Решил, что об этом он пока никому не станет рассказывать.

Когда сын позвонил из Таиланда, то все его вопросы были об Адмирале: как он ест, что ест, кричит ли по ночам, меняет ли дед ему воду, кот любит свежую холодную, садит ли его в ванную т.д. С горькой внутренней усмешкой отвечал старый профессор на все вопросы.

2.

Утром позвонила жена и сказала, чтобы он приходил обедать домой, а не вздумал готовить сам, непременно что-нибудь разобьёт, разольёт, поломаёт, пережжёт и т.п. В этом приглашении на обед он почувствовал проявление заботы о нём, которой не было, когда супруга послала его ухаживать за котом, будто только у неё давление, у всех давление, у него тоже. Вообще он в последние годы стал думать, что жена его никогда не любила и подтверждением чего и стала его командировка на квартиру к сыну, точнее говоря, к коту, а тут всё-таки зовёт обедать. Конечно, он не стал рассказывать о ночном разговоре с котом; жена ни за что не поверит, решит, что он сошёл с ума и начнёт советоваться со знакомыми врачами – как быть?

Он пообедал, часок вздремнул и не торопясь отправился на дежурство. Кот приготовил ему подарочек – оправился у порога входной двери, аккуратно завернув своё безобразие в тряпочку, о которую вытирали при входе ноги.

– Ну, это уже свинство! – возмутился профессор. – Вопиющий аморализм – гадить, где тебя поят, кормят, ухаживают, проявляют любовь и заботу.

– Не вижу никакого нравственного оттенка в моём поступке, – откликнулся Адмирал с кресла. – Сплошная физиология. Нельзя было столько шляться, некому в ванну посадить, у меня уже возраст, самому трудно запрыгивать.

– Для этих целей есть лоток.

– Спасибо! Меня держат взаперти, как заключённого, и ещё для полного совпадения поставили парашу. В парашу оправляться не буду! Это мой протест и проявление, хоть в малой степени, моей независимости.

– Ну, ты демагог изрядный. Нагадил и оправдывает это с позиций демократии и свободы личности. Получается не хуже, чем у наших либералов.

– А как же иначе? Законы демократии общи для всех.

– Я тебе немного рассказывал, как жил в неблагоустроенной квартире. Так вот, была у нас кошка, которую звали без всяких выпендриваний Муркой. Справлять нужду кошку отправляли в подполье – открывали крышку и туда её подталкивали. А в подполье темень, холод, сырость, вонь от плесени и грибка на старых брёвнах. Считалось, что грибок этот очень вреден для здоровья. И вот наша Мурка иногда избегала подполья. Тогда Муся (по паспорту Мавра) хватала её за шкурку и тыкала мордой в лужу, а потом сталкивала в подполье.

– Какое зверство!

– Я тоже сердился на Мусю-Мавру, ругался даже на неё. Но что же делать, надо было приучать к порядку киску.

– Типичная для тоталитарного режима ситуация.

– Режим тут не причём, просто надо воспитывать, приучать соблюдать элементарные правила поведения. Кто-то сказал, что культура начинается с запретов.

– Лотман это сказал.

– Тебе и это известно! Образованнейшая личность! А ведёшь себя по-свински.

– Хватит нотации читать! Продолжи рассказ про Мурку.

– Что продолжать? Она жила у нас во время войны, вместе с нами холодала и голодала. Главным продуктом была картошка. Муся (по паспорту Мавра) слегка обжаривала её на гитлер-жире, это она так называла некий гидрожир, который продавался вместо маргарина и масла, ели и Мурке оставляли. И постные щи она с нами хлебала. Правда, она могла поймать мышку.

– Гадость какая!

– Тебе, конечно, гадость, а ей спасение от голода. И, между прочим, добавлю ещё один факт: Мурка никогда не орала по ночам, в отличие от тебя, просто мило мурлыкала. А ты орёшь, как пьяный мужик.

– Врач сказал мне, что это возрастное. Я стал глохнуть и не слышу своего голоса.

– Что ты ещё придумал – какой врач, когда?

– Когда мне делали операцию на ноге. Неужели сын тебе ничего не рассказывал?

– Что-то припоминаю.

– У меня коготь врос в подушечку. Конечно, я сам виноват, проследил, вовремя не отгрыз. Пришлось тащить меня в клинику. А там хирург-садист стал резать по живому без всякой анестезии. Четыре человека меня держали.

– Представляю, какой вой ты поднял.

– Что значит вой? Просто позвал на помощь добрых людей. Сбежалось много, побросали своих зверей. Никто, конечно, не помог. Вот тогда этот живодёр и объяснил хозяину, что я стал стареть и не слышу своего голоса. Хотел ещё про твою Мурку спросить – у неё котята были?

– Честно сказать, не знаю, не видел. Наверное, были, она же свободно гуляла, где хотела.

– А вы их топили в поганом ведре, которое под умывальником стояло?

– Я же сказал, что не знаю, не видел.

– Топили, конечно. Как подумаешь об этих ваших зверствах, так можно возненавидеть весь род людской. Вообразили себя высшими существами, которым всё позволено, и во всём они заранее правы. А в чём истина то? Никто же из вас не знает. И ведь сегодня некоторые ублюдки своих новорожденных детей, как котят топят, если не в поганом ведре, то в ванной, в реку кидают или в мусорный ящик. Эти факты говорят о том, что человечество, как разумное начало Вселенной, вырождается...

– Тут, наверное, правильней сказать, что разум, лишённый нравственного содержания, свершает преступления. Привыкли говорить: когда разум спит, то и происходят всякие дикости. На самом деле, разум может и не спать и даже выдумывать всякие мерзости и ужасы, а вот нравственность, совесть в это время либо крепко спят, либо вообще отсутствуют у таких личностей.

– Может и так, надеюсь, что ты понимаешь, почему я не стал в молодости заводить близкие знакомства с кошечками. Нет, был, конечно, случай. Выскочил я по недосмотру хозяев в подъезд, а там хорошенькая кошечка сидит. Познакомились и в следующий раз я уж специально выскочил из квартиры. Привезли новый диван. Пока затаскивали новый и выносили старый, дверь нараспашку. Этого времени хватило для нашей скоротечной, но страстной любви. Но жить семьёй, семейными заботами, ждать, когда твоих детей утопят, – это не для меня. Я имею в виду нормальных людей, да и зверей тоже, которых дороги их дети, они живут ими, воспитывают, обучают. У одних сын научился великолепно штопать носки. Он так ловко орудовал иглой со специальной ниткой, что образовывался просто узор в клеточку, на который смотреть приятно. А его расстреляли. У других сын на мандолине великолепно играл, убили на войне. Будущего великого художника зарезал бандит; просто хорошего человека, надежду родителей, задавила машина; ещё одного приучили к наркотикам, а отсюда

спид, передозировка, ну, и так далее. Нет, семейная жизнь – тяжёлое испытание. Я уж не говорю о том, что полного согласия в семье практически не бывает. Ты вот сам, если откровенно, вполне доволен своей семейной жизнью?

– Неожиданный вопрос.

– А ты и отвечаешь на него неожиданно, то есть не раздумывая. И тогда признаёшься, что вовсе не всегда и не во всём ты удовлетворён своей семейной жизнью. Вот согласишься, на старости лет хочется, чтобы тебя похваливали за твои дела, за хорошее отношение к другим, за то, что ты много знаешь, умеешь и т.д. По себе сужу. И много ли тебя нахваливает твоя жена? За тебя скажу: вообще не хвалит, а только ворчит, потому что купил не то, что велела, не закрыл форточку на шпенёк, руки без мыла вымыл, кран в кухне течёт, а ему, хоть бы что, по телефону долго болтает, а теперь это денег стоит... Ну, и тому подобное. Вот, что ты слышишь каждый день, а вовсе не хвалу в свой адрес. Стоило ли тратить жизнь на семью, на верность жене, чтобы получить этакий финал? Причём она делает это сознательно, чтобы сдёрнуть тебя с твоих философских высот на землю, доказать, что ты обыкновенный мужичонка и при этом ленивый и неумелый – ни гвоздя вбить, ни засор в раковине кухонной ликвидировать не можешь, не умеешь, грош цена тебе в семейной жизни. А тебе охота слышать похвалы. Не дождёшься!

– Что же делать? Разводиться? – говорил старик, хоть и с ухмылкой, но всё-таки с некоторым смущением; этот Адмирал будто подглядывал за его отношениями с женой.

– Конечно, разводиться! Я бы на твоём месте давно бы ушёл, если бы умел зарабатывать. Снял бы жильё, хотя бы гостинку, сейчас это не проблема. По телеку каждый день предлагают: сдаю однокомнатную, сдаю гостинку.

– Как погляжу, крутой ты мужик.

– А иначе нельзя, затыркают. А жена, если у неё есть к тебе серьёзное чувство и ты ей нужен, сама прибежит и будет умолять вернуться.

– Ловко ты развернул разговор от своего безобразного поступка на мою семейную жизнь. Отдаю должное твоим демагогическим способностям.

Футбола не было, и они улеглись спать пораньше.

Ночью Адмирал задал профессору очень странный вопрос, который никогда бы и в голову ему не пришёл:

– Вот скажи, дед, почему кот учёный, который всё ходит по цепи кругом, идя направо песнь заводит, а налево – сказку говорит? Ведь в произведении великого поэта ничего случайного нет, всё имеет смысл.

Весьма удивившийся вопросу, старик признался:

– Никогда об этом не думал и ничего ответить тебе не могу.

– То-то, что не можешь! Здесь же речь идёт о правом и левом полушарии мозга. Пушкин знал, чем они отличаются, и учёный кот тоже знает. Идёт направо, песнь заводит – это поэзия, образное мышление; налево, сказку говорит – это уже речь, язык, логическое мышление. Учёный кот совместил то и другое. Я уж тебе говорил, что коты давно разрешили это противоречие, которое разделяет людей, разделяет разум и нравственность, рассудок и чувства. Что и подтверждает Пушкин.

– Слушай, Адмирал, ты говоришь очень важные вещи! Меня вот сейчас интересуют нравственные проблемы, и я начинаю догадываться, что левое полушарие, ответственное за вербально-логическое мышление, есть источник и оправдание безнравственности. Вот что писал великий русский философ Лосев: спросили Коперника – заботится ли солнце о земле? И он ответил, что, мол, ничего подобного, солнце её «притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний». Он «сосчитал», но счёт в применении к нравственному явлению – это

глупость. Для убедительности Лосев приводит ещё цитату из Розанова: «Конечно, – земля не имеет об себе заботу солнца, а только притягивается по кубам расстояний». Тьфу!» Добавлю от себя, что ответ Коперника – это ответ левого полушария, а для того, чтобы представить себе заботу солнца о земле, необходимо воображение, образное мышление. И если ты именно так понимаешь кота из сказки Пушкина, то он действительно настоящий учёный, чей мозг работает полноценно всеми своими частями. О! Далеко не все нынче такие учёные. Как ты додумался до таких соображений? Расспрошу наших филологов, как они объясняют хождения кота направо и налево?

3.

Так они и беседовали по ночам. Нет, Адмирал уже не орал, профессор сам просыпался и заводил с ним разговор. Наверное, интересно было. Они откровенно обсуждали самые острые вопросы современной жизни, начиная с проблем бытовых, семейных до социальных, научных, философских, глобальных. Кот отнёсся к старому профессору с откровенным сочувствием, доверием, и с гораздо большим пониманием, чем те, кто послал его ухаживать за Адмиралом. Старикам охота бывает высказаться, просто поговорить о прожитой жизни, но вовсе не все готовы их слушать и, тем более, применять к своей судьбе чужой, пережитый уже опыт. Старик начинал испытывать благодарное чувство к коту. В одну из тёплых июльских ночей, когда они полёживали друг против друга: один на диване, другой, вытянувшись во весь кошачий рост, на полу, – профессор решил рассказать о случившейся с ним неприятностью, которую он переживал как несправедливость.

– Понимаешь, защищалась докторская диссертация о языке всемирного общения, каковым считается английский язык. Это всем известно, и доказывать такой факт, да ещё в докторской диссертации просто бессмысленно, равнозначно доказательству того, что Волга впадает в Каспийское море. Английский действительно сильно распространился во всём мире, и уже говорят о языковом геноциде, языковом империализме, американизации национальных языков и культуры. Некоторые страны (например, Франция) принимают специальные меры, ограничивающие использование английского языка и американских фильмов. Да ты пройди по улицам нашего провинциального городишки и обнаружишь бессчётное количество вывесок, названий, реклам, написанных на английском или неизвестно на каком языке, но не по-русски. Так что надо не доказывать, что английский стал языком всемирного общения, а думать, какие принять меры, чтобы не нанёс он урона родному языку. Ведь наши дети легко справляются с компьютером, с разными английскими там терминами и справками, но уже многие слова из произведений Пушкина им непонятны, просто неизвестны. Если всерьёз подумать, то ведь это драма, даже трагедия – наши русские дети не понимают язык Пушкина. Ну, вот, а диссертант, конечно, расхваливает английский язык, пишет, что это очень хорошо, когда всё большее количество людей овладевают этим языком. Ведь теперь уже степень научной подготовленности стали определять мерой знания учёным английского, его просто навязывают во все сферы жизни и, конечно, в науку. ВАК определил несколько журналов, публикации в которых можно считать научными, а если в другом журнале сделано научное открытие, то оно таким считаться не будет. Чтобы опубликоваться в ваковском журнале, автор должен сдать статью, пока ещё разрешается на русском языке, но непременно приложить к ней краткое изложение содержания на английском. Конечно, от английских или американских учёных вовсе не требуется, чтобы они к своему английскому тексту прилагали краткое изложение по-русски. Вот это и есть языковый геноцид, колониальная политика. Это первый круг содержания докторской диссертации, который вызвал мои

сомнения. Второе, с чем я не мог согласиться, заключалось в том, что диссертант придумал, будто английский всемирного общения это – не традиционный, исконный английский, а какой-то ущербный, только информационный. В нескольких местах автореферата он пишет, что язык всемирного общения не выполняет этнокультурной функции, выполняет только коммуникативную функцию, что в нём отсутствует национальная культурная составляющая, значит, ничем английским он никого не заразит. Но он забыл, что мысль не сообщается, а свершается в слове. Поэтому я его спросил: «Можно ли на такой информационный язык переводить художественные произведения, философские трактаты и прочие гуманитарные сочинения?» – «О, конечно» – воскликнул диссертант и стал называть каких-то авторов – немцев, французов, чьи работы успешно переведены на английский. Я его невежливо перебил и сказал, что значит, никакого ущербного информационного языка не существует, а есть вполне полноценный английский, и его гипотеза рушится. Возможно, что я бы и это стерпел, но стали выступать оппоненты и славить диссертанта и английский язык. Особенно усердствовал самый молодой доктор наук, который восхищался работой и с радостью сообщал, что даже туземцы на островах Тихого океана говорят на английском, считая его родным своим языком. Странно и неприятно было слышать это от русского профессора, который не может не знать, что давно пора защищать наш родной русский язык, который корёжат в разнообразных сленгах, жаргонах, блатной фене, забивают матом, который теперь можно услышать и со сцены и с экрана и прочитать в книге. Массовая литература опустилась до уровне малограмотной толпы и не способна пользоваться великими выразительными возможностями родного языка. А молодой доктор наук доказывает достоинства английского языка и говорит о необходимости его изучения и внедрения в отечественную науку. А в наших школах жалуются, что сократились часы на русский язык и литературу, спорят о том, включать сочинение в экзамен или не включать, и как бороться с безграмотностью окончивших среднюю школу и студентов. Как, наконец, хоть вывески на улицах заменить на русские. В конце концов, я не выдержал и проголосовал против этой диссертации. И знаешь, чем это кончилось? Было новое утверждение диссертационных советов, и меня в наш совет больше не включили. Намекали, что диссертант имел поддержку в ВАКе, поэтому так и старались его восхвалять оппоненты. Есть в этом случае несправедливость и даже безнравственность. А?

– Коту понятно, что тебе отомстили бессовестным образом. Я бы на твоём месте, как только проголосовали за эту диссертацию, заявил бы, что больше не желаю оставаться в таком диссертационном совете. Сам бы ушёл. И этот искусственный журнал я бы презрел, не стал бы подавать в него свои статьи. О научных открытиях можно сообщить даже в газете, а тут такая обязателька, только в этих ваковских журналах да ещё с английским приложением.

– Научные открытия надо сперва совершить, – заметил профессор, невесело улыбаясь.

– Ну и совершай! На то ты и доктор наук. Работай! Вон твоего любимого философа Лосева уж как мутыгали, даже в тюрьму сажали, Беломорский канал строить отправляли, а он работал, писал, хотя ему запретили заниматься философией. Бери пример.

Вечером позвонил сын и после дотошных расспросов о коте сообщил, что они намерены досрочно вылететь из Таиланда домой: обстановка в стране обострилась, активизировалась оппозиция, служащие отеля больше времени проводят на митингах и демонстрациях, а не на своих рабочих местах. Кроме того, рассказывал сын, среди персонала отеля не оказалось ни одного человека, который бы хоть что-то понимал по-русски. Объясняются на ломаном английском, хорошо, что Света знает этот язык

всемирного общения и они могут и вопросы задать и попросить, что требуется. Рассказ сына привёл старика в полное смущение; получалось, что сами жизненные обстоятельства заступились за английский язык, против энергичного внедрения которого в мировом масштабе он выступал на злополучной защите докторской диссертации. Он рассказал об этом разговоре и своём смущении Адмиралу, который стал просто кататься по полу от смеха и взвизгивать, потому что по-настоящему смеяться он не умел.

– Вместо того чтобы потешаться надо мной, ты бы лучше подумал, почему в Таиланде не изучают русский, если они так усиленно привлекают наших туристов? Вот и организовали бы курсы для своих служащих, а то опять английский.

4.

В то же лето, когда уже закончилось его дежурство на квартире сына, проходил профессор мимо старинного одноэтажного дома, сильно напоминавшего ему дом, в котором он жил во время войны, и увидел, что на крыльце давно закованного парадного входа, на ступеньках его, играют две девочки и мальчик с котёнком. Он невольно остановился и рассмотрел котёнка, который был совершенно рыжим с хитренькими голубыми глазами. Одна девочка сказала: «Возьмите котёнка. Кто-то его здесь оставил, а у нас уже есть кошки». – «А вдруг хозяин станет его искать?» – засомневался старик, уже почти согласившийся взять киску. – «Да нет!» – почти враз заговорили другие дети. – Нет у него хозяина. Точно знаем. Его подбросили». И он взял рыжего, сунув его за полу пиджака. Дома он позвал жену и достал котёнка. Первая реакция жены была: «Ой, какой хорошенький!» – «Хорошо, что тебе понравился. Будет у нас жить». – «Ещё что выдумал! Отдай кому-нибудь из соседей. Как его зовут?» – «Будем звать его Генералом», – не успев даже подумать об имени рыжего, сказал профессор. – «Ещё один военный. Вот и отдай его в кадетское училище». – «Он будет жить у нас». – «Ты меня не спросил, а я не согласна». – «Если ты не согласишься, мы с Генералом уйдём из дома». – «Куда это вы уйдёте?» – немного растерянным тоном спросила жена, не ожидавшая столь решительного заявления супруга и, чувствуя, что придётся ей отступить, хотя бы на время. А старик объяснил, куда они с Генералом уйдут: «Сниму гостинку. Это не проблема. Каждый день по телику предлагают». Жена знала, что это действительно так и, не продолжая разговора о котёнке, потребовала: «Вымой руки с мылом». Профессор шепнул котёнку на ухо: «Мы победим!» Котёнок слабо пискнул в ответ: «Надеюсь». Профессор разулыбался во весь рот, опустил Генерала на пол и пошёл мыть руки с мылом.

Александр Евтеев ЛЁНИНА НЕВЕСТА

– Я тут из армии возвращался... – начал смущённо мой друг Лёня (назовём его так).

– Ну?

– Ехал в поезде. И, там, на свадьбу попал.

– Прямо в поезде?

– Да. Молодожёны от одних родителей к другим ехали. В соседнем купе жених с невестой, а в моём и ещё в одном – их друзья. Естественно, меня пригласили...

– Набухался, поди?

– Не... Чисто символически. Речь не о том... Я там с девчонкой познакомился...

Зная его скромнейший, робкий характер, я воскликнул:

– Лёня! Не может быть! Молодец-молодец! Надо же, что с человеком армия делает!

Воодушевлённый моим восхищением, он пылко продолжил:

– Девчонка классная! Мы с ней всю ночь в коридоре проболтали. Обо всём пересговорили.

Он сделал паузу.

– Она меня так понимает... Возможно, женюсь.

– Так в чём же дело, Лёня?!

– Она мне свой адрес дала... Давай на выходных съездим к ней? А то одному как-то «не в жилу»...

Я прикинул – а почему бы нет? Я тоже только дембельнулся. Ощущение – будто весь мир открыт передо мной. В мышцах играет силушка молодецкая, а душа просит приключений.

Сказано – сделано!

Надо отметить, что выходные у нас были не как у нормальных людей – суббота-воскресенье, а подряд десять дней. Затем двадцать дней в геофизической партии, в степных просторах Калмыкии.

И вот одним прекрасным утром, будним для всех окружающих, мы с Лёней берём билеты на междугородний «Икарус», и несёт он нас, покачивая, сквозь города и веси, навстречу Лёниной судьбе в стольный город «П», что на Северном Кавказе, в районе Кавказских Минеральных Вод.

В городе «П» мы с Лёней нарисовались во второй половине дня, вернее, в начале второй половины, когда от кавказского июньского солнца уже не отмахнёшься. Жара летом в этих краях – штука постоянная. И вот мы, прожаренные в калмыцких степях всё тем же июньским солнышком молодые такие красавцы (Апполоны!), ступили модными остроносими туфлями на расплавленный асфальт автостанции.

Лёня в предвкушении встречи слегка мандражировал, сразу закурил.

– Леонид, идём к даме. Надо бы цветы купить.

Он согласился.

Здесь же на автостанции купили у старушек за 50 копеек небольшой букетик ярко оранжевых цветов, похожих на гвоздики и, торжественные, пошли по адресу.

«П» оказался небольшим провинциальным (провинциальнее некуда) городишком. Вернее сказать, это было село, состоящее из хрущевских малолитражных четырёхэтажек. У каждого подъезда сидело несколько бабусь, обсуждавших всё на свете, в том числе и нашу молодую кровь. Я в те времена жил в частном секторе и, в общем-то, привык ходить сквозь беспощадный старушечий строй. Леониду шушуканья за

спиной были в диковинку. Потому он краснел, бледнел и часто затягивался сигаретой. Между тем город «П» продолжал свою тихую жизнь: во дворах сутились детишки, хозяйки квартир, вывешивая бельё, громко ругались между собой, причём верхние этажи первого подъезда лаялись, не стесняясь в выражениях, с первыми этажами последнего подъезда, отовсюду звучали песни Юрия Антонова и группы Modern Talking.

Подходя к желанному дому, мы вдруг заметили, что цветы из нашего букета растут на каждой клумбе, в каждом палисаднике (потом узнали, что это бархатцы).

Лёня молча затянулся сигаретой и через плечо швырнул цветы на асфальт. Пройдя несколько метров, мы оглянулись, но цветов уже не было. Лёня нервно хохотнул:

– Снова на продажу пошли.

Подождали к дому.

– Этот?

Лёня сверился с записной книжкой:

– Вроде этот.

– Какой этаж?

– Последний.

– Ну что, пойдём?

Лёня достал новую сигарету:

– Подожди. Дай покурю.

– Ты запарил! Всю дорогу курил! Пошли уже!

Но Леонид упёрся, как баран:

– Не торопись, успеем.

Я понял – пока он не накурится, движения на последний этаж не будет. Возле этого подъезда, к счастью, бабулек не было. Я сел на лавочку.

– Лёнчик, что-то ты не торопишься к своей возлюбленной. Она там, можно сказать, сгораёт от нетерпения, ждёт не дожётся. А вы, сударь, табачком балуетесь.

– Она не ждёт. Я ведь не сообщил ей, когда приеду.

– Я так понимаю, что ты её сейчас увидишь второй раз. И сразу жениться?

Лёня пожал плечами:

– Посмотрим. Что ты о ней скажешь...

– Лёня, я не эксперт по таким вопросам. Это как тебе она покажется.

– Не-е, она классная девчонка. Не красавица, но симпатичная. Главное, меня понимает...

– А вдруг она пошутит и не тот адрес дала?

Леонид покачал головой:

– Нет, она не такая.

Я только развёл руками.

Он достал расческу, причесался, выбросил окурок, глубоко вздохнул и резко выдохнул, будто собирался опрокинуть рюмашку.

– Вперёд!

И мы поднялись на четвёртый этаж. Звонок не работал. Постучали. Тишина. Постучали ещё раз. По ту сторону двери проскрипел старческий голос:

– Кто там?

– Свету можно?

Загремела дверная цепочка. В образовавшейся щели показался крючковатый нос и выцветший глаз крохотной старушки.

– Кто такие?

– Мы к Свете. Из другого города.

Щель немного увеличилась.

– А её нету. Она на работе.

– А где она работает?

– В детском саду возле автостанции.

Дверь захлопнулась. Мы переглянулись. Лёня пожал плечами и расплылся в улыбке. Отсрочка встречи его приободрила.

Когда начали спускаться, из двери, в которую мы стучались, выскользнула сухонькая старушка и проводила нас подозрительным тусклым взглядом.

На улице Лёня снова закурил, но уже с облегчением.

Пошли обратно. Дорога до автостанции нам показалась почему-то короче. Дошли мы быстрее. Нашли садик. Через изгородь окликнули молоденькую воспитательницу, собиравшую детишек на послеобеденные баиньки, которая сообщила, что Света только что сменилась и ушла домой.

– Та-а-ак, Лёня!...

Мой друг опять нервно захихикал.

Когда мы подошли к заветному подъезду, я сел на лавочку.

– Лёничка, я устал бегать за вашей пассивой. Будьте, сударь, снисходительны. Поднимитесь наверх сами, а уж потом меня позовите.

Сударь выбросил очередной окурок, снова причесался, выдохнул и исчез в подъезде.

Я даже не успел вникнуть, о чём ругались в доме напротив, как из подъезда выскочил Лёня, тут же дрожащими руками чиркнул спичкой и мощно всосал в себя сигаретный дым.

Таким напуганным я его ещё не видел. Я даже вскочил с лавочки.

– Ты чё, Лёня?

– Бля-а-а... Страшная! Надо дёргать отсюда! Короче, берём билеты на ближайший рейс и сматываемся.

– Подожди. Прямо сейчас, что ли? Даже чаю не попьём? Лёня, я есть хочу...

Я посмотрел на его трясущиеся руки и прикусил язык. Я понял, что приключения наши закончились, не успев начаться.

– Ладно. Уговорил, языкастый...

И тут из подъезда выкатился колобок в длинном домашнем халате.

Это была Света: маленькая, кругленькая, с выдающимися формами девушка 18–19 лет с большой головой, большими круглыми глазами на крупном круглом лице, крупным курносом носом, большим улыбающимся ртом с пухлыми губами и маленькими редкими зубками. Пока она катилась к нам, хлопая неестественно длинными ресницами и мило улыбаясь, я медленно выходил из ступора.

– Здравствуйте. Лёня сказал, сто он не один, а с другом, – зашепелявила она. – Всё так неозыданно...

Она влюблённо посмотрела на Лёню снизу вверх и прильнула большой головой к его худощавому плечу. Картина – ведро и удочка.

– Ну, сто зэ вы стоите? Идёмте, идёмте домой, – она потянула Лёню за руку в подъезд.

Лицо у Лёнички было такое, словно его вели на расстрел. Он с мольбой в глазах иногда оборачивался ко мне, и тогда я жестами и мимикой показывал ему, что, мол, погоди, давай осмотримся.

Квартира была двухкомнатная и очень маленькая. Такие называют «полупортками». Комнаты располагались «паровозиком». От узенькой прихожей прямо – основная комната, за ней – крохотная спальня. Направо малюсенькая кухня. И, наконец, шедевр архитектуры – два в одном – совмещённый санузел, устроенный, аккурат напротив основной комнаты. За одно только это (не говоря уже о размерах квартиры) тому, кто придумал такое расположение комнат, нужно оторвать голову. В будущем мне

приходилось жить в похожей квартире. Такие квартиры была придуманы, наверное, для молодожёнов. Или пенсионеров. Но никак не для создания многодетной семьи.

Вот в такой конурке и жили Света с мамой. Бабушка, как выяснилось, жила в другом месте и появлялась здесь только днём. Мужчины в доме не было, о чём свидетельствовала косо прибитая вешалка.

В комнате на диванчике сидела маленькая женщина с усталым лицом и потухшими глазами. Это была Светина мама. После короткого знакомства Света увлекла её на кухню, где гремела посудой бабушка. А нам была предоставлена возможность ознакомиться с толстенным фотоальбомом.

Просмотр фотографий меня позабавил, а Лёничку удручил. Немного детских снимков, а остальное – фотки пьяных малолеток.

– Да, уж... – как Киса Воробьянинов, произнёс Лёня и отложил альбом.

– Нормально всё, Лёнчик! Весёлая девчонка! Вот, смотри какая фотка! Ух, ты!

– Надо дёргать отсюда. Давай уйдём.

– Да ты что! Так не делается. Успокойся. Чёрт-те откуда притащились, и сразу назад. К тому же нас уже пригласили. Они там, вон, готовить начали... Честно говоря, очень кушать хочется. Давай из приличия побудем немного, поговорим...

Лёня глядел в пол, и на скулах его играли желваки.

– Что, так всё плохо?

Лёня кивнул.

– Придумай что-нибудь и дёргаем отсюда. Первым же рейсом!

– Сначала надо билеты купить.

– Так пойдём, купим и...

– Не пори горячку, Лёня. Как маленький! Приехал к девушке называется. Поговори с ней...

– О чём с ней говорить?

– О чём ты с ней в поезде всю ночь говорил? Вот и сейчас найди тему.

Лёня досадливо махнул рукой.

– Ты мне вот что скажи, любимый мой, родной, ты в поезде сколько выпил?..

Ноздри Лёнчика задергались, как у коня.

– Ладно. Придумаем что-нибудь. Нет, ну ты погляди какая фотка!

– Да иди ты!

И тут вошла Света.

– Не скупааете, мальчики?

– Нет, – говорю, – очень интересные фотографии.

Лёня криво улыбнулся.

Света живенько плюхнулась между нами и начала весело комментировать снимки.

Я поднялся с дивана и прервал её на полуслове:

– Светлана! Дело в том, что мы приехали попрощаться.

Эффектная пауза.

– Мы с Леонидом улетаем в Сибирь, и он не мог улететь, не повидавшись с Вами. Но нам пора обратно. Самолёт завтра вечером, а нам ещё собираться...

– Да, уж... – не умеющий врать Лёня заёрзал на диванчике.

Круглое Светино лицо вытянулось и стало овальным. В тишине было слышно, как хлопали её ресницы. Она переводила взгляд с меня на Лёню, с Лёни на меня. Мне её стало жаль.

Потом она очнулась и быстро затарахтела:

– Нет-нет! Сто вы! Я вас голодными не отпущу! Сейчас нам мама с бабушкой готовят покушать, и потом они свалят, а мы поедем, поговорим.

Она резко повернулась к Лёне:

– А сто, узэ билеты на обратно есть?

– Н-не-ет... – проблеял Лёня.

Света расплылась в улыбке, и лицо её снова стало круглым, как блин.

– Ну, ладно! – я направился к выходу. – Вы тут поболтайте, а я пойду за билетами.

Лёня поднял брови и посмотрел на меня удивлёнными глазами: «Э, а я?»

– Смотри, Лёнчик, не балуй тут без меня! – и, не давая товарищу опомниться, выскочил на улицу.

Жара! Полуденная жара! Народ, спасаясь от жары, рассосался по квартирам. Музыка из окон заглушал гул цикад. Даже воробьи, прячась в листве от солнца, старались меньше чирикать. Я выбрал дорогу, где было побольше тени, и пошёл к автовокзалу.

Иду по городу, наблюдаю. Городишко как городишко. Но что-то тут не так. Неуютно. Будто наблюдает кто за мной. Прохожие как-то не так смотрят. Навстречу девушки идут. Поравнявшись со мной, вдруг смехом прыснули. Я обернулся, а они тоже оглядываются и смеются, только что пальцем не показывают. Странно. Может что с одеждой не так? Осмотрелся. Всё вроде нормально, нигде не испачкался, всё застёгнуто, из ширинки рубашка не торчит. Бывает, знаете ли...

Автовокзал был почти пустой. Выяснилось, что рейсов в нашу сторону на сегодня нет. Ближайший рейс только в пять утра. Что ж на пять так на пять. Как же! У нас ведь завтра самолёт. Надо оставаться «честными» до конца. К тому же Лёня заупрямился. Может всю ночь на вокзале «бичевать» придётся.

На обратном пути решил зайти в какой-то небольшой магазинчик.

У прилавка стояли три молодухи от 20 до 25 лет. Как только вошёл, их разговор прервался, и три пары нагло-любопытных глаз оглядели меня с ног до головы. Я стал делать вид, что разглядываю товары, но ощущение было таким, будто я совершенно голый и по мне блуждают их взгляды. Мне стало не по себе. И тут девушка-продавец подошла вплотную, заглянула в меня своими чёрными глазищами и выдохнула:

– Вы что-то хотели?

Эх!... Скромный был! Мой бы нынешний жизненный опыт да в ту мою бестолковую голову! Я нашёлся бы как и чем ответить! Но тогда я в полуобморочном состоянии попятился назад и очутился на улице. И на улице, как мне показалось, было вовсе не жарко.

Я поспешил к Леониду. Пройдя метров сто, оглянулся. На пороге магазинчика стояли те самые девушки, переговаривались друг с другом и смотрели в мою сторону. Странный городок.

Уж не знаю, что там произошло, но Лёня встретил меня в хорошем настроении. От него воняло табаком, и он улыбался.

– Всё нормально. – ответил он на мой удивлённый взгляд. – Я уже привык.

Мне пришлось снова развести руками.

Мама с бабушкой ушли, оставив на кухне жареную картошку и солёные огурчики.

Света достала из холодильника полбутылки «Ркацители», я разлил по бокалам и – о, чудо! – моя сладкая парочка сразу же окосела. Начались томные взгляды, воспоминания о свадебном поезде... Мне ещё раз пересказали то, что Лёня мне уже неоднократно рассказывал. А я слушал, и мне было хорошо и уютно, потому что я был сыт и находился в прохладном помещении. Потом начались упрёки, за то, что я купил билеты на 5 утра (я уже тоже подумал: действительно, на кой хрен я взял билеты на такую рань?). Но я снова решил – если врать, то врать уж до конца – и напомнил Лёнечке про наш гипотетический самолёт. Он согласился и стал поддакивать мне, избражая честно человека.

Мы просидели в квартире часа три. Жара начала спадать, и мы решили посмотреть местные достопримечательности. Нашим гидом была Света. Она взяла нас под руки, и мы пошли искать местный «Бродвей».

В связи с концом рабочего дня и опустившейся на город вечерней прохладой народу на улицах прибавилось. И снова у меня возникло ощущение наготы. Бабушки при нашем появлении умолкали, девушки хихикали... А когда дошли до тихого бульварчика с кавказскими пушистыми голубыми елями и многочисленными скамейками, тут уж мне совсем заглохло. Я, вдруг, понял, почему меня смущает и, даже пугает, этот небольшой городок. На улице были одни женщины. То есть девушки и бабушки. Это заметил даже мой влюблённый друг Лёня.

Света вела нас под руки и смеялась:

– Гы-гы-гы... Меня, похозе, секас на цасты порвут.

Интересуюсь:

– А где у вас тут мужское население?

– А... – Света махнула рукой. – Одни на заработках, другие алкасы, трети «плановые», ну... те, кто анасу курят, – пояснила она. – Видали, как смотрят на меня? Гы-гы! В городе и так парней мало, а я двоих зацепила.

И действительно, любопытные глазки, которыми молодые девушки провожали нас с Лёней, начинали недобро менять цвет, глядя на Свету.

Впрочем, нам попался-таки один парень. Его под руку вела девушка с пышными формами, а он, бедолага, обречённо толкал перед собой детскую коляску, и глаза у него были грустные-грустные. Ещё бы! Тут такой цветник, а он так рано попался. Потом мы зашли в нечто похожее на парк, где на поломанных каруселях пили портвейн малолетки. Потом продефилировали по «Бродвею» в обратном направлении. Посмотрели на памятник Ленину возле горисполкома и памятник солдатам, не вернувшимся с войны, возле военкомата.

Стало, по-южному быстро темнеть, и Света повела нас домой. От греха подальше. Возле Светинога дома остановились.

– Света, а у тебя есть подруга? Желательно симпатичная? – спросил я.

– Есть, а сто?

– Что-что...зови! А то скучно мне с вами. У вас свои разговоры, а я получаюсь третий лишний. Мы с Лёней сейчас в магазин зайдём, а ты сходи за подругой. Если найдёшь гитару, то я вам даже сбациаю что-нибудь.

Света явно не хотела нас отпустить.

– Света, мы ни куда не убежим. Вот билеты на завтрашний автобус, – я показал ей билеты.

– Ну, хоросо. Я быстро.

Стоя у прилавка перед обилием спиртного, мы долго изучали этикетки и цены.

– Водка – это слишком жёстко, – сказал Лёня.

– Портвейн – слишком пошло, – сказал я.

– Шампанское – дорого.

– Надо было, Лёничка, повнимательней фотографии рассматривать. Сейчас бы знали, что пьёт местная молодёжь.

– Молодёжь везде пьёт одно и то же, – сказал Леонид и с видом знатока показал продавщице на бутылку 0,7 с очень красивой этикеткой. – Сладкое креплёное. Пойдёт!

У дверей магазина нас уже ждала Света. Лупая невинными глазками, она сказала, что подруга прийти не сможет, занята. Я подумал – врёт. Не хочет рисковать такими парнями.

Не помню, что там было на ужин, но от вина я «заторчал» капитально. Потом Лёня захотел курить, и они со Светой ушли на балкон. А я стал развлекать Светину маму.

Стараясь не шататься, я вошёл в комнату и сел на диванчик.

В углу, борясь с помехами, шуршал ненастроенный телевизор, на тумбочке горел светильник.

Светина мама была, по-видимому, тихим спокойным человеком. В её усталых глазах мелькнуло любопытство.

– Простите, я не помню, как вас зовут, – сказала она после небольшой паузы.

– Саша.

– Александр, а вы давно знаете Леонида?

– Мы учились вместе в техникуме. Теперь вместе работаем.

– Кем?

И тут меня вдруг понесло. Я за пять минут рассказал, кем и где мы работаем. Вкратце описал технологию сейсморазведочных работ и что с этого имеет народное хозяйство. Описал перспективы и не забыл добавить, что завтра вечером мы улетаем осваивать Западную Сибирь, туда, где тайга и длинные рубли. Говорил много и, видимо, складно. Даже во рту пересохло. А мамаша стала смотреть на меня ласково, как на родного сына.

Так, думаю, пора делать тайм-аут. Я попросил разрешения помыться.

Она отвела меня в ванную и дала кучу инструкций, как можно искупаться, не разрушив хрупкую сантехнику. В ванной всё было на верёвочках, проволочках и ниточках. Когда она вышла, я ощутил себя слоном в посудной лавке. Короче говоря, Лёня на балконе предавался любовным страстям, а я в ванной свернул башку крану, оторвал душ и оборвал вешалку. Пока я резвился с разрухой, протрезвел окончательно. Наконец, кое-как искупавшись, почувствовал облегчение и одновременно усталость.

Я вышел из ванной, и, видя моё состояние, женщина не стала больше ни о чём спрашивать, показала мне приготовленную постель в маленькой спальне, пожелала спокойной ночи и ушла. Постель была... я такой больше в жизни не видел. Не ватный матрац – перина! Лёг и будто куда-то провалился. Постель сомкнулась надо мной, и я отключился.

Утром меня разбудил будильник в соседней комнате. Лёня посапывал на соседней койке. Я встал, оделся. По дороге в туалет растолкал Свету, и через двадцать минут мы уже бежали по мокрой улице (ночью шёл дождь), перескакивая через лужи, в сторону автовокзала.

Посадка была в самом разгаре. Я попрощался со Светой и занял наши места согласно купленным билетам.

А за окном стояли Лёня и Света. Она уткнулась ему в живот своей большой головой. Он обнял её одной рукой за плечи, в другой держал сигарету. Так они стояли, пока не пришёл водитель. Она не плакала, просто слёзы катились сами. Из крупных глаз – крупные слёзы. Лёня и сам не знал, куда девать глаза. Потом он наклонился к ней, что-то прошептал, быстро поцеловал и вбежал в автобус. Автобус тронулся, и мы не видели, стоит ли она на остановке, машет ли рукой, смотрит ли вслед... Мы её, вообще, больше никогда не видели. Через месяц Лёня встретил другую девушку, которая его «очень понимала». Через год он женился на ней. Через несколько лет развёлся. Потом женился на другой. Снова развёлся.

Мы, как и говорили Свете, улетели в Сибирь, но не на следующий день, а чуть позже. С Леонидом – то вместе, то порознь – провели полжизни в геофизических экспедициях, объездили полстраны, но больше ни разу не были в городке «П» даже проездом.

Виктор Жуков

ДО ОЗЕРА И ОБРАТНО

«Привыкает человек за год к армии. Даже временами что-то в ней есть. Хотя, если совсем точно, у меня – год без одной недели. Отметка о начале службы в военном билете – второе октября. А сегодня как раз двадцать пятое сентября. Год без недели – триста пятьдесят восемь дней», – цифры эти крутились в голове у Першина, двухгодичника двадцати восьми лет, по возрасту уже старшего лейтенанта. Некоторое подведение итогов службы вызревало внутри. Всё же какой-то рубеж – год.

Он шёл с обеда из офицерской столовой в свой батальон, в котором почти месяц не был. В конце августа его отправили в командировку с двадцатью солдатами на базу военной техники под городом. И вот она этим утром закончилась. В батальоне, как он успел узнать в общезнании, произошли кое-какие перемены. Замполит их батальона, капитан Фурсов, переводится, и не куда-нибудь, а на Кубу. Вообще он был человеком, над которым посмеивались. Об этой его мечте знали и не очень-то верили. А Фурсов всё бегал в штаб дивизии, в политотдел и парткомиссию. Что-то там докладывал, показывал идейную закалку. И вот добился своего. Переводят, всё уже точно.

Комбат их, майор Ляшенко, тоже достиг своей цели. Он рано сделал карьеру, стал ещё в двадцать семь лет командиром отдельного разведбата, а это полковничья должность. Потом случилась какая-то тёмная история: он кого-то ранил на охоте, чисто случайно, конечно. Некие недруги воспользовались моментом, грозили ему судом, хотя до этого не дошло. Но его исключили из партии, отправили в их полк простым комбатом. Это на две ступени понижение. Но он хотел восстановиться в партии, снова делать карьеру. И вот получил, наконец, вожделенный партийный билет. С неделю назад это было. Продемонстрировал его на собрании офицеров батальона и сказал: «Всё, я пошёл наверх». Его тоже, говорят, переводят начальником штаба другого полка. Возвращается Ляшенко в ряды военной номенклатуры.

Но пока он был на месте, а начштаба батальона, Чепраков, на полигоне. Возвращение перспективы подействовало на Ляшенко положительно. На лице лёгкая играющая улыбочка, чего раньше не замечалось, в голосе новые мягкие интонации:

– Что, Першин, закончили там? Езжайте на полигон. Как раз сегодня туда идёт ЗИЛ-131, прикомандированный от артдивизиона. Назначаетесь старшим машины. Она в парке, а путёвка у водителя. Захватите с собой сержанта Лифанова, он оттуда в санчасть приезжал.

Лифанов был из отдельного гранатомётного взвода, парень двадцати четырёх лет, после торгового института. Среднего роста, плотный, лицо румяное, с тонкими русыми усиками. Его Першин отправил в парк, сам сходил в общезнание, где переоделся в полевую форму, захватил бушлат – по ночам уже заморозки.

Машина в парке стояла у бокса артиллеристов, что рядом с воротами, а водителя не было. Лифанов его тоже не видел. Стали ждать. Лифанова, похоже, задевало, что он, тоже человек с высшим образованием, а служит солдатом, и он всё старался сказать Першину что-нибудь едкое:

- Что-то вас давно не видно было, товарищ старший лейтенант.
- В командировке был, перед этим в караулы по сопровождению грузов ездил два раза.
- Хорошо, наверное, проехаться-то?
- Да неплохо.

– А мы тут всё работаем, – сказал он слегка жалостно, хотя на замученного совсем не похож. Вид весьма свежий, справный. И настроение, судя по речам, самостоятельное: дембель у него скоро.

– У тебя дембель осенью? – спросил Першин.

– Да.

– Куда после армии собираешься?

– Хочу директором универмага быть.

– Так сразу – директором?

– Ну, не сразу, но... посмотрим, – уверенно закончил Лифанов.

«Кого только в армии не встретишь! – думал Першин, – Вот и гранатомётчик-директор отыскался!»

Он достал сигарету, прикурил. Когда выходили вместе из казармы, он тоже курил. И Лифанов снова начал:

– А врачи говорят: курить много вредно. (Сам он некурящий.)

– А ты что-то разговорился! – уже резко сказал Першин.

– Да я так, вообще.

– Сходи лучше в артдивизион, поищи этого водилу.

– Ну, схожу, – с этим он отправился.

«Не найдёт, поди, никого. Водителю торопиться некуда, где-нибудь с друзьями сидит. У солдат свои тайные места. Заявится к вечеру, но до полигона недалеко, часа полтора езды. Мне, в сущности, тоже торопиться некуда, просто скучно торчать здесь, – забравшись в кабину, размышлял Першин. Из разговора с сержантом всплыло слово «дембель». – А Лифанов вправду в ноябре уже дома будет. А мне год ещё. И, главное, зима впереди – зимой всегда труднее. Как прошлой было...»

После полудневной успокоенности застучали более резко мысли насчёт итогов службы, и выглянула тоска, всегда в глубине души сидевшая. Замелькали воспоминания, начиная с самого получения повестки из военкомата, и о том, что здесь было первой осенью, и зимой, и остальное.

По образованию Першин был филологом, закончил т-ский университет, который с военной кафедрой. Призван был из города Б., в который не собирался, но... так получилось. Оттуда была его жена, однокурсница, и переехали. За первый год с небольшим в этом городе он сменил три места работы: с его дипломом не так просто прилично устроиться. Но вот по совету знакомых обратился в недавно созданный там институт культуры, и его приняли. Хотя ранее в преподаватели не метил, но работа пошла хорошо. Уже через год, поскольку вуз молодой, ему дали направление в аспирантуру в Москву. Тут он вообще воспарил, и вдруг повестка из военкомата. Это был гром среди ясного неба.

Не для него одного, впрочем. Призвали их, резервистов, в тот год сотни. Объявлено им было, что в связи с вводом в Афганистан ограниченного контингента наших войск, проводится усиленный набор в армию, и не хватает в её рядах младших офицеров. Так что они должны идти, укреплять тыл. А призывают офицеров запаса до тридцати лет: были некоторые и постарше его – в двадцать восемь лет, а один даже в двадцать девять.

У Першина ещё раньше, зимой, после ввода войск, появилось настороженное внимание к жизни общественной. Что-то новое в атмосфере витало. Какие-то тревожные нотки в речи официальных лиц вкрались; люди обыкновенные тоже говорили: «Ещё «братьев» нашли! Мало их у нас!»

И вот так всё обернулось. Призыв свой он воспринял как перелом судьбы. Что будет через два года в институте – кто его знает. Да и с семейной жизнью тоже много непонятного. И вообще: два года – плац, сапоги, команды. Тут, пожалуй, всё из головы вылетит. Ещё засели мысли: раз случилось, посмотрим вблизи, что у нас за армия, и какая такая необходимость была усиленный набор проводить, столько набирать их, двухгодичников?

Попал он на службу в Н-ск, город с детства знакомый – у него здесь были родственники, приезжал к ним. И до Б. недалеко – четыре часа на автобусе. Может, когда-нибудь и съездит.

Дивизия их находилась в 17-м городке, как это место сейчас называют. Хотя раньше оно называлось – Николаевские казармы. Они здесь с того, дореволюционного, времени – красного кирпича, старой надёжной кладки. С весны дивизию стали разворачивать. Причём сделали всё по-нашему – через «наоборот». Привезли на полк пятьсот человек, новобранцев то бишь, большинство с Кавказа и из Средней Азии, а офицеров в полку почти не было. Зимой многие ушли в Афганистан, весной ещё часть уехала на «целину», то есть на сельхозработы. Хотя работы эти отнюдь не на целине были, в Центральной России, но в армии так выражались. Командовать солдатами было некому. Их подержали несколько дней в карантине, потом отправили на полигон, где они жили в палатках и работали.

За старшего там был замполит капитан Фурсов, как командир не сильно уважаемый. Маловатого роста, что-то несерьёзное во внешности: щёчки-яблочки, короткий и широкий нос, круглые большие, сильно блестящие глаза с наивно внимательным выражением. Говорит напыщенным тоном, стараясь произвести впечатление, – это и порождало частенько смешки. Фурсик – звали его солдаты. С ним два-три лейтенанта, прослуживших год после училища. Командиров этих хватало лишь смотреть, чтобы солдаты не разбежались и выходили на работу. Всё остальное – внутренняя дисциплина – шло самотёком. Солдаты от жизни в палатках и абы каким питанием из котелков одичали до крайности. Постоянно там происходили ссоры, драчки – за котелок с перловкой, за место у печки, за какую-нибудь вещь потеплее. Никто никаких сержантов не слушал. Деление произошло по национальностям, не по взводам, не по отделениям. Русских там было меньшинство, их задавили больше всех. Отыгрывались за такую армейскую службу: это, мол, русская армия, русские так с нами поступили.

Пробыли они там до поздней осени, до морозов. К этому времени в полку уже набрали офицеров. В их батальоне одних двухгодичников оказалось семь человек, ещё кадровые из других частей, ещё те, что здесь раньше служили. Приехал с «целины» и начальник штаба батальона майор Чепраков, который и за комбата пока был.

Першин до армии бывал только на сборах с такими же резервистами, как сам, и, когда впервые увидел вблизи реальных солдат-срочников, просто онемел. Исхудалые серые лица, у кого-то ячмень на глазу, у другого фурункул на щеке или на руке, есть с бинтами, с пластырями. Взгляды или откровенно враждебные, или подозрительные, или тоскливо равнодушные.

«Это и есть солдаты легендарной и непобедимой Советской Армии? Это же больные, голодные люди, которым надо хоть неделю дать отдохнуть и подлечиться. А командир полка объявил назавтра строевой смотр. Империалисты бряцают оружием! Боеготовность! От строевого смотра она, что ли, зависит? Тихий ужас какой-то...» – такое впечатление у него создалось при виде четвёртой мотострелковой роты, где ему нужно служить.

А командир полка всё закручивал гайки – никаких увольнений, никаких выходов! Всё везде в порядок приводить! Штаб дивизии здесь! Штаб округа! Проверка будет! Комиссия!

Ещё он отдал приказ офицерам водить роты в столовую – для порядка, дескать. В солдатской столовой, и вправду, царил кавардак: в дверях давка, толкотня, расхватуха за столами. Кто первый ворвался, тот лучше поел. Когда Першин первый раз вывел роту на улицу – на обед вести – и один на один с ними остался, солдаты, зная, кто он, загалдели наперебой:

- Почему у нас так в армии?
- Как скотину, в поле выбросили!
- Издеваются!
- Никуда не пускают, вообще времени не дают!
- Это же армия, а не тюрьма! Почему так?
- Приказ командира полка, – отвечал он.
- Нет, а почему такие приказы? – не унимались солдаты.
- Приказ в армии не обсуждают, – приходилось говорить, а потом: – Налево!

Прямо шагом марш!

Не митинговать же в армии? И что он ещё мог сказать? Для них он, конечно, офицер, а на деле командир взвода – это «начальник-куда-пошлют». Такая шутка в армии про взводных есть. А двухгодичников Чепраков называл ещё «хреновы студенты». Прибыли, значит, тыл укреплять в таком качестве. Пять лет после университета привык быть Вадимом Петровичем, а теперь вот кто! А их второй батальон в полку ещё «чёрным» считался. Есть такие подразделения в армии, куда «залётчиков» ссылают. Не все, конечно, но больше их, чем в других. Хотя Чепраков в Московском округе начинал служить, в гвардейской части. Ходил на парады, притом не в коробке, а впереди, со знаменем. Для этого и выправка нужна, и сила – в одной руке знамя нести. Всё это у него имеется, но вот в двадцать девять лет, капитаном, его отправляют в Сибирь, в «чёрный» батальон. Уже понятно: так просто не бывает. У него и к выпивке склонность, и вообще – «чапаевец». То свою лихость показать надо, то пропадёт. Он и капитаном шесть лет проходил, майора только вот недавно получил.

Манера командовать у него, что называется – ставить на уши. Едва войдя в казарму, оглашает её пронзительным криком:

– Б..! Всё снегом занесло на территории, везде грязь, бардак, а они попрятались, сидят! Бессовестные! Безответственные! Бестолковые! Строиться, роты! Всем строиться!

Так он поставит всех на уши, надаёт приказаний – всё везде мыть, чистить, приводить в порядок – уходит в штаб. Солдаты пойдут за шинелями – на улицу-то выходить – кто-нибудь из-за кровати обязательно крикнет:

– Над нами издеваются! Это русская армия!

Если честно, то и ответить нечего на это вечное «издеваются». У Першина у самого с первых дней такое впечатление. Но ему-то командовать надо и приходилось опять окриком действовать:

– Отставить разговоры! Приказ в армии не обсуждают!

Но останутся они без офицерских окриков – снова шум, сваря какая-нибудь.

А ему ещё поручили проводить политзанятия, как гуманитарную, поскольку в роте нет штатного замполита. Начнёт он говорить, как положено, о том, что при развитом социализме создана новая общность – советские люди. И не должно быть, тем более здесь, в армии, национальных делений. Все здесь – советские солдаты.

Кто-нибудь сзади прошепчет:

– Это всё русские придумали, чтобы нас под свою власть забрать!

А если посмотреть на русских здесь, в казарме – они опять, как и на полигоне, самые зажатые. В их роте русских только семь человек, и слова они не имеют. Начинается шум, скандал – русские сразу в сторону отходят, а то на них отыгрываться будут.

И порядки ту же закручивались со временем. Час-другой занятий пройдёт, потом опять всё мыть-чистить, вечером погоны к смотру пришивать. Потом, на другое утро, на ледяном плацу стоять коченеть, ожидая какую-нибудь комиссию сверху. Потом караул, потом, обычно в ночь, выезд в поле на учения. Между прочим, в поле солдаты как-то организованнее, спокойнее себя вели. Всё-таки понимали, что ради этого их в

армии собрали. Но вернулись в полк, и всё сначала: пол, снег, матрасы трясти, погоны, шевроны к смотру пришивать. И опять озлобленность, крики, скандалы...

К тому же их, как «чёрный» батальон, чаще других ставили снег чистить – не только рядом с казармой, но в других углах городка. Это у солдат дополнительное недовольство вызывало. Ещё у Чепракова потребность создавать вокруг себя кружок своих людей, выделять некоторых солдат: обычно ростом повыше, покрепче, чем-то ему угодивших. Они жили на особом положении, иногда он их и в город отпускал, несмотря на запреты командира полка. Это тоже постоянный повод для раздражения у остальных солдат, а ему хоть бы что.

Ляшенко пришёл поздно, в феврале. Долго на «целине» технику сдавал, потом в отпуске был. Как службист, командовал он по-другому, более по-уставному. Разогнал сразу кружок чепраковских приближённых, всех поставил в одинаковые условия. В ротках за этим с удовлетворением наблюдали. Но солдаты ждали и какой-то передышки, каких-то послаблений: может, свободное время у них появится, может, даже увольнения. Ничего этого не произошло. Времени даже меньше стало.

Ляшенко умел давить: методично, упорно. Иногда только он взрывался холодной яростью на весь этот «чёрный» батальон, как на препятствие в его некогда успешной карьере. По комплекции, ростом он был поменьше Чепракова, но голос ниже, с мегафонными, металлическими нотками. Мог им, без лишних криков, поднять весь батальон. Серо-голубые глаза становились свинцовыми, когда он командовал. При этом к солдатам относился как к безличным единицам. Бывало, скажет солдату: «Э!» – и делает пальчиком в перчатке знак: ко мне, мол. Будто на солдата и слов не желает тратить.

А обстановка в эти месяцы, в феврале-марте, всё более нагнеталась. Проверкой, комиссиями штаба округа с генералами и полковниками пугали уже каждый день, и с подъёма до отбоя летели и летели приказы.

Солдаты в это время рвались в караул: лучше на посту на морозе постоять, чем в казарме десять приказов одновременно выполнять.

В конце марта всё разом оборвалось. До их батальона так ни одна комиссия не дошла. Сдавал всё за всех передовой первый батальон. Поставили четвёрку, и ему и всему полку – так в армии делается. Кадровые говорили, что шёл первый батальон на пятёрку, но в штабе округа наш полк не любят, придрались к какой-то мелочи, снизили. Это, мол, тоже обычное дело в армии. До их казармы, впрочем, один полковник из штаба округа дошёл, но отчего-то сразу поднялся на второй этаж, где находится третий батальон. Навстречу ему поспешил комбат-третий – майор Гуцин. Полковник, стоя недалеко от дверей, сказал Гуцину, что у него здесь какое-то логово, а не расположение воинского подразделения, и он дальше даже проходить не будет. Ещё пару ругательных фраз добавил. Всё. Вся проверка и вся комиссия, которыми полгода стращали, муржили солдат частенько до трёх ночи, готовясь к очередному смотру.

Апрель начался как один большой субботник по уборке городка от вытаявшего мусора. Хотя шума и приказов было не меньше, если не больше. Командир полка чаще проводил офицерские построения, постоянно ходил по городку начальник штаба дивизии, всех воспитывал. Но градус накала упал.

«Зачем всё это, зимнее, было? Все эти авралы, беготня, ночные бдения? Чтобы всё кончилось каким-то анекдотом с фразой про логово? – сидел вопрос в голове у Першина. – Можно было всё спокойнее делать, выходные давать солдатам – только лучше бы было. А так...»

Настрой у него сломался. В армию он, мягко сказать, не собирался, но было и другое: всё-таки наша армия, тем более, он – офицер. Что-то делал, даже пару раз его отмечали. Но теперь он словно со стороны смотрел на раздающие приказы начальство, на всю обстановку. Тут ещё прошёл слух, что будет большая отправка в

стройбат. В их мотострелковые войска, которые самые массовые, брали сначала всех. Потом, кого сочли неподходящим, в набор – весной и осенью – отправляли в стройбат, вместо них новых набирали. Обычно таких было мало, на этот раз много будет.

Слухи эти дошли и до солдат. Теперь рота по-настоящему оборзела. Когда они возмущались и скандалили, это было полбеда. Человеку, который возмущается, можно что-то доказать, в чём-то его убедить. Теперь они молчат, но глаза стеклянные. Говорить что-либо уже бесполезно.

Занятий и учений теперь вообще нет, даже в караул их, большинство, не ставят. Там оружие с боевыми патронами – как бы чего не вышло. Ставят чистить городок, то в одном углу, то в другом. И работают они так, ковыряясь еле-еле, но и на это теперь сильно внимания не обращают.

Отправка состоялась после 9 мая. Отправили половину того набора, что попал после карантина в палатки. В их батальоне таких было две роты – четвёртая и пятая. Отправили по половине из той и из другой. Оставшиеся половинки слили в одну – это стало пятой ротой. К ним, в четвёртую, набрали молодых, а сержантов подыскали «стариков».

Всё сразу переменялось. Раньше на каждом шагу приходилось командовать им, офицерам, теперь всё держат в руках сержанты. И командуют-то по очереди. Кто-нибудь один из них выходит к молодым, и те замирают, боясь лишний раз моргнуть: вдруг товарищу сержанту не понравится. Гоняют их, конечно, здорово, но Першин уже спокойно к этому относился. Сержанты сами это прошли, да и зимой тут всем было труднее.

Новый вопрос засел – что ему тут делать? Зачем вообще их, двухгодичников, столько набрали? Если всё правильно организовать, чтобы сержанты командовали рядовыми, то столько офицеров просто не нужно. Поглядев вблизи на армию, понимаешь, что её в принципе надо сокращать, а не усиленные наборы проводить. Тут свои кадровые есть, которые рапорты на увольнение пишут, а их не увольняют, только в крайнем случае. Есть те, кто рапорты не пишет, а их и без того гнать надо. Чуть не треть офицеров и прапорщиков так служат: постояли на разводе, потом часок покрутились в казарме или в парке, и пошли похмеляться.

Это здесь, в Н-ске, где штаб округа и их дивизия вроде придворной. Чаше других её проверяют, терзают смотрами и комиссиями. А в дальних гарнизонах всей этой пьянки-болтанки гораздо больше, о чём часто говорят. Целый устный эпос на эту тему есть. И ещё двухгодичников набрали! Притом, он один из них гуманитарий. Другие из политехнических, сельхозинституты, институты народного хозяйства. То есть из экономики люди. А какой прок от них здесь? Что-то не то в нашем царстве-государстве творится!

После отстранённости, с которой он жил в апреле, теперь у него появилось чувство нелепости происходящего вокруг. Делать что-то по службе приходилось через силу. Теперь он чаще сбегал с неё, чаще заседал в компаниях. Но, кажется, совсем плохим не считался. В начале июля его с тремя солдатами отправили в железнодорожный караул по сопровождению военного груза. Перед караулом он сходил в библиотеку, набрал книг пореволюционной поры. Взгляд на происходящее в отечестве он не чувствовал законченным, пока нет ответа на то, что такое революция.

И вопросы социальных переворотов его теперь интересовали больше, чем художественная сторона книг, как было раньше.

Едут товарные составы долго, с частыми стоянками, ещё несколько раз их кидали с горки – переформировывали. Потом долго стояли на сортировках. Так что время почитать и поразмышлять было. Даже по советским книгам теперь ему становилось ясно: вся революция – это разгул низких инстинктов, которые в толпе возбудить

нетрудно. И значит, не надо было никаких революций, никакого совсем особого пути: построили ведь общество, какого нигде в мире нет. Окончательно в этом «телячьем» вагоне он укрепился в диссидентских мыслях. Хотя решил (это на гражданское будущее), что уходить в диссиденты не стоит. Надо после армии в институт возвращаться, всё-таки перспектива там есть. А изменения в стране произойдут просто путём смены поколений. Лет через десять, или даже поменьше, к власти будут приходиться люди, чья молодость на оттепель пришлась. Они уже другие, чем нынешние стариканы, воспитанные при Сталине. Тогда что-то и будет меняться. Эти выводы стали, пожалуй, главным итогом службы.

Вернулись они из караула в конце июля. Несколько дней только он пробыл в полку, и снова – железнодорожный караул. Первый раз ездили в Рыбинск, второй раз – в Ржевку, питерский пригород. Так сложилось, что раньше он в европейской части не бывал, и впервые поехал туда вот в таком виде: в сапогах и с пистолетом на боку. Поколело сердчишко: должен был год назад сюда ехать совсем по-иному.

После этого караула и отправили его на базу. Считалась она отдельной частью, хотя там было двадцать четыре человека офицеров и прапорщиков и одиннадцать штатных солдат, которые все грамотные, сидят в штабе, занимаются документами. А на складах базы работают прикомандированные. Находилась база в чистом сосновом бору – такое местечко для отдыха. Служба у людей здесь весьма спокойная. И здесь он впервые ощутил, что, несмотря ни на какие мысли про строй в целом, привык к своему полку. Командир этой базы-части подполковник Анохин сказал, что ему тут целый день находиться необязательно и добавил:

– У нас здесь порядок, не то, что в вашем городке и в полку. Приезжал я туда. Что там творится!..

Першину стало обидно за свой полк. Привык, в самом деле. «Наш полк» – так и подумал. Там сотни человек в каждой казарме, а этому подполковнику, у которого одиннадцать отобранных, грамотных солдат – что ему порядок наводить!

Его солдаты жили здесь отдельно от других, и на складе днём укладывали в ящики пальцы танковых гусениц. Он так и жил в общежитии, приезжал сюда утром на электричке, стоял на разводе, потом некоторое время торчал на складе, на своих солдат посматривая. Но, и вправду, сильно-то делать ему тут было нечего; работой командовали капитан, начальник склада, и его помощник, прапорщик. Вскоре он уезжал в город. Жил в этой командировке весьма свободно.

Съездил на пару дней домой, в Б., четвёртый раз за год. Кое-что и там изменилось. Жена хотела быть журналисткой, и только сейчас удалось устроиться в газету небольшого города-спутника. Приходится ездить на электричке, но всё равно – рада. Кроме того, по разным мелким признакам показалось, что живёт она своей жизнью и в другом смысле. Но никаких отношений не выяснял, потому что у самого кое-что в Н-ске было: не привык долго без женщины жить. Решил, как со многим другим: разберёмся, когда вернусь из армии...

Тем временем – заметил он за своим потоком мысли – машина уже выезжала из города. Полпути проехали. Лифанов, когда ходил в артдивизион, пробыл там минут двадцать. Явился, сказал, что водителя не нашёл, но дежурный пообещал его найти и прислать. Солдаты так часто говорят. Скорее всего, виделись и договорились такую картинку прогнать. Но водитель пришёл не поздно, через полчаса.

Приехали они на место к вечеру, когда все вернулись с работы. Устройство жизни здесь такое: недалеко от дороги, насыпной, но высокой, хорошо утрамбованной, стоит бетонный блок – одноэтажное зданье из домовых плит. В нём офицерский кубрик, рядом маленькая офицерская столовая с электроплитой и постоянный повар узбек Мирзараимов, который готовит для них отдельно. Вообще-то Мирзараимов числится

в миномётной батарее, но кому-то нужно варить здесь, этим он с начала службы и занимается. Дальше поварская – небольшая комнатка с двойным полом, матрасами на полу, самодельным «козлом»-обогревателем. В ней круглый год живут кто-то из поваров, ещё три солдата из хозотделения – слесарь Бычков и электрик Алёшин, известные воры и пьяницы. Но пока всё железное и электрическое в исправности, Чепраков их не трогает. Ещё каптёр инструменталки – инструмента здесь много – Азикаев, татарин из Казахстана, земляк Чепракова, из приближённых. У Чепракова, между прочим, у самого заметен в лице азиатский след: раскосинка в разрезе зелёно-карих глаз, кожа желтоватая, нос прямой, но с низким подъёмом. Говорят, он по происхождению из казаков, а к ним принимали из этих народов. Азикаев к тому же высокий, сильный парень. Чепраков часто таких выделяет. Дальше идёт сама инструменталка, дальше – солдатская кухня с открытой передней стеной. Здесь, когда много народу, как сейчас, два повара работают, тоже узбеки – Ибрагимов и Юнусов.

Напротив блока – четыре больших армейских палатки, в которых солдаты живут с мая и работают в разных уголках полигона. Правда, в учениях участвовали: им привозили оружие, со всеми побегают, постреляют и снова работать. Ездили они и на месячные учения в августе на другой полигон. С сентября снова здесь. В этом году их здесь меньше, чем в прошлом – около ста человек. Тогда было человек сто двадцать.

В палатках у них стоят кровати, старые, с жёсткими сетками, в середине – печка-буржуйка. Греет она только того, кто рядом. Для утепления есть там старые тенты с машин. Их растягивают на несколько кроватей и, закутавшись в плотный брезент, согреваются. Недалеко от палаток и чуть впереди – то, что называется солдатской столовой: узкие дощатые столы на высоких столбиках для еды стоя, из котелков. За палатками – длинный дощатый туалет, совершенно чистый, потому что им никто не пользуется. Вокруг много старых окопов, капониров, естественных углублений. По ним все и разбредаются. Офицеры тоже с наступлением темноты уходят за дорогу с бумажкой в кармане – за дорогой вроде как офицерское место.

Первым, кого встретил Першин здесь, был приятель Виталий Торопов. Он сам из Иркутска, учился в институте народного хозяйства, на экономическом отделении, на четыре года его моложе. У Виталия бледное лицо с крупными скулами, хмурые серые глаза почти прямыми щелями, нос, книзу расширяющийся, бледные широкие губы. В углу рта – папироса.

Вот кто, действительно, много курит – больше пачки «Беломора» за день у него уходит.

– Ну, как здесь жизнь? – спросил Першин.

– Мне здесь больше нравится. Нет же этих построений, приказов целый день, просто работаем...

– А Чепраков?

– И он здесь тише. Хотя иногда выдаёт. Вчера говорит Кериму, как обычно, со своими шутками: «Керим, иди, дай команду, чтобы все до одного строились. А то там какие-то больные завелись, хромые, слепые; прячутся по углам в палатках, на построение не выходят. Иди, скажи – все до одного! Разберёмся, кто больной, кто нет». Керим, он вроде дневального вчера был, и пошёл. Идёт вдоль палаток своей походкой, враскачку, и заунывно так повторяет: «Все больные, хромые, слепые – строиться! Все больные, хромые, слепые – строиться!» Трефилов дежурным по батальону был, высказывает: «Керим, чучело, ты что говоришь»? Керим: «А майор сказал: говори просто – строиться всем до одного!» Так вот служим. Но, в общем, лучше здесь.

Поужинали в офицерской комнатке-столовой. Мирзараимов варит всегда макаронные изделия разных видов – макароны, рожки, лапшу – и всех их называет одним словом: «вермишэл». В них добавляется тушёнка – еда простая, но сытная. Когда

расселись, Трефилов, тоже двухгодичник из Кемерова, ироничный, остроносый, с пробормотом посредине головы, спросил:

– Что там у тебя, Мирзараимов? Опять «вермишэл»?

– Вермишэл, – отвечал Мирзараимов, накладывая в тарелки ракушки с тушёной и слегка улыбаясь.

Мирзараимов из сельских узбеков, которые резко отличались от городских. Были у них зимой – из Ташкента, из Самарканда. Из самых крикливых в батальоне, ушибленные национальным вопросом: дескать, и там, дома, их русские зажимают, а здесь, в армии, просто издеваются. Их отправили в стройбат. Сельские, наоборот, спокойные были, послушные, они остались. При этом из них, сельских, много более светлых, не смуглых, а трое – рыжие. Мирзараимов в том числе – волосы тёмно-рыжие, лицо светлое в крупных веснушках, глаза зелёно-серые. Разные внешние типы у них там, оказывается.

Потом сидели в офицерском кубрике, смотрели телевизор. Он стоял на столе, в углу, близко от двери. За ним у поперечной стены стоял пустой стол, над ним лампа на стене. Чепраков сидел за этим столом и читал книгу. Он здесь, в самом деле, тише. И заметна какая-то особая задумчивость. Видимо, ждёт назначения на комбата, раз Ляшенко уходит. Тот, кстати, на целые пять лет его моложе, но как-то повернулся, рано поступил в академию, выскочил наверх, карьерист! Так Чепраков к нему относился.

Ближе к вечерней поверке дверь открылась. Валера Савельев, дежурный по батальону, тоже двухгодичник из Норильска, сменным мастером на комбинате работал, и Азикаев завели повара Ибрагимов и азербайджанца Гусейнова. Ибрагимов из узбеков самый крупный, и роста выше среднего, и широкий, мускулистый. Гусейнов ростом пониже, но сильный парень, слегка полноватый – некоторые не худеют и в армии. У него поэтому прозвище – Гусейн-толстый, чтобы от других отличать: Гусейновых трое в батальоне. И ещё прозвище – Гусейн-дикосарый. Он известен вспыльчивостью.

– Подрались, – пояснил причину привода Савельев.

Чепраков спокойно посмотрел на них и негромким голосом сказал:

– Кровя горячие играют? Дайте им две самые тупые лопаты без черенков, пусть копают яму – два, на два и на два. Каждый по такой яме.

Все четверо стояли и, часто моргая, смотрели на него. Подумали, что это одна из его шуток и сейчас ещё что-нибудь добавит. Ведь лопатой без черенка ничего не сделаешь.

Но он продолжил:

– Что стоите? Азикаев, есть у тебя лопаты без черенков?

– Есть,

– Выдавайте, и вперёд!

Они ушли. Азикаев выдал провинившимся лопаты без черенков, те с квадратными глазами пошли выбирать место для ям. Выбрали в свете фонаря, что стоял между углом блока и солдатской столовой. Отмерили широкими шагами стороны по два метра, потом стали полотнищами лопат пробивать по краям канавки – разметку делали.

Началась вечерняя поверка. Чепраков на неё вышел, на наказанных глянул только мельком, быстро вернулся в блок. Приятели Ибрагимова и Гусейнова подождали минут пятнадцать – он не выходил. Они – по четыре человека азербайджанцев и узбеков – взяли у Азикаева нормальные лопаты, с черенками, ринулись на помощь землякам. Копать начали резво, человека по три с разных сторон. Валера Савельев не возражал.

Выкопали довольно быстро. Ямы были два на два, но в глубину немного меньше, хотя до глины.

На утреннем разводе Чепраков спросил:

– Что, выкопали они ямы?

– Да, – ответил Савельев, слегка покраснев. Он вообще легко смущался, краснел. Чепраков посмотрел на ямы издалека – глину уже видно – и этим удовлетворился, подходить не стал.

Разошлись на работу. Кто-то пешком, кого-то увозили на машинах, которых две здесь – постоянно ГАЗ-66 их батальона, из миномётной батареи, и ещё ЗИЛ дали. Першина отправили пешком, километра за два, вправо от лагеря. Работа была здесь своеобразная. Раньше тут построили поясные укрепления из белого кирпича, потом начальники из штаба округа нашли, что они должны быть в другом месте. Укрепления развалили на глыбы, теперь эти глыбы солдаты на отдельные кирпичи разбивают старыми топорами, очищают кирпичи от раствора, складывают в стопки, чтобы ещё в дело пошли. Осталось разбивать уже немного, давно этим занимаются.

В самом дальнем углу сидели, тесали кирпичи два сержанта – Ключарёв и Тлеулинов, из той роты, что зимой у них была. Хоть сержанты, здесь как рядовые работают. У Ключарёва небольшое, приятное, голубоглазое лицо с выражением слегка замороженным: как русскому ему в той роте приходилось тяжело, да и сейчас вот кирпичи тешет. Тлеулинов – казах, со смуглым красивым лицом, крепкий, бодрый парень. Держится с достоинством, как человек, привыкший, что на него внимание обращают. У него ещё красивый почерк, был у них в роте вроде писаря. Здесь топором работает, усмехаясь этому. Они с Ключарёвым старые дружки – ещё в учебке в одном отделении были. Работают сержанты неплохо – стопка очищенных кирпичей у них большая.

Дальше за другой глыбой сидели Нафаилов и Мухамеджанов – тоже из той их зимней роты. Нафаилов – горский еврей из Дербента, у них там какое-то древнее поселение. Было их десять человек в батальоне, половину в стройбат отправили – тоже любили поорать, повозмущаться. Ещё всё время подчёркивали, что они – горские. У некоторых, между прочим, даже в военном билете, в графе национальность, было написано – горский еврей.

У Нафаилова написано просто – еврей, но интересное имя. Зовут его – Энгельс Борухаевич. Отец у него партийный, назвал сына в честь одного из основоположников. Нафаилов и в прошлом году был здесь, в палатках, приехал с большим нарывом на нижней губе. Долго ходил в санчасть, и всё пытался пристроиться к капитану Фурсову политбойцом. Иногда Фурсов садил его в ленинскую комнату, какие-то конспекты писать, но в основном он в роте был, как все служил. Хотя эта жилка – к политике пристроиться, кем-то поруководить – у него есть. Вот здесь и зацепил Муху – так Мухамеджанова все зовут. Он казах, но совсем другого типа, чем Тлеулинов. У них там, похоже, разные народности внутри есть. Такие смуглые, как Тлеулинов – более высокие, крепкие, с лица более симпатичные и голова нормально соображает. А Мухамеджанов – откуда-то из степей человек: лицо у него бледное, при этом широкое, с огромными скулами и мелкими чертами. Сам худенький, маленький, по-русски почти не говорил и вообще мало чего знал. Тоже здесь был в прошлом году и приехал с пластырем на щеке и бинтом на руке. Этой осенью у него уже дембель, но он все два года так Мухой и прослужил, всё время пахал на кого-нибудь. И сейчас Нафаилов, хоть и сам работает, но на него покрикивает:

– побыстрее, Муха, шевелись, побыстрее!

Стопка кирпичей у них поменьше, чем у сержантов, но тоже натёсана.

Дальше ещё с неразбитой глыбой мучился Керим, точнее – мучил эту глыбу. Керим из солдат, сразу впавших в прострацию, как будто так и не понявший – зачем его сюда, в Сибирь, привезли, и что тут ему делать.

Впрочем, был в той их роте некоторое время каптёром, поскольку он смиренный, послушный. Всё топтался по каптёрке с «чипитильником» в руке. Так он называл самодельный армейский кипятильник, какие во всех каптёрках: шнур с вилкой и

нагревательный элемент из безопасных лезвий, скрученных нитками через спички. «Чипитильник» у него был самый любимый предмет, и, когда кто-нибудь из офицеров говорил: «Поставь чай, Керим», это для него радость была. С готовностью бросался в умывальник с трёхлитровой банкой. Принесёт воды, сунет туда «чипитильник» и сидит рядом с тихой улыбкой на лице, наблюдая, как пузырьки в воде поднимаются. Что-то родное и близкое в этом ему виделось. Керим, как большинство таких солдат, в себя со временем не пришёл. Как сомнамбула, слабо, замедленно тюкает по глыбе топором, она даже ничуть не поддаётся. И надел на себя всё, что можно – ватник, в каких все здесь ходят, а сверху ещё шинель, и у шапки уши опущенные, хотя уже вышло солнце и температура плюсовая. По-армейски это называется – «очмырел» совсем.

– Керим, ты хоть шинель-то сними. Тепло уже, солнце светит, – сказал Першин.

Керим тюкать перестал, но выполнять распоряжение не спешит: вдруг он ещё что-то скажет или уйдёт.

– Сними шинель, говорю! Положи её вон туда, – Першин показал на место, где погуще трава.

Керим подошёл точно к этому месту, положил там шинель.

– И работай побыстрее – вообще жарко будет. Смотри, как надо, – Першин сам взял топор, с размаху ударил по глыбе – она сразу развалилась пополам. Раствор в укреплениях был совсем слабый, с чутком цемента.

– Понял, Керим? Давай! – закончил он.

Керим, чему-то под нос усмехаясь, взял топор, несколько раз ударил посильнее, потом снова наладился на мерное сомнамбулическое тюканье.

Першин махнул рукой, пошёл дальше.

«Зачем таких берут? Напугать НАТО Керимом и Мухой? – возникли у него в очередной раз вопросы. – Уж напугаем!»

За следующей, последней, глыбой сидели два узбека – Базаров и Рахманов, тоже сельские, сразу были спокойные и работающие. Сейчас, через год с лишним, ещё физически окрепли, были сильно худые в том году, и работают споро. Горка кирпичей у них большая. Оба, между прочим, были в его втором взводе зимой. Першин их похвалил, но они что-то не среагировали.

Дальше двое азербайджанцев, тоже из его зимнего взвода, Тагиров и Аббасов, копали канавку для кабеля к подъёмникам мишеней. Эти тоже из крепких парней, Тагиров вообще у азербайджанцев за старшего, авторитет. Они, кто пошустрее, вокруг него сгруппировались. Хотя азербайджанцы за всех своих не держатся, некоторые у них, послабее, как Керим, ещё несколько таких есть, всегда на отшибе. А Тагирову всё предлагали зимой сержанта, но он отказывался – никто в той роте командовать не хотел. Так и остался рядовым. Работают они неплохо, хотя и с мрачными лицами. Першин их тоже похвалил, а они тоже что-то никак не прореагировали.

Вообще ему было приятно встретить солдат из той роты. К новой, молодой послушной роте он так и не привык. А с этими больше всего было связано. Хотя было зимой много шума и скандалов, он часто на них злился, но это тоже человеческие чувства. А им, солдатам, кажется, всё равно: что тот офицер, что этот. Все они где-то на другой стороне, живут другой жизнью, да и они сейчас в другой роте.

Поближе к блоку увидел и Лифанова. Стало понятно, почему он таким огурчиком выглядит. Сам он не работает, у него трое солдат из их взвода моложе его по призыву – они копают. Лифанов стоит рядом с важным видом – руководит. Не зря такое будущее себе наметил. Крупным директором – кто его знает, но обычным завмагом станет. Задатки видны: сумел и здесь устроиться.

Вечером Першин заступил дежурным по батальону. Дежурство здесь лёгкое – нет, как в городе, телефона, который разрывается от приказов из штаба полка, а то и из

штаба дивизии. Нужно проводить приём пищи, ещё отбой, подъём, да поглядывать – не случилось ли где чего. И всё. Ужин прошёл спокойно, они все уже больше года служат, пообтесались, притёрлись к этой обстановке, правда, вид у них шибко угрюмый. Жизнь эта в палатках и служба в виде очистки кирпичей и копки канав изрядно всех вымотала.

На вечернюю поверку вышел Чепраков, произнёс речь о повышении дисциплины и хорошей работе. Потом, когда солдаты забралась в палатки, Першин дальше проводил отбой. Они там, внутри, ещё шумят, разговаривают, нужно их успокаивать. Он, начиная с последней палатки, просовывал внутрь голову и, как заведённый, покрикивал:

– Отбой! Отставить разговоры! Отбой!

Потом в следующую:

– Отбой! Отставить разговоры! Отбой!

Когда он дошёл до первой палатки, где флашток и второй на территории фонарь, из темноты со стороны блока показался Чепраков, который вёл того же Гусейнова.

– Так, Першин, у этого кровя опять играют, – сказал майор. – Сделай вот что: бери Вейса, вон машина стоит, – он показал на ГАЗ-66, что стоял на краю светового фонарного круга. – Выезжайте на дорогу, поставьте этого впереди на пять метров, и на малой скорости – Вейс сможет – гоните его бегом до озера – Вейс знает, где оно. Тут километра четыре, пусть пробежится – туда, потом обратно. Остынет.

Приказание это выбило Першина из состояния армейского автоматизма.

– Как так? – сдавленным голосом пробормотал он.

– Молча! Бери Вейса и действуй!

– А Вейс?

– Он в кабине спит, в гамаке. Не знаешь, что ли?

Першин пошёл к ГАЗу. «Человека машиной гнать, совсем уже... – стучало у него в голове. – И что за гамаки ещё там?» У ГАЗ-66 мотор в кабине и внизу не спишь. Открыл дверцу: действительно, висел там брезентовый гамак, прицепленный над дверцами. В нём человеческая фигура как раз к нему спиной. Першин потолкал в спину кулаком, Вейс выбрался из гамака, снял его, а лицо сильно недовольное. Он привык при Чепракове быть, а тут командир взвода его разбудил. Сам Вейс высокий, светлый, лицо удлинённое, с крупными округлыми чертами, а подбородок слегка выдающийся и нижняя губа оттопыренная, что придаёт лицу пренебрежительное выражение. Но, когда Першин рассказал, в чём дело, лицо его сразу изменилось: стало тревожно взволнованным, а взгляд вопросительным. «Что происходит?» – спрашивал он глазами.

Выехали на дорогу. Гусейнов был уже здесь, прохаживался туда-сюда с видом готовности ко всему. Он хоть самый вспыльчивый из азербайджанцев, но офицеров беспрекословно слушался, поэтому его весной не отправили в стройбат.

Без напоминаний он подошёл к машине, отмерил пять широких шагов, встал, согнув руки в локтях. Принял положение для бега с высокого старта, как учили в армии. Першину показалось в этой чёткости действий что-то вызывающее.

– Трогай потихоньку, – сказал он Вейсу.

Вейс поехал на малой скорости, Гусейнов бежал впереди ровным, сильным махом под морозящим дождичком. Всё небо к вечеру обложило тучами, и мелкий дождь сеялся уже часа два. Они, в кабине, всё бросали друг на друга вопросительные взгляды. Проехали метров пятьсот, наконец, Першин не выдержал:

– Это чёрт знает что! Как зверя гоним! Вот что, Вейс: останавливай машину и гаси фары. Просто постоим с час, и всё...

– А он выйдет проверить, сразу заметит, что фары не горят.

– Да ерунда...

– Вам-то, конечно, а мне – дембель...

У Вейса был дембель этой осенью, и он боялся, что Чепраков из-за такого случая его задержит. Он делал это запросто.

Проехали ещё метров двести. Вейс затормозил, высунулся из окошка, прокричал:

– Эй, Гусейн! Садись на передок, на лебёдку – там широко, хорошо. И за крюки держись. Я также потихоньку поеду, и всё нормально будет! Понял?

Вернувшись в кабину, он повторил и Першину:

– Там широко, хорошо. Я так же тихо поеду, всё будет нормально. А в кузов посадить – оттуда далеко вылезать. Вдруг он на второй машине проверять поедет. Он может.

Боялся всё-таки Вейс за свой дембель.

– Подожди, я пойду, посмотрю, – сказал Першин. Он выпрыгнул из кабины. Гусейнов уже уселся на лебёдку и держался за крюки. Передок у ГАЗ-66 широкий, сантиметров сорок. Так что сидел он надёжно. Ему Першин тоже сказал:

– Держись крепче, мы поедем также тихо, и всё в порядке будет.

– Угу, – пробурчал Гусейнов, при этом избегая – что Першин отметил – смотреть ему в лицо.

Поехали на той же скорости, наблюдая внизу стекла голову Гусейнова. Потом среди кромешной тьмы Вейс остановился.

– Озеро здесь, я по дороге помню, – сказал он.

Гусейнов с машины соскочил, Вейс развернулся и предложил:

– Давайте постоим с полчаса. Зачем торопиться?

– Постоим.

Вейс достал из бардачка банку гречки с тушёнкой. В полевых условиях офицерам положен сухой паёк, Чепраков его получал, но больше никто из офицеров его не видел. Зато солдатам, которых он считал своими людьми, подбрасывал по баночке-другой.

– Будете? – предложил ему Вейс каши.

– Не хочу, – ответил Першин и достал сигареты.

– А он тоже, кажется, курит, дайте ему, – проявил Вейс солдатскую солидарность.

– Гусейнов! Закурить хочешь? – крикнул Першин.

Гусейнов подошёл, осторожно взял из пачки сигарету, при этом также избегая смотреть Першину в лицо.

Вейс умял баночку каши быстро, и, подкрепившись, приободрившись, стал рассказывать свои похождения. Он был из лучших водителей, его и его дружка Митяева из взвода связи, тоже хороший водитель, Чепраков ещё зимой отпускал в город, даже с ночёвкой. Они были первые ходоки, постоянно паслись в женских комнатах общежития Сибсельмаша. Здесь Вейс, имея в руках машину, пустился по деревенским девицам.

– Сидим с ней на лавочке, она первая говорит: «Саш, у меня мать в десять часов спать ложится, а здесь на чердаке кровать есть». И вот мы с ней... – рассказывал он увлечённо, будто заново переживая своё приключение.

Першин слушал его вполуха, смотрел всё на Гусейнова, который ходил перед машиной в свете фар, при этом и на машину стараясь не смотреть.

Бросал взгляды куда-то в густую тьму, видел, наверное, где-то там, за пеленой мрака и дождя, свой солнечный Азербайджан.

Першину вспомнилась маленькая история из самого начала службы – ноября прошлого года. С утра было два часа занятий, потом пришёл Чепраков, выгнал роту чистить снег, хотя занятий по расписанию шесть часов. Почистили, перед обедом зашли в казарму. Солдаты сразу устремились в проходы между кроватями и пропали там. Кровати двухъярусные, они мелкими группками становятся за ними и никого

не видно, хотя вся рота здесь. Першин сразу не зашёл в каптёрку, постоял в проходе, удивляясь их способности пропадать. Тут из штаба появился Чепраков с бумагой в руке, увидел его, подошёл.

– Нужно матрасы на складе получить, – он подал ему бумагу, это была накладная.

– Бери двадцать человек и быстрее на склад!

– А матрасов двадцать восемь, – сказал Першин, глядя в накладную.

– Ничего, кто поздоровее по два возьмут.

– И скоро обед уже.

– Сколько времени?

– Сорок минут до обеда,

– Как раз успеете. Десять минут туда, десять обратно. До столовой двадцать минут. Только быстрее, Першин! Бегом! Понял? Бегом!

Он ушёл.

«Бегом с двумя матрасами, что ли? – по гражданской привычке думал Першин.

– Или как сказал, так и ладно? А они сейчас начнут прятаться, кто поздоровее выгалкивать тех, кто послабее».

Наобум он дал команду пустым кроватям:

– Строиться двадцать человек!

Солдаты на удивление дружно стали вытекать из-за них. Только не двадцать человек, а вся рота.

– Вы что это – все? – спросил он.

– Так лучше, – загадочно отвечали солдаты.

Першин скомандовал на выход, пока новых указаний не поступило.

Двинулись по городку. До склада тут, действительно, минут десять ходьбы. Но там ли ещё прапорщик? И выдаст ли? Прапорщики на складах чувствовали себя важными фигурами, желали разговаривать с офицерами исключительно наравне, а то и через губу. Такой и у них на складе был – прапорщик Штецер, тридцатилетний, весьма занозистый. Как услышит небрежные нотки по отношению к себе или покажется ему, сразу найдёт причину не выдавать или вообще закрыть склад. Кадровые избегали на склад ходить, посылали туда появившихся двухгодичников.

«Разговаривать с ним надо просто официальным тоном», – решил Першин.

Дошли до склада. Тут солдаты высказали свой замысел:

– Давайте получим матрасы и оставим одного караулить, а мы пока в столовую сходим. Раньше прийти лучше...

«Опять кого-нибудь послабее оставят. Жаловаться любят, а сами на ком-то ездят», – подумал он и сказал:

– Нет, так делать нельзя. Подождите, я пойду, поговорю.

Он зашёл в склад, стараясь официальнее, высказался:

– Товарищ прапорщик, нам нужно получить, – подал ему накладную. – Мы сейчас на обед идём. Можно так сделать: отсчитать матрасы, а мы на обратном пути их заберём?

Штецер, небольшого роста, с узким конопатым лицом, внимательно его выслушал и, удовлетворившись таким тоном, сказал:

– Хорошо. Я скажу своим, они отложат.

Пошли в столовую, дружнее, быстрее. На обратном пути солдаты без обычных препирательств, даже с рвением, разобрали матрасы и вскоре уже были в казарме. А там никого, все, и начальство, на обеде, можно пока отдохнуть. Солдаты расселись на табуретки и поглядывали на него довольными, даже с некоторой благодарностью, взглядами. Пошёл он им навстречу, сделали по-своему и лучше пообедали, и время отдохнуть есть.

Гусейнов был один из главных в этой истории. Стоял возле склада напротив него, смотрел в глаза, горячился, доказывал. И потом, в казарме, он сидел примерно в середине расположения и бросал на него благодарные взгляды. Но теперь это кончилось. На всю жизнь запомнит, как в русской армии...

«Русская армия, – невольно подумалось. – Штецер, Вейс, Гусейнов, Ибрагимов, Мирзараимов и так далее, так далее. Хотя офицеры все русские, вот они и говорят».

В общем, как в русской армии русский майор приказал, и его гнали по дороге машиной, как зверя. Ну, пожалели его немного взводный и водитель. Но они-то не большие начальники. Главное – что майор сказал. А майору почему-то не приходит в голову мысль, что солдат тоже что-то думает и запоминает. Не приходит, и всё. А сколько их уезжает восвояси с такой памятью о службе!..

– А я домой ездил на этой машине, – осмелев, сказал Вейс и хлопнул ладошкой по рулю.

– Тут же далеко, – он жил в соседнем крае, в районе, населённом в основном немцами.

– Не так далеко – километров триста пятьдесят. Короче, в августе все на учения уехали. Нас, солдат, здесь человек десять осталось, из офицеров – один Фурсик, а он же лопух. А тут ребята, Бычков и Алёшин, в город съездили, говорят: там тоже никого нет, одного лейтенанта Торопова видели. А была как раз пятница. Я подхожу к Фурсику, говорю: «Товарищ капитан, сейчас ребята из города приехали, сказали: меня зачем-то майор Чепраков вызывает на два дня». Он говорит: «Ну, если майор Чепраков, то надо съездить. Но смотри – в понедельник утром здесь будь. Мы же работаем». Я сажусь на машину – и к себе. Тут дороги мимо постов есть. Утром рано уже дома был, два дня погулял, воскресенье в двенадцать ночи снова на машину сажусь, и сюда. Приехал, они здесь только позавтракали, на работу собираются. Я подошёл к Фурсику, доложил. Он говорит: «Ты – хороший солдат, Саша! Всегда выполняешь, что тебе скажут».

Совсем другая служба у Вейса была, чем у большинства.

– Заводи, сейчас поедem, – сказал Першин и вылез из кабины: усадить Гусейнова.

Поехали потом потихоньку, поглядывая опять на голову Гусейнова внизу стекла. За полкилометра от блока Вейс затормозил. Гусейнов прыгнул, отсчитал пять широких шагов, встал, согнув руки в локтях. Вейс тронул машину, он побежал.

Когда Першин зашёл в офицерский кубрик, там ещё горел свет и работал телевизор, хотя было около полуночи и все уже лежали на кроватях. Впрочем, лежали одетые, да и спали обычно одетые – ночами и здесь холодно. Чепраков тоже лежал на своей кровати в дальнем углу, одетый, поверх одеяла, и всё читал, хотя там, в углу, темно.

– Так точно! До озера и обратно, – бодрим служебным голосом доложил Першин.

– Молодцы, – проворчал Чепраков и снова углубился в чтение.

Першин уселся на стул. Ложиться ему рано – он всё-таки дежурный. Нужно ещё походить по территории, убедиться, что все спят и ничего более не произошло. Рассеянно глядя в телевизор, он думал: «Ещё год служить. Целый год... Целый год...» Сильно билось сердце.

Он вышел наружу. Чёрные пирамиды палаток, в которых спят, закутавшись в брезент солдаты, два фонаря по краям небольшого лагеря.

Ни звука, только тихое-тихое шелестение дождя слышно. Он прошёлся по территории: нигде никого не видно, действительно, все спят. Убедился. Но внутрь, в офицерскую комнату, заходить не стал. Хотелось побыть одному.

Долго он прохаживался в ночной тишине.

Татьяна Прокопьева

Я ИМЕНЕМ ТВОИМ ДОРОГУ НАЗОВУ...

* * *

Не стучи в моё сердце, оставь, оставь...
Не касайся моей дороги.
Ты печали моей и тревоги состав,
Скорый поезд... Снега, берлоги...

Тёмной ночью отхлынь от чугунных ворот,
От перрона, где ждут недотроги.
Чёрной птицей тайги сквозь январскую стынь,
Где свирепые единороги

Выдыхают луны жёлтый пар изо рта,
И питаются тем немногим,
Что упало с небес – снег ли, камень, звезда –
Где берёзы девически строги.

Я тебя не хочу больше ждать в январе, феврале
И в лихую годину.
То ли руки по локоть твои в серебре,
То ли горб отягчил твою спину.

Я тебя не хочу больше ждать... Января, февраля
Уплывают льдины.
Этот город из чёрного хрустала
Не позволит себя покинуть.

Безнадёжное счастье моё в горсти,
Провожая состав уходящий.
Больше ждать не могу, не умею – прости
В прошлом, будущем, настоящем...

* * *

В полнеба облака...
Когда-нибудь весной
состав качнёт слегка,
пересекая мостик,
Я просто еду там,
вдоль станции чужой,
так просто, а не к вам
я еду в гости.

Не сладилось – пустяк.
Мелькают за окном
то встречные огни,
то тёмные погосты.

Я вижу двух бродяг
за выцветшим столом.
И жизнь мою они
разыгрывают в кости.

Но разливает ночь
густую синеву.
Благодарю за всё,
и за ошибки тоже.
Я именем твоим
дорогу назову,
что привести друг к другу
нас не может.

Луна

Май целовал, ласкал, лелеял,
лиственной дразня.
И становилась зеленее
моя земля.
Взошла. Знамением явилась
Луна. Смотри!
А ты как будто бы светила
вся изнутри.
И вот тогда, ещё не зная
туманных дней,
ты шла такая молодая
навстречу ей.
Тебе казалось, что спустилась
она с небес.
И тьма пред нею расступилась,
и замер лес.
Спускаясь в озеро, играла,
к себе звала
и позолотой осыпала,
и уплыла.
Водой живую лес пропитан.
С тех пор она
Луны искрящимся софитом
освещена.
Огромной рыбиной небесной
была Луна,
уплывшая в тот край чудесный,
где рождена.

После дождя

Девушки с мокрыми волосами –
русалки, покинувшие обитель...
И каждая мчится почти босая,
И каждой вослед удивлённый зритель
смотрит протяжно и улыбается...
И вот одна – бирюзовая, дикая
в сандалий изяществе – впереди.
На ней ниспадающая туника,
в глазах отрешённость, на груди
азалия, а может быть, и гвоздика.
Ваш дом тенистых аллей – водоросли,
песок блестящий, кувшинки, лилии...
Но вы не так уж ещё подросли,
земные пространства ещё не осилили.
Что вас заставило выйти на сушу
лёгких, воздушных, почти прозрачных? ...
Вы ведь привыкли рулады слушать.
Музыки пища - не дым табачный.
Зачем вам мужчины, что за нелепица?
Зачем вам грубые ласки эти?
Но в каждой нимфе мечтою светится
тоска о принце, о вечном лете.

* * *

Любимый исчез навсегда,
он и не был «моим».
Увы, не простившись, ушёл
с наступленьем рассвета...
Но как заведённая:
«Сядем, поговорим,
продлим хоть ненадолго
это короткое лето».
С любимым опять говорю,
а со мной – никого...
Ревную, сержусь, удивляюсь,
пытаюсь мириться...
Короткое лето,
приблизившись, нас обожгло,
оставив загар, словно знак
на обветренных лицах.

* * *

Он любил эту женщину,
(просто забрать ключи
И захлопнуть дверь...)
Он любил эту женщину.

А теперь...
С кем-то пил,
Где-то вкалывал.
(Просто забрать ключи?)
Даже если обманывал
Без причин.
Он считал, будто он
в этом мире совсем ничей.
И однажды сделал себе
Дубликат ключей.
И когда ей казалось,
Что нечего больше терять,
Он входил к ней без стука
И всё начинал опять.
Где теперь эти двое?
Не спрашивай ни о чём.
Он больше её не откроет
Своим ключом.

Сон

Спокойной ночи, милая моя.
Спокойной ночи говорю себе.
Но призраки сгорающего дня
Ещё ликуют в бешеной борьбе,
Ещё вздымают алые флажки,
Ещё трубят назначенный поход
Гвардейцы, юнкера и старики –
Герои и какой-то пьяный сброд.
Дрожит земля, и задом наперёд
Одеты их мундиры, и штыки
Притуплены. Процессия ползёт,
А то летит, не видя в том вины,
Здесь ногу сломит чёрт. Но кони их
Похожи на игрушечных коней.
Вот скачет командир, красив и лих,
Нам не в пример румяней и белей.
А, может быть, какой-то юбилей
Заставил их взметнуться и пойти...
Душа моя, закрой глаза скорей,
Ведь с призраками нам не по пути.
Всё растворится, милая, пройдёт,
Скорее спи, ведь завтра Новый год.

* * *

Когда я ждать тебя устала,
Но ждать была уже не в силах,
Меня как будто бы не стало,
Как незабудку подкосило,
Тростинку бледную осоки,
Былинку тонкую под ветром.
И надо мною, одиноки,
Качаясь, пели песню вербы...

Качаясь, пели. И пушинки
Летели вербные над пашней.
И полевых цветов косынки
Затрепетали. Воздух влажный
Уже напоминал природе
О том, что облаком бумажным
Предстала туча к непогоде.
Она плывёт свинцово-важной,
Иссиня-чёрной, бледно-серой,
Плывёт с неровными боками...
Она плывёт, неся холеру,
Над лодками и рыбаками,
Над речкою и деревушкой,
Над лесом иглистым и стогом.
И огневою погремушкой
Грозит извилистым дорогам.

* * *

А станешь Душой – безликой,
приснишься мне повиликой,
камнем, летящим вниз.
Только почаще снись.

Прости мне всё это, дурочке,
но если бессмертны Души,
я буду играть на дудочке.
А ты прилетай послушать...

Игорь Тюленев**И ВСПЫХНЕТ ПАМЯТЬ****Пороховой запас**

Комары гудят, как лодки,
 Что бегут по-над водой.
 Перемерли все погодки,
 Что любили пить со мной.

Что любили пить и драться,
 Речку выгибать веслом,
 Самогоном наливать
 И в обнимку спать с костром.

Вот такие, ёлы-палы,
 Были корешки у нас...
 Но от сырости пропали,
 Как пороховой запас.

Городская окраина

Дома картонные, бумажные,
 Труха и пакля лезут в паз,
 И в основном всё двухэтажные,
 Всё чёрно-серые в анфас.

Во двориках, как у Поленова,
 Поленицы горбатых дров,
 Портреты Энгельса и Ленина
 Взирают из сырых углов.

В чулане дедовская четверть
 Початая, с живой водой...
 Знать, старший сын закончил четверть,
 Шумит, как месяц молодой.

За стенкой, словно в пушку ядра,
 Вбивают в платье девки грудь.
 Поздней у городского сада
 Ты подмигнуть им не забудь.

Тяжёлые кусты сирени
 Ломают чахлый палисад,
 Я здесь мёд-пиво пил со всеми,
 Тому лет двадцать пять назад.

Сейчас случайно, мимоходом
 К ним ненароком загляну,
 Чтоб зацепить плечом ли, оком
 От нас ушедшую страну...

У моря

Не здесь ли кадила звезда Одиссея
В ладонях разлуки.
Где слёзы Сирен выжимал из очей я,
Как яд из гадюки.

На дне амазонки топили обновы,
Молву и наветы.
И выжгли глаза у Гомера глаголы,
Как сопла ракеты.

Здесь зной гуталином касается кожи.
Слюна высыхает.
Но здесь олимпийцами стать мы не сможем
Без отчего края.

Без рощ золотых и простуженных речек,
Мужицкого рая...
На севере диком грустит человек,
Меня поджидая.

И все эти гарпии, фурии духа,
И арфы Эллады,
Замрут, как ладошкой, прибитая муха,
У русской ограды.

Пожар Манежа

Манеж горел. Умы клубились
И оседали на счетах...
Когда-то здесь на саблях бились,
Орлы, нам с вами не чета!

Здесь шли в галоп кавалеристы.
Я слышал топот лошадей!
Художники, певцы, артисты.
Хрущёв бывал и Аджубей.

Как будто бы сошёл с плаката,
На выставке бессмертных сил,
Хрущёв Сергеевич Никита
Про гомосексов говорил.

Здесь я ходил на Глазунова,
Он ничего мне не открыл...
Три ратника у Васнецова,
Вот чем мой предок дорожил.

Но Русская пуста застава,
Скрипит в гробу казак Илья.
И догорает наша слава
Уже в трёх метрах от Кремля!

Вина

Сколько быть без вины виноватым?
Отыщу за сараем лопату,
Закопаю вину глубоко...
– Повинись! – мне кричат фарисеи,
Вторят им всех времён лицедеи...
Закопал, но не стало легко.
– Откажись от великой идеи,
Отрекись от великой Расеи... –
Этот гомон зашёл далеко.
Лучше быть виноватым,
Но честным,
Взял лопату,
А место известно.
Откопал...
А там нет ничего.

Сад

В багрец и золото...
Вот осени начало.
Холодным духом веет от строки.
Дабы костям продутому полегчало –
На печки спешно лезут старики.

Из птиц – одни сороки-белобоки,
Не улетели за теплом на юг.
Проходят все отпущенные сроки,
Проходит всё...
Да и любовь, мой друг.

Горячим чаем разогреем плоть,
Возьмём лопату, черенки от вишни.
Сад разобьём,
И, может быть, Господь
Нас ненароком в том саду отыщет.

Думы холостяка

Пора жениться, брат, пора,
Рванулся было со двора,
Да на дворе лежат дрова,
Растёт трава.

А если пальцем мысль прижать,
То можно годик подождать,
Ведь от себя не убежать,
Не убежать...

Домой вернусь да борщ сварю.
Я, девки, вас не узнаю,
Хоть говорю вам не в струю,
Я не в строю!

Из строя вышел, как солдат,
Пусть без меня идёт отряд,
Не мной командует комбат,
И сват, и брат.

Я погорюю да посплю,
На вечер дурочку словлю,
Побуду час-другой в раю,
Опять посплю.

Проснусь не лысый, не худой,
С широкой русской бородой,
Жене я подойду любой,
Жене любой.

Друг женится. Давай, не трусь!
Когда-нибудь и я женюсь,
Когда – не знаю – соберусь.
Женюсь, женюсь...

* * *

Ребята, был ли я в Париже?
Конечно, был! Вопрос смешон.
Там были «меченый» и «рыжий»,
Прорабы бездны с кодлой жён.

Тебя таможенник встречает,
Когда садится самолёт.
Он за себя не отвечает,
Шмонает прибывший народ.

Кого-то просит снять фуражку,
Кого-то брюки и трусы.
Дочь буржуина хватать за ляжку
В чулках невиданной красы.

Неужто, к стрингам прицепила
Ракету от системы «Град»?
Что взять с меня? – Топор да вилы,
Что я заныкал в палисад.

Недавно здесь стоял Есенин,
Спускал, как свору псов слова.

Март. Настроение весеннее,
И ты податлив, как трава...

Таможня паспорт возвращает,
Но негр вам честь не отдает.
И вот Париж тобой икает,
Открыв огромный женский рот.

**Монолог участника
Парижского книжного салона**

Наш президент, с французским сидя,
Ни разу нас не посетил...
Висели на ушах витии –
Из тех, которых пригласил.

К руке прикладывался всякий
Постмодернист и демократ,
Потом уже к священной раке,
В которой спрятан Бонапарт.

Я ж не почтил Наполеона,
И не припал к стопам врага!
Сравнил ботинок свой с condomом
Легко – стихи читал когда.

Ко мне студентки из Сорбонны,
Слетались, словно мотыльки.
Топтал парижские газоны
И разорял их цветники.

Мой предок с Терека, не здесь ли
Осаживал резва-коня,
На круп лошажий шлюхи лезли,
И он не посрамил меня.

Я, слившись с Люксембургским садом,
Мечтал – на Родину иду...
Она украшена парадом
В том приснопамятном году.

Спасла Европу и арабов,
Бульвар Распай и Монпарнас.
Нельзя быть президенту слабым.
Он должен походить на нас.

И вспыхнет память

Играет мускулами слог,
Как ток по струнам.
Мне встретиться позволил Бог
С тобой в подлунном.

А значит не в церковный хор
И не на паперть
Влюбленный устремится взор
И вспыхнет память.

Нет, нет, там не было такой,
С хрустальным телом.
С ромбической бахромой –
Златой на белом.

Ни этих слёз, ни этих глаз,
Ни этих сказок...
Ни эти профиль и анфас,
Ни этих красок.

Нет ни Шекспира, ни Пьеро,
Ни Коломбины...
Есть я и ты – моё ребро,
И гроздь калины.

А значит, осень на дворе,
И божьи стаи
Летят в небесном серебре,
Чтоб не растаять.

И взявшись за руки, взлетим,
Влюбившись слепо.
Мы наши чувства сохраним.
Как птицы – небо.

Полёт шмеля

Шмель, врезавшись в стекло, упал в ладонь,
Как в золотой броне небесный конь.
Цветочная пыльца вошла туманом,
Я приложил её к сердечным ранам.

И зазвенят пчелиные луга,
На мостик встанет радуга-дуга.
Звенит кольцо серебряной калитки
Её открою я с одной попытки.

Увижу в белом маму и отца,
Стоящими у Божьего Крыльца.
Лиц не увижу, но услышу внятно:
– Зачем ты здесь? Иди к живым обратно!

Сомкнёт молитвой трещину земля.
И я очнусь и выпущу шмеля.
Лети любимец лиры и цветов.
Лети в луга – ты проживёшь без слов.

Пожары

Москва в дыму, страна в пожарах.
Сгорают русские леса...
Треск сучьев, словно треск гитары,
Когда разорвана душа.

Я в это время на машине
Катил неведомо куда.
А вдоль обочины – Россия
И люди водки и труда.

Меня встречали-проводжали,
Я ж мчал, вперяя взгляд вперёд.
А на душе копилась жалость
За брошенный в огонь народ.

Когда б скопилась в лёгких сила,
Я б тучу сдул с небес с дождём...
Чтоб вёдра набрала Россия
И потушила общий дом.

Валентина Сурнина

МНЕ НЕ ВЕРИЛОСЬ В НЕНАСТЬЕ

Чайки

Хранила в сердце я тепло
И доброту во взоре.
Я так вам верила давно,
Как чайки верят в море.

Я так кричала по ночам,
Когда с приливом моря
Хлестали брызги по очам
Слепой тоской и горем.

Злой ветер, волны беребя.
Посеял в сердце бурю...
Всё тише крик был у меня,
И взмах крыла – понурей.

И встречным ветром всё тепло
Я остудила вскоре...
Любила так давным-давно,
Как чайки любят море...

* * *

В понедельник в небе – счастье!
Ситец в синих листиках.
Мне не верилось в ненастье –
Вероломства мистику.

От полочки до аванса
Я считала пятницы.
И в настоях из романсов
Полоскала платице...

В мой любимый понедельник
Небо было голубым,
Голубыми – луг и ельник,
Сердце было молодым!

Грело солнышко мне плечи,
Блёкли листья повилик...
Я в другом бегу на встречу,
Век у ситца невелик.

Бабка Фёкла

Пьяный март глядится в стёкла
Целой улицей с утра.
Снежная зима поблёлка,
От капли шаль мокра.

Захмелев у первой лужи,
Отощавший воробей
Как пьянчужка, неуклюже,
Пить торопится скорей.

Будто та вода хмельная
Душу жжёт и кровь его.
И от счастья невменяем,
Он не видит ничего.

Засмеялись солнцем стёкла,
Выгнул спину старый кот.
Улыбнулась тётка Фёкла
У распахнутых ворот.

На базаре

Кто ты под крышей старенького рынка?
Ручонкой тянешь ягоды стакан.
Смородина да молоко из кринки...
И на протезе рядом ветеран.

Шил из кирзы с опушкой бабам тапки,
Скрипит и курит рядом в холодке.
Не мой он, а соседа Кольки папка,
Весной он ловит брёвна на реке.

А это – я! Стою под крышей рынка,
Сияю всем веснушчатым лицом
Да мух гоняю тоненькой былинкой,
«Барыш» считаю с Колькиным отцом.

Умишком я ущербность понимаю,
И мятый рубль сжимаю в кулаке...
Где мой отец, не помню и не знаю.
А с Колькой чебаков ловлю в реке.

Сжимаю деньги в кулаке в сторонке,
Сияю всем веснушчатым лицом.
Послевоенные тщедушные «дарёнки» –
Мы, дети, не выдавшие отцов.

Дарёнки – дети, рождённые после войны без отцов

* * *

Подножка не бывает кстати.
Предательство –
Всегда не в срок!
Но сил на них
Не надо тратить,
Жизнь выше этого, сынок!

* * *

В. К.

Отболели листья и упали,
На морозе жаром не горят.
Сердце заходиться перестало,
Только руки по ночам болят.

А когда-то, помню, я смеялась
Утру, солнцу, ласковой воде...
Этот миг пронзительный осталось
Сохранить, как память о тебе.

И когда одна на огороде
Наклонюсь с прополкою к земле,
Слышу голос моего Володи,
Будто он зовёт меня к себе...

●
Александр Шишкин родился 10 апреля 1947 года в Москве. В школе учился уже в Мурманске. Затем работал буровым мастером, недолго – в милиции. В 1966 году приехал в Томск-7 (г. Северск), устроился артистом хора в театр. Служил в армии – снова в Мурманске. Служба была недолгой, но интересной: пел в ансамбле Северного флота, работал на военном радио. В 1969 году вернулся в Томск-7 и снова в тот же хор театра, а затем перешёл в актёрский состав, в котором оставался до конца своих дней.

Стихи А. Шишкина прозрачны и пронзительно ясны. Об авторе трудно сказать лучше, чем он сам написал: «Жизнь коротка. Ты вспыхнул, как болид, ушел нелепо и до боли рано». Но жизнь поэта продолжается в его стихах.

Александр Шишкин

ВСЁ, ЧТО НУЖНО МНЕ, – ТОЧКА ОПОРЫ

* * *

Когда укроет снегом рощицы
 И вьюга песню запоёт,
 Спасёт меня от одиночества
 Воображение моё.

Воображенье раскошелится,
 Как бескорыстный кредитор,
 И предо мною даль расстелется,
 И я шагну в иной простор,

Где хорошо и вольно дышится,
 Где не прибьёт никто тебя...
 Лишь в снах тот мир иной отыщется,
 Воображенье теребя.

Позанесло снегами рощицы,
 Собаки воют под луной...
 Мне покидать мой мир не хочется –
 Ведь этот мир придуман мной.

Жила деревня Белобородово

Как можно землю свою уродовать?
 Тому оправданья пред Богом нет!
 Жила деревня Белобородово,
 Которой было за триста лет.

Кому мешала она, родимая?
 Какой в деревеньке той был изьян?
 Была для жителей неповторимою –
 Теперь на месте её бурьян.

Бурьян тот косят, сажают веточки,
И год от года там ждут чудес.
Но чуда нет. Лишь собачьи «меточки»
Да из бурьяна могучий лес...

Как можно землю свою уродовать?
Тому оправдания пред Богом нет!
Жила деревня Белобородово,
Которой было за триста лет.

* * *

Нас только двое: я и ночь.
И вижу я в своей тетрадке
Несуществующую дочь
В несуществующей кровати.

И руки маленькой жены
Легли тихонько мне на плечи...
Они теплы, они нужны,
Мне с ними радостней и легче...

Часы за стенкой тихо бьют –
Бим-бам, бим-бам, бим-бам – четыре...
Несуществующий уют
В несуществующей квартире.

* * *

Во дворах играющие дети.
День как день – обыденно простой.
Но октябрь асфальт растрарафетил
Жёлтою опавшею листвою.

В лужицах, похожих на оконца,
По утрам затянутых «стеклом»,
Пламенеют маленькие солнца,
Дереву отдавшие тепло....

* * *

Спустилась ночь. У горизонта низко
Стриг кроны леса острый серп луны.
Я оказался возле обелиска
Солдату, не пришедшему с войны.

Я подошёл, встал рядом, близко-близко...
Горячий камень за день напекло...
И понял я: поверхность обелиска
Струит своё, далёкое тепло.

Был обелиск чуть-чуть шероховатым,
И я на миг почувствовал рукой
Тепло щеки небритого солдата,
В бессмертии обретшего покой.

Точка опоры

Дайте! Дайте мне точку опоры!
Только точку. Не нужен рычаг.
Я не стану сворачивать горы,
Разложу возле точки очаг.

Пусть Вселенная будет на месте –
Я не стану разваливать мир.
Я не сволочь, не трус и не бестия,
И претит мне словечко «кумир»...

Не нужна мне дешёвая слава.
Просто жить надоело в бегах,
И имею я полное право
Жить, как речка. В своих берегах.

Дайте точку опоры! Скорее!
Жизнь и так коротка, словно миг.
Мой очаг всех озябших согреет,
Я откликнусь на зов и на крик...

Надоели извечные споры,
Надоел перед будущим страх...
Всё, что нужно мне, – точка опоры,
Чтобы твёрдо стоять на ногах.

Но я не жду...

Летят бездумно прожитые дни...
Ты без царя, без чёрта и без Бога...
А впереди – миражные огни
И в никуда бегущая дорога.

А позади – надгробия друзей,
А позади – родительские ласки...
Страна – анатомический музей,
Где вместо лиц – смеющиеся маски.

От эйфории голову саднит,
А я не жду летального итога...
Меня влекут зовущие огни
И в никуда летящая дорога.

* * *

Я не носил фуражку со звездой,
И не был перетянут португеей,
И с глазу на глаз не был я с бедой,
С бедою той, что всех страшней и злее.
Я слышал канонаду лишь в кино,
В атаку шёл, отца рассказы слыша,
И напряжённой, взмокнувшей спиной
Не ощущал, что небо смертью дышит.

Я не был там, где ради жизни – смерть,
Где познаётся кровью вкус Победы,
Где строй людей – карающая твердь,
Которой не страшны любые беды.
Где человек сражался и любил,
Назло снаряду, бомбе, пуле, мине –
Я не был там.
И всё же я там был
С моим отцом, мечтающем о сыне.

●
 В № 1 «Начала века» за 2012 год читатели познакомились с творчеством Светланы Николаевны Акентьевой. Биографическая справка в разделе «Наши авторы» была лаконичной: «Уроженка Украины, приехала в Томск, поступила на юрфак ТГУ, окончив его, осталась здесь работать. Живёт в Северске...» Отмечался также и тот факт, что эта поэтическая подборка – её первая журнальная публикация.

Но, как потом оказалось, она осталась единственной: в конце апреля Светлана скончалась в возрасте 44 лет вследствие онкологического заболевания. Мы даже не знаем, успела ли она хотя бы подержать в руках журнал с собственными стихами, но несколько номеров издания мы передавали для родных и близких, живущих в закрытом городе, для её мамы Тамары Мефодьевны, после похорон вернувшейся на Украину, на память детям...

В подборку вошли не все из предложенных для печати стихов, часть их осталась в нашем редакционном портфеле. Их мы и публикуем сегодня.

Светлана Акентьева

Я УЛЫБНУСЬ ТЕБЕ СКВОЗЬ ГОДЫ

* * *

Я не желаю стать ни чьей.
 За суетою долгих дней,
 За пеленою прошлых лет
 Я отыскала яркий свет
 И, по своей пройдя судьбе,
 Нашла тот долгий путь к себе,
 Ту очень тоненькую нить,
 Которой вновь соединить
 Смогла я сердце и любовь,
 Забыв обид тупую боль.

Тепло от этого огня
 С собою увело меня
 В мир, где уставшая душа
 Смогла согреться не спеша,
 Смогла услышать звон ветров,
 Крик тишины, молчанье слов,
 Где потерялся бег часов,
 Где все на грани дней и снов,
 В мир, где сбываются мечты,
 Где то ли лики, то ль черты
 Видны сквозь неба синеву,
 Я там дышу... Я тем живу...
 Я не желаю стать ни чьей
 За суетою долгих дней –
 Чтоб, ворох чувств вновь теребя,
 Терять себя... Искать себя...

Просто так...
Стремясь к своей заветной цели,
Не замечая, что вокруг,
Своё мы сердце открываем
Для снегопадов и для вьюг.

И запуская холод в душу,
Мы ждём свершения чудес...
Не от себя – конечно, как же?! –
От вечно должных нам небес.

И защежит тоскливо сердце,
Ну не того же мы хотели!..
Не может места быть для счастья,
В тех душах, где метут метели.

Улыбка лета

Приходит лето, песни птиц,
Роса на травах и закаты...
Дни перевёрнутых страниц,
Уже прочитанных когда-то.

Так непонятно и светло,
И на душе улыбка лета,
А за окошком рассвело –
Смотрю рождение рассвета.

И глубина игры ветров...
И радуг светлых переливы...
И нет для нас других миров –
Лишь в этом мире мы счастливы.

* * *

Привет, привет! Промчалось лето.
Ты далеко, за днями где-то,
И до тебя, как до рассвета,
Не дотянуться, не дойти.

Смотри, уж осень на пороге!
И как красиво у дороги
Рябины клонятся в тревоге,
Что к нам зима уже в пути.

Я улыбнусь тебе сквозь годы,
Сквозь все ветра и непогоды,
Нет в жизни для меня невзгоды:
Свети, звезда моя, свети!

С собою звать тебя не стану,
Но помнить всё ж не перестану,
Рассвета луч с небес достану,
Чтобы светлей было идти...

Ну вот и всё. Терзаний нету...
В душе – лишь тёплый отблеск лета.
Мне хватит знать, что есть ты где-то:
Лети, мечта моя, лети...

* * *

Осень золотая
Без конца и края,
Дни не так уж длинны...
Как горят рябины!
Жёлтые берёзы
Да дождинок слёзы,
Листопада танец
И осин багрянец...

Красота над миром!
Жаль, что всё так мигом
Пробежит, промчится...
Осень прослезится,
Слёзы те застынут,
Небеса покинут,
И – неспешным бегом –
Лягут первым снегом...

Рождение зимы

Ярко-белая зима,
Серебром снежинки...
Знаю, видела сама:
Замело тропинки,
Позасыпало поля
Покрывалом снежным,
Отдыхает, спит земля...
Словно пухом нежным
Посыпают небеса
Зарево заката!
Несказанная краса
В бликах-перекатах...
Зазвенела тишина
От касаний льдинок,
Закружилась пелена
Из резных снежинок...
В льдинках радуга сама
Утром отражалась –
Это белая зима,
Как заря, рождалась!

Елена Клименко

Прощайте, док!

После завтрака и процедур грузная пациентка Маша, успешно вырвавшаяся из сезонного обострения, уютно завернулась в одеяло и достала из-под тощей подушки мятую газетку с кроссвордом.

– Ну-ка, проверим сохранные остатки интеллекта... По вертикали... Десять букв...

Наморщив лоб, Маша некоторое время размышляла над отгадываемым словом. Ничего не придумав, решила посоветоваться с подругами по несчастью: «Ты знаешь, что это? А ты? И ты не знаешь?» Ничуть не огорчившись, подытожила: «И я не знаю». И перешла к следующему слову. Вот какие чудеса творит терапия! Ещё бы эти лекарства не садили печень, почки, сердце... Зато покой. Совиное общество осоловелых.

У каждой обитательницы палаты своя история болезни, своё аффективное состояние. Вот, например, бледнолицая худенькая Анхен пыталась отравиться, узнав, что после неудачной операции у нее никогда не будет детей. Простая российско-немецкая девушка морально готовилась к уходу мужа, поскольку кроме кюхе и киндер ничего не могла ему предложить.

Мне официально поставили диагноз «невротическое развитие личности». «Семечки» по сравнению с остальными. Будь поласковой окружающая среда, я бы сюда не попала. Как выразился лечащий врач, если бы рядом со мной оказался хоть кто-то, кто выслушал и поддержал. Как будто тридцать лет и три года провела в дремучем лесу или в камере-одиночке. Если бы ещё не дурная наследственность, мою нервную систему не расшатало бы как старый диван. И я не рыдала бы сутки напролёт после очередного жизненного краха под осуждающее молчание родных...

В законном больничном сумраке замаячило недавнее злобное прошлое. Долгожданная безумная любовь оказалась действительно безумной. Богемное безделье и безденежье, пьянки-гулянки, «колёса», белая горячка, паранойя... Пропадая где-то ночами, под утро Он приводил каких-то девиц, знакомил со мной. Я, пребывавшая годами в зависимости от ситуации в статусе то неофициальной жены, то подруги, любезно предлагала гостям кофе. Его это заводило. В молодости модно быть безумным, а девушкам – демонстрировать широту взглядов. Тем более что у моего идеального милого были проблемы похлеще сексуальной неразборчивости. Например, ему всюду мерещились враги. Напившись, Он рвался прочь из дому. И то и дело его, избитого и ограбленного, надо было забирать из больницы или милиции, успокаивать, утешать... А в трезвом виде Он был мил и заботлив, встречал меня готовым ужином: «Ты, наверное, устала, кушать хочешь?» Этакий зайка-домохозяйка.

Поначалу думала, что смогу вылечить Его силой своей любви. Мне уже хотелось полноценной семьи, детей. Увы-увы! Иллюзии под напором реальности рушились. Да и раскатанное из мамино обручальное кольцо Ему не подошло. «Штирлиц насторожился». А когда однажды ночью Он меня не узнал и выгнал из дому, я поняла, что Его не спасти. Спасти бы себя и свой рассудок. Ушла, бросив вещи, книги, кошку, привязанную Им в воспитательных целях к батарее. Так привыкла заботиться о Нём, что долго после расставания не могла без слёз видеть мужскую одежду...

Не ожидавший такого поворота события бывший «милок» преследовал меня во сне и наяву. Звонил, орал по ночам под дверями, вызывая гнев моих соседей по

коммуналке, подкарауливал на улице, корчил рожи, нёс какой-то бред. Не помогли ни уговоры оставить меня в покое, ни рукоприкладство. И я уже не видела выхода из этого тупика, кроме смерти: Его, своей, обоих...

Сбежав от психопата, надеялась, что, как пишут в женских журналах, за углом меня ждёт другой, нормальный. Кажется, Джо Дассен встретил будущую жену в аэропорту, где та рыдала в депрессняке. Но, видимо, только иностранцы способны на такое сострадание. Мир обезлюдел. Никто не торопился мне на помощь. «Помоги себе сам, и Бог тебе поможет». Все были погружены в свои заботы. Подруги вздыхали: «Мы ж тебе говорили... Да и вообще он был такой страшный! Забудь». Он же и сам в вечер знакомства честно заявил: «Я – не то, что тебе нужно». А как же идеальный секс? Общие, творческие интересы? Понимание с полуслова? ...

Пока я «мылила верёвку», наступила осень. Местная психбольница объявила день открытых дверей, и солидный усатый психиатр со смешной фамилией Тапочкин, едва взглянув на меня, предложил пройти курс лечения в щадящем отделении пресловутого «Соснового бора». Страх перед дальнейшими душевными муками пере-сил страх перед психиатрией. И однажды утром я появилась с вещами и сухарями в приёмном покое заведения, порядками напоминавшего тюрьму: добровольно-принудительная сдача вещей, лязг дверей, «сесть-встать-проходите» под подозрительным взглядом дежурного...

– А это ваш лечащий врач...

Встретить в «застенках» такого красавчика я никак не ожидала. Молодой сероглазый шатен с румянцем во всю щёку старался выглядеть серьёзным. Только глаза не могли скрыть его щенячьей жизненной радости. Мысли о смерти рядом с ним казались неуместными. Оставалось только закрепить результат.

В отделении работало много молодых симпатичных врачей, но мой был, конечно, краше всех. Однопалатницы завидовали, ревновали: «А твой-то заходил, спрашивал». И я зажила от одного обхода до другого.

Через пару недель усиленного лечения моя израненная душа перестала метаться, сердце застучало ровно. Наступила покойная ватная тишина. Уколоться и уснуть...

А ещё я узнала, что в обмороке кромешная тьма, никаких светлых тоннелей. Пожаловалась врачу: «Я сегодня пошла в туалет и потеряла сознание». – «Да, мне сказали. Давление падает. Не надо резко вставать после капельницы. Я сегодня по слежу за Вами». Покусывая пухлые губы, Красавчик близоручко склонился над моей историей болезни: «И давайте снизим дозировку... Спрашиваете, в чём смысл нашего лечения? Человек идёт вешаться. А мы его р-р-раз мешком по голове! Здоровья это не прибавляет, но удерживает на какое-то время от непоправимых поступков».

Когда медсестра «запустила» мою капельницу, врач присел рядом со мной на кровать и обхватил моё запястье тонкими пальцами, следя за пульсом. Ангел-ангел. Но не в белом халате, а в тёмно-синем костюме.

Как бы я ни хотела продлить эти сладостные мгновенья, всё-таки уснула. А когда очнулась, в палате уже никого не было. Видимо, медсестра повернула меня набок, прижав «прокапанную» руку к телу. Мышь под кроватью скромно хрустела специально брошенным туда сухарём. Дерево за окном палаты, измочаленное непогодой, корячилось засохшей молнией. Чёрное на белом. Графично. Уже хотелось рисовать. А слёз не было. Совсем. Кончились.

Осень меняла наряды, вступая в самую грязную и противную пору мрачного межсезонья, а нам в открытом, плацкартном жилье, с круглосуточным светом в

коридоре и незапертыми дверьми, под присмотром персонала было тепло и спокойно. На свободу не тянуло. Жизнь по режиму казалась единственно правильной и блаженной.

За обедом я за обе щеки уплетала несладкую, несолёную кашу. Пожилые соседки по столу, поражённые моим аппетитом, тоже нехотя начинали ковыряться в своих тарелках, недоверчиво интересуясь: «Разве вкусно?» – «Очень!»

После «сиесты» бежала на физкультуру в соседний корпус, бросив на бегу дежурному: «У меня уже свободный режим!» Мне нравился мой яркий наряд: фиолетовая футболка и оранжевые штаны. Живопись! Эйфория. Хотя время от времени в мутном сознании всплывали вопросы: «Как же я буду жить без врачей? Без послеобеденного сна? Без лекарств? Кто спросит меня всерьёз о самочувствии?» Родственникам даже в голову не пришло навестить меня. Безумие заразительно? Так я уже здорова. Верные подруги, правда, приезжали несколько раз. Привозили, отрывая от семьи, сладкое: шоколадки, йогурт, яблоки «симеринки». Маленькие, душистые, неровные, веснушчатые. Неправильные, как я... *(яблоки-«семеренки» - от фамилии учёного-селекционера)*

Теперь подруги опасались, что я втрескаюсь во врача и из одной безнадёги впаду в другую. Как человек, относительно здоровый, я понимала бесперспективность отношений между врачом и пациенткой. Но один вид Красавчика меня радовал и вдохновлял. *Если б не был так юн, не пришёл бы июнь...*

Меня переполняла благодарность. И в яблочко-конфетный новогодний подарок доктору я вложила игрушечного, на мой взгляд, очень оптимистичного асимметричного зелёного зайца, сжимавшего в лапах тряпичную оранжевую морковку. *Год несётся к концу, только снег по лицу. И халат мой, пропахший больницей, на ветру польхает жар-птицей...*

В канун праздника два часа пробивалась к доктору сквозь пургу. Никто никогда меня столько не ждал. А «мой зайка» смиренно сидел на столе в ординаторской и болтал ногами. Запахавшись, я вбежала в корпус: «Извините. Это вам». Смутившись на мгновение, врач спрыгнул со стола, взял мой скромный презент: «Спасибо. Дома погляжу. Ну как ваши дела?» – «Я уже могу говорить «Доброе утро!». А самое главное чувствовать его таким!»

Сбросив, наконец, маску серьёзности, улыбнулся во все ямочки на щеках: «Ну и отлично!» Но за руку не взял. И это было тоже признаком моего выздоровления. Таковы правила – соблюдать дистанцию, не привязывать пациентов к себе. Я понимала это. Мне было грустно. Заноза в сердце оставалась, но это была сладкая заноза, дающая надежду.

Сквозь зарешеченные окна больницы на нас с интересом смотрела белка. Приподнявшись на задних лапках, обхватив передними сосновую шишку, она словно говорила мне: «Давай зимовать дома, каждый в своём дупле». А снег за окном всё валил и валил, словно из распотрошённой перины, умножая покой. Я встала первой, прервав затянувшуюся паузу, вздохнула: «Прощайте, док!» – «До свиданья».

С порога больничного корпуса я оглянулась на выцветших старушек, шуршащих передачами, одутловатых полуобморочных тёток... Промытое снегом сознание изменило фокус моего зрения и, хотя дома меня ждал ворох нерешённых проблем, на душе было светло и празднично. «Ещё поживу!» – радостно подумала я и решительно шагнула из душного больничного зазеркалья в счастливое снежное одиночество.

Юрий Татаренко**СЛОВА ТОЛКУЮТСЯ ВПРЯМУЮ****Русская зима**

Вдали от творческих открытий
 Врастает повседневность в праздность,
 И жизнь в отсутствие событий
 Уже не кажется напрасной.

Вершины съёжились в вершинки
 И с этим свыклись мал-помалу...
 А буквы – чёрные снежинки –
 Летят на белую бумагу.

Февраль погас. В глазах стемнело.
 И плакать хочется безумно.
 В окне у Казимира – небо
 Необоснованно безлунно.

Затянем пояса и песни.
 Слова толкуются впрямую.
«Мороз и солнце, день чудесный...»
 Ну, ничего, перерифмуем.

* * *

Где ты, поле Куликово?
 Где ты, Русская земля?
 Тихо. Ничего святого.
 Только эхо:
 «Во...» и «ля...».

22 апреля

Через речку не пройти – сплошь промоины.
 Нам не страшно на мосту. Мы помолвлены.

Носят площадь и проспект имя Ленина.
 Город жаждет – раз в году – обновления.

Что ни двор – стоят кружком трудоголики.
 Лом, лопата и метла – треугольники.

Вдоль домов – осколки льда. Эх, тимуровцы!
 Всю весну росли у крыш зубы мудрости.

Полдень. Холодно ногам в мокрых ботиках.
 Проституточки – и те на субботнике.

На диване бригадир, в печень раненный.
 Телевизионный люк не задраенный.

У подъезда старый дед, бабка с палочкой.
Величают нас с тобой сладкой парочкой.

Уложился в голове график месячных.
«Что случилось? Не звонишь...» – эсэмэсочка.

Настроение и так не особо, но
Не вчера картина та нарисована,

Где закат рассветом стать не пытается...
Всё, что было до тебя, – всё считается.

Весеннее настроение

Восьмое марта, день цветочный!
Тюльпаны розового цвета
И розы белые повсюду...
Иду по улице счастливый:
В руках зелёно-жёлтый праздник!
Вопросы сыплются вдогонку:
«Мужчина, где мимозу брали?..
Мужчина, а почём мимоза?..
Я отвечаю всем с улыбкой:
«Не знаю я – мне подарили!»

Наука потребления

Что в книге видим? «Многа букаф», ноль идей,
Литература – лишь домашнее задание...
Чужая жизнь не соотносится с твоей,
А это значит – Джек Онегин, до свиданья!

Поскольку чтение не творчество, а труд,
А Интернет – подмена жизни, развлечение, –
Всё, кулинар, давай осваивай фаст-фуд
И спор о вкусах не своди к нравоученьям...

Отчаяние

Мы венчались. Мы – венчались!
Мы промчались по любви...
Паутинка, истончаясь,
Шепчет пальцам: «Разорви!»

Я в лесу не потерялся,
Я в лесу теряю стыд.
К статным соснам в рыжих рясах
Жмутся грешники-кусты.

Я был гордым, я был глупым...
Рукавом смахну слезу.
До крови кусаю губы.
Не медведь – реветь в лесу!

Где ты, с кем ты – я не знаю:
Мы давно с тобою врозь.
Больно. Тишина лесная
Прокукушена насквозь.

Ожидание

Узоры тиканья часов
Измяты бранью нецензурной,
И, словно мыши без хвостов,
Уродливо миниатюрны,
Слова шныряют по углам,
И маты некому запикать,
И вот уже я пьяный в хлам,
И скажет теща: «Ляг поспи-ка...»

Юбиляру

Сорок лет – ты отнюдь не старик,
Просто юность свою подытожил –
И чужим стал тебе в один миг
Комитет по делам молодёжи...

* * *

На многое
Бог закрывает глаза
Библией.

Попытка рецензии

В стихах не вижу мастерства,
В них сколько хочешь секса, водки,
Открытий в духе «дважды два»
И ямочек на подбородке...

В стихах отчетливо видны
То ревность, то мороз недельный,
Желанье сдернуть из страны,
Самоповторы колыбельной...

Но где отточенность стиха,
Чтоб ни убавить, ни прибавить?
За недоделкой чепуха
Пристраиваются к забаве.

Не откупают ресторан,
Чтоб пить весь вечер пепси-колу!
Не спит в поэтах детвора...
Вот так и пишем – по приколу.

Ольга Кортусова

ВТОРОЕ ЦВЕТЕНЬЕ

* * *

И новый день, как злой недуг,
кусает, *колет, рубит, режет*
и вводит мысль в порочный круг,
где свет весёлый еле брезжит.

Ладонью чёрною тоска,
тебя укроет с головою,
и не вздохнуть, и смерть близка,
и ты себе могилу роешь,

себя оплакивая. Стыд
заявится незваным гостем,
а ты себя скорей прости
и собери в единство кости.

Возрадуйся, пока жива
обетованному простору
земли – желтеет ли трава,
летит ли снег, иль ветер вором

в рукав залез... Благодарю
сейчас, когда не веришь в Бога,
хотя бы мать. Пример бери
с пичуг, снующих у порога,

души нарушенный уют
поправь и прибери – поломан
тобой. И в сердце воспоют
святые Ангелы бессловно.

* * *

Его собачка лает на меня,
Как будто бьёт жестоким мелким градом.
Он кланяется, скромно извинясь,
смущённо кашляет с улыбочкой – он рад мне.

Привычны эти встречи во дворе.
Когда все спят, и зябкий холод ранний
совсем не по-осеннему свиреп,
он, ёжась, спрашивает:
– Правда, зимно, пани?

Его жена так смотрит иногда!
Смешно! Меня с ним связывает ветер.
И иногда Луна или звезда.
Мы не прощаемся, встречаясь на рассвете.

* * *

Применяясь к желаньям осенним,
умиляясь прозрачной погоде,
умиряю обиды прощеньем,
улыбаюсь себе мимоходом,
отразившись в окне магазина,
и в воде, застоявшейся в чаше
полукруглой фонтана. Осина
при безветрии веткою машет.
День сегодня святой: Михаила
именины – отца день рожденья.
Георгины роса окропила,
стаи птиц в поднебесном круженье...
И листва чешуёю русалки
серебрится в вершинах, трепещет.
И так остро, так счастливо жалко
дней хороших, сентябрьских, прошедших.

* * *

Вслушиваясь в запахи медовых
цветиков на клумбе меж травы,
повторить пытаюсь запах словом.
Слово не находится. Увы!

Мне язык цветов без слов понятен –
от него хмелеет голова,
тонкий аромат медово-мятный
хочется не пить, а целовать.

Как, скажи, последний запах лета
передать письмом? Прими без слов
след от песенки, которая допета,
а мотивчик у неё не нов.

* * *

Но как успеть и яд собрать, и мёд?
Короткое промчится бабье лето –
и не заметишь. Дни наперечёт,
когда с небес осенних солнце светит.
Я сверстниц угадаю по глазам,
по хрупкой и прозрачной их надежде,
по добрым и весёлым голосам –
таким как прежде.

Да, таким как прежде!
Не торопитесь зиму зимовать
в снегах седин суровых.
В том ли радость?
Цветы цветут – и яд и мёд собрать!
И мёд, и яд – за красоту награда.

* * *

Мой полон дом наследными вещами,
а раньше были комнаты пусты.
Наследую – картины и холсты,
посуду (блюдца, блюда, чашки), камни,
пальто и кольца; грусть, мечты весны,
томленья осени (на что они годны?!),
непрожитой любви, невыстраданной, ранней
боль тонкую, девичий острый стыд,
и долгое ночное ожиданье,
и то, чем каждый в тайне дорожит,
что вслух нельзя: прощанья и свиданья,
и время жизни тех, кто не дожил,
кто близок мне, пустое прозябанье,
дочерний долг... И кто б меня лишил
наследства этого? И эха дарований,
волшебных и прозрачных лётных сил.

* * *

Второе цветенье – плоды и бутоны.
И ливни, и грома протяжные стоны.
И время пустилось бежать
зелёным напевом – наверное, брезжит
ему радость вешняя в облачной реди.
И нежно томится душа,
и тешится сладко, по-девичьи, словом
приятным, и эхом желанного зова,
чуть слышного, увлечена –
ей давняя мнится весна.
Не с ней ли шиповник – плоды и бутоны,
и розы, зацветшие в сумраке сонном, –
о радости вешней узнал?

* * *

Татьяне

Пропащая. Поёт – гитара плачется
в ещё девичьи маленьких руках,
впритирочку коротенькое платьишко,
ботиночки на узких каблуках.
Беспутная. Свиданья-расставания,
ни мужа, ни кола и ни двора,

любовь-морковь, да чувствоизлияния,
всё в прах – она умеет прогорать.
Её пожар – ночные искры по ветру.
Гляди – горишь! И как она поёт!..
Гулящая, ну ни стыда, ни совести.
Беспутную, храни, Господь, её.

* * *

Случайный взгляд – всё небо в лепестках
шиповника. И удержаться трудно
от восклицания невольного, от: «Ах,
спасибо, Утро!»
За вдруг прыжка, мгновенный чувства взлёт
под парусом волшебного дыханья,
за то, что свежими наполнен рот
стихами.

* * *

Птичье гнёздышко, мягчайшую постельку,
насланную пухом облаков,
дом открытый в небо – для веселья
дал прощаясь и махнул рукой.

В гнёздышке устрою новоселье
для немого чувства своего,
невесомой ласковой постельке
вверю сокровенное родство.

Хакасия, 2013

1.

Девочка, поймавшая дракона –
ящерку с зелёными глазами,
чти степи негласные законы –
облако грозит сорваться камнем.
Отпусти хвостатую на волю!
...Юркнула и скрылась без оглядки
меж сухих стеблей в цветущем поле,
ковыля едва качнулись прядки.
Под горячим камнем обомшелым
ящерка застынет, охраняя
тайный ход в бездонную пещеру,
ту, где время проросло корнями.
И тебе короткий плен простится
стража верного иль маленького бога.
Облако взлетает белой птицей
к солнцу алому, сжигающему оку.

2.

Небо спрашивает у гор:
Доколь?
Небо вскипает, небо клубится.
Бог степи, охраняя покой,
обращается птицей.
И белые крылья, даль охватив,
тают облачной пеной.
Тени, тревожно поджав хвосты,
бегут по земле вселенной.
И, точно кто-то в меня влюблён,
сердце моё сияет –
а это небесный зеркальный лёд,
играя, меня отражает.
Я в облаках узнаю себя,
чувства свои смешные –
вон крокодилы в трубы трубят,
кошки сидят расписные.
А ночью вокруг рыжей кавычки-Луны
снов голубые павлины.
Шепчешь невольно:
– Господь, сохрани!
А мысль ползёт пилигримом
к вершинам гор, где живут облака, –
к синим волшебным глыбам.
В тёмном углу суеченье жука
вызывает улыбку.

3.

Небо творило чудовищ из белого пуха
небо шутило над нами,
от смеха искрилось.
Тихо зудит комарик у правого уха,
как по гончарному кругу идёт –
Божья милость, на всё Божья милость.
Небо играет, творит облака и пускает
вплывь по живой синеве осиянной – причуды
мысли, что тают, меняясь по форме,
и форму теряют,
с края до края небесного лона кочуют.
Небо не мой собеседник –
Великое Небо! –
Мне не советчик, не друг,
не далёкий родитель,
небо – дыханье, творение древнего Бога,
Освободитель.

4.

Хранить родную речь (сиречь – стеречь)
поручено горам.
И облака, как камни,
взлетают и парят грозя –
пусты уста у недругов степи –
нет слов для нареканий.

– Старуха, – скажет мне дочь младшая, – на что
нам все твои слова?
Ответь, ты – виновата!
– О, долгих дней моих не пусто решето,
я множу рода речь, всем слов счастливых хватит.

Здесь солнце жжёт лицо, и ветер сушит душу.
Здесь небо я зову – всем и вовеки сушим.

Степей текуча речь
и непереводима,
горам её стеречь
дано, она хранима.

* * *

Запах чёрной смородины –
в котелке закопчённом
чай вскипающий – родины
чувство парусом к чёрным
небесам в звёздах иглистых,
к небесам августейшим.
Сосны выдохнуть сиятся
душу – душу мне тешат.
Вдруг приблизится бывшее,
на волне подымаясь,
и всё шепчешь – не вышепчешь
то, что сердце сжимает...
И бежит время местное –
семенящее, пресное –
в то, ещё непрожитое
мною, пока неизвестное.
Но! окошком распахнутым
чайный запах смородины –
проступило распятием
слово запаха – родина.

* * *

Кто в цвет идёт, кто вянет, кто растёт,
упорно пробивается сквозь камень,
а кто весь день свистит в пустой свисток –
всё занят.

Изнанкой ночи – бледнолицый день,
огромен жаром.
В нём слабая листвы горячей тень –
подарок.

Ночь – крепдешинном чёрным...
Все перста
у веток в маках,
ах, соловьи, поющие в кустах,
заставят плакать:

их песни распускаются в цветы –
внезапны, нежны,
их хочется увидеть, ощутить.
Да где ж мне...

* * *

Праптицею, прабабушкою, пра-
праголосом всех здешних певчих птиц –
иду брусничником – немыслимо стара –
сомножество порханий, песен, лиц.
Ласкается котом пушистый дым,
к босым ногам, а лиственная гладь
льнёт молодо, и требует узды
весёлый ветер, но бела зола
костра погасшего.
Пусть в тёмной глубине
неведомое вспомнит обо мне,
то, что ещё на свет не рождено,
цепи единой новое звено,
что будет плакать, петь или звенеть,
переливаться медно, иль синеть,
а может прыгать, плавать и летать –
кто может знать?
Никто не может знать!
Но нет его прекрасней и родней.
Эй, будущее, вспомни обо мне!

Михаил Усков

Одуванчики

Солнценыта, солнценыта!
Это вовсе не ребята,
Не телята, не котята –
Это солнышка внучата.
На полянке там и тут
Одуванчики цветут.
Одуванчики, одуванчики,
Любят девочки и мальчики.
Рвут они цветы в охапку
И венки плетут как шапку.
Солнценыта, солнценыта!
Это солнышка внучата.
Любит солнышко внучат,
Любит солнышко ребят.

Жучок

На плите клокочет чайник,
Как рассерженный начальник.
Я собрался выпить чаю,
Примостившись в уголок.
И случайно замечаю,
По столу ползёт жучок,
Словно пьяный мужичок.
Он обходит моё блюдо,
Чтоб на нём не спотыкнуться.
Говорю ему: «Жучок,
Приглашаю на чаёк,
На варенье или мёд,
Если пчёлка принесёт!»
Шевельнул жучок усами:
«Чай вы пейте лучше сами.
Мёд, конечно, я люблю,
За него благодарю.
Если пчёлка принесёт,
Отнесу я деткам мёд».
Так ответил мне жучок,
И уполз под рушничок.

Прогулка

Мы с Арсением гуляем,
А куда идём, не знаем.
Просто так идём-бредём
И чего-нибудь найдём.

Сядем, вместе посидим,
И чего-нибудь съедим.
У дорожки дальний путь,
Приведёт куда-нибудь.

Муравьи

По дорожке муравьи
Двигутся проворно,
Они строят из хвои
Дом себе просторный.

Вот уже заметен холм,
Комнаты – ячейки,
Скоро будет прочный дом
Для большой семейки.

Муха

Прилетела муха,
Почесала ухо,
Погладила живот,
Взлетела,
Словно вертолёт.

Андрей Почивалов

БЕГА

Солнце выглянуло из-за коробки панельных домов и покосилось на спящего Дергача, упрекая за долгий сон. Где-то вдалеке загромыхал трамвай и через несколько минут проехал мимо пустыря, названного местной ребятней «металлик», потому как являлся скопищем различного рода механизмов, пришедших в негодность.

Дергач открыл глаза и потянулся. Грязная рука упала на спящего рядом Досика, тот что-то пробурчал и отвернулся.

В бочке прохладно. Зябко. На дворе хотя и май, но от земли тянет сыростью и холодом ушедшей зимы. Лужицы укрыты блестящей корочкой, а на жестяных крышах автоангаров, принадлежавших ДРСУ, лежит иней.

Мальчик взглянул на небо. В минуты уединения, которые бывали не часто, он подолгу смотрел ввысь, наблюдая за гонимыми ветром караванами белых барашков. Так он мог проводить длительные часы, сидя на какой-нибудь крыше одного из близлежащих домов, вспоминая лучшие минуты жизни. Иногда в голову приходили мрачные мысли: о смерти его любимых бабушки и дедушки. Он не представлял себе жизни без этих стариков. Дед и баба были всегда строги с ним, но ничто на свете не заменит ему этой строгости. Тогда Дергач тихо, беззвучно плакал. К горлу подкатывал комок, а по щекам сбегали два солоноватых ручейка, за которые, считал Дергач, стыдиться не стоит.

Чистейшая голубизна. Витает всего одно облачко. Большой комок медицинской ваты. Тут он вспомнил, что сравнение пришло не зря. Вчера вечером, убегая от сторожа, он сорвался с гаража и вместе с брюками порвал кожу на бедре. Пошарив под краденой дорожкой, периной минувшей ночи, Дергач вытащил горсть разносортных окурков и, выбрав самый большой, принялся его разглядывать.

– «Опал», – улыбнулся он, – чтоб отпал.

Чиркнув спичкой об уцелевшую штанину, мальчик прикурил и, смакуя, стал затягиваться.

– Саша, иди кушать, – крикнула женщина с балкона на пятом этаже.

– Не хоч, мам! – последовал ответ из глубины двора.

– Лучше бы меня позвала, – приглушила бочка не по-детски прокуренный голос.

– Ты чё, Костян, проснулся?

– Да я уже два часа не сплю, – недовольно проворчал Дося. – Как ты мне грабками по роже заехал, так я и не сплю.

Дергач улыбнулся. Очень уж по душе приходился ему Костя. Он восхищался им, гордился дружбой, считал его слова авторитетными, хотя Досик на два года младше. Если даже и злился Дергач на друга, то лишь из боязни потерять его. Говорят, что друг познается в беде, но вся их жизнь сплошное несчастье.

– Жрать охота, – продолжил Досик.

Вчерашний день не принес никаких изменений. Кроме трех рублей, выигранных в домино у мужиков, средств больше не было. Прошлым вечером они купили две бутылки молока и булку хлеба. Итого, в бюджете оставалось два рубля с копейками. Еще, правда, они взломали частный погреб, но неудачно – кроме картофеля там ничего не хранилось, да еще сторожу чуть не попались.

Следы печеной картошки до сих пор на их лицах. В таких случаях мать Дергача обычно вопрошала: «Ты что, свинью сосал?»

– Сегодня поедem к Чингисхану, – заявил Досик, – с ним не пропадёшь.

– Кто это такой?

– Король лесопилки, – засмеялся Костя.

Нотка детской ревности зазвучала у Дергача в душе. Третий спутник – лишние противоречия.

– А пока пойдем в столовку.

Забросав ветками клёна жилище, они перепрыгнули забор и вразвалочку, руки в брюки, направились к желанной цели. Два буреветника самых низких трущоб вышагивали по тротуару, поплёвывая сквозь зубы и швыряя немывтыми носами.

– Чё брать будем? – оглянулся Костя, протягивая руку за плохо вымытым подносом.

– Супешник, картофан с коклетой, салат, булочку и компот, – перечислил Дергач.

– Я чай возьму, – подмигнул Досик, – здесь он всегда сладкий.

Они уткнулись в окошко кассы. Толстая женщина быстро стучала по клавишам кассового аппарата. Внутри что-то защёлкало и загремело, цифровой индикатор воспроизвел сумму.

– Три копейки не хватает, – посмотрел Дергач на Досика.

– Пересчитай еще раз, – потребовал Костя.

Со стороны зашипел мужчина в очках:

– Не задерживайте очередь.

– Теть, мы завтра занесем, – умоляюще обратился Досик к кассирше.

– Этого еще не хватало, – поглядела она на него свысока, – чтоб у меня растрата была из-за какого-то голодранца.

Дергач положил булочку на место.

– Ну чё, теперь хватает? – съязвил Костя и высыпал гроши на тарелочку.

Дойдя до свободного столика, они услышали, как их окликнули:

– Сдачи пять копеек.

Тут уж самолюбие Дергача не выдержало, он громко ответил:

– Засунь их себе...

– Куда? Как? Что? – завопила толстуха.

– Песку сыпани под колёса, – засмеялся Костя, – буксуешь сидишь.

Спорить не стоит, их ждал обед, терять его не хотелось. Кассирша еще разорялась, но на неё уже никто не обращал внимания. За соседним столиком сидели две студентки и, когда услышали ругань, разговор их перешёл на тему педагогического воспитания подростка.

– Слушать противно, – кивнул Дергач на девушек. – У меня бабка двоюродная такая же, как начнет морали читать, хоть в гости не приходи. Лучше бы на кино денег дала.

– Ага, тебе дай денег, а ты курево купишь, – с наигранной строгостью заявил Досик, и они оба засмеялись. – У меня батя, когда бухой, сразу добрый – то рубль, то трёшку даст. Мамка на него орёт, а он смеётся.

– Да, у тебя дядя Женя в натуре ништяк, – согласился Дергач, – а мой отчим, если бухой, то сразу в зубы...

– Ну, а кого ты хочешь? Одно слово – мусор, – деловито заявил Костя, разламывая единственную булочку пополам и протягивая большую часть приятелю. – Ты уж мне поверь, они все мусора такие. Чуть не по-ёному, сразу бить. Меня тогда Неустрой поймал, всю ночь гад бил, хотел, чтобы я мопед на себя взял. Зуб молочный выбил. Я всё на себя взял. Сил уже не было терпеть. Меня мамка потом шлангом от стиральной машины охаживала.

– Досик, а кто такой Неустрой?

– Да, – махнул тот рукой. – Опер ихний. Мразь конченная.

С этими словами он вытер руки о лоснящийся пиджачок, не обращая внимания на стакан с салфетками – привычка сильнее.

– Сейчас пофестивалю, – шепнул Досик, собирая грязную посуду на поднос. Когда все тарелки были составлены, он направился к посудомойке. Дергач, предчувствуя неладное, попытился к выходу. Предчувствие не обмануло. Досик дошел до окошка приёма грязной посуды и со всего размаху запустил поднос в отверстие. При этом он издал громкий вопль:

– Подавитесь, суки!

Остановились они, пробежав порядочное расстояние, в кустах сирени.

– У-у-у! Вот это да! – завистливо посмотрел Дергач на друга, с трудом переводя дыхание.

– Это еще что, – сказал Досик, – я по зиме лазил в эту столовку. Прямо на кассу им наделал и коклетами завалил.

Дергач громко смеялся.

– Ну ладно, пойдем на трамвай, – сказал Костя и высунул голову из кустов. – Надо на «лесик» ехать.

«Лесик», лесопилка, лесозавод – под этими словами подразумевалось одно и то же место города. Характерной чертой лесозавода было то, что он размещался на берегу реки. Бия – река небыстрая, по ней вниз по течению сплавляют лес. Дойдя до лесозавода, катера-тягачи разворачиваются, и брёвна беспрепятственно плывут в гавань, затем, пройдя кошеля и отборку, попадают под острые зубья пилорамы.

В домах, построенных на склоне, жили в основном представители бедного слоя общества. Большею частью алтайцы и кумандинцы. Как для американских индейцев прерии, так и для них это была своего рода резервация. Примитивные строения, державшиеся на честном слове и на завете Ильича, имели один адрес: Гора лесозавода, улица Лесопильная. На вершине горы тоже имелись обжитые территории, так называемые посёлок Восточный и Пригородка. Около года назад Дергач и его семья жили в Восточном, потом мать написала жалобу Андропову. Им дали благоустроенную квартиру в районе, приближенном к центру города. Мать долго восхищалась добротой и справедливостью вождя, а когда Андропов прибрался, то немного всплакнула. Все это было уже в прошлом.

Сделав неполный круг по кольцу, водитель объявил остановку, трамвай притормозил.

Мальчики выскочили в заднюю дверь и направились в сторону буераков. Они долго поднимались по дороге, которую лучше было бы назвать тропой афганских моджахедов, нежели улицей – слишком крута и извилиста. Наконец ребята подошли к покосившейся калитке. Досик засунул два пальца в рот и громко, протяжно свистнул. Из окошка мгновенно высунулась голова женщины-кумандинки, о возрасте которой трудно было судить. Впечатление, будто она специально ждала их.

– Славка дома? – спросил Костя.

– Хрен его знает, наверно, опять на гору упёрся, – крикнула женщина и быстро скрылась из вида.

– Пошли, – дёрнул Дося друга за руку, и они возобновили подъём. Дома кончились, через несколько минут тропинка вывела их на маленькую полянку, на краю которой лежало бревно, из-за него валил дым, похожий на дым костра.

– Это он, – указал Костя в сторону бревна, и тут же обратился к невидимому курильщику:

– Эй, Абрек-ата, кончай перекур.

Из-за бревна показалась копна чёрных волос и круглая физиономия.

– О, Дося, – навстречу им поднялся человек поистине лилипутского роста, а если учесть, что Дергач имел средний рост, то Чингисхан – ниже всяких норм.

– А это кто такой? – указал лилипут на незнакомца.

– Дергач, – улыбнулся Костя.

– А почему Дергач, – не унимался Чингисхан. – Дергает, что ли?

Костя прыснул, а Дергач со злобинкой поправил:

– Не дёргает, а одёргивает.

Кличка приклеилась к нему в школе, после повести «На графских развалинах». С тех пор все кличут его Дергачом, и даже мать иногда употребляет это имя, вставляя крепкое словечко.

– Пойдем в магзик, там печенье эзканское продают, – предложил Чингисхан.

– А деньги-то есть? – посмотрел на него Костя.

– Есть. Я сёдня у матки стырил, пока она храпела, – сообщил лилипут с именем великого завоевателя.

Из магазина ребята уже не шли, а припрыгивали, толкаясь и смеясь. Двое из них держали по кульку, доверху наполненных печеньем.

– Я ей говорю: «Мужики послали» – оживлённо рассказывал Досик, – а она: «Ты еще маленький, пусть сами идут». А я ей: «Да они, тётъ, работают, им некогда, а курить хотят».

Досик вытащил из-за пазухи две пачки «Явы» и несколько коробок спичек.

– Дай мне коробок, – потребовал Чингисхан.

– Погоди, сейчас в штабеля залезем, поделим, – заверил Досик. – Здесь всем поровну.

Тропинка упёрлась в огромную гору брёвен. По всем законам земного притяжения они должны были бы развалиться, но какая-то сила удерживала их.

– Ну чё, полезли? – пригласил Чингисхан.

– А не завалит? – усомнился Дергач.

– Ага, – иронично улыбнулся Досик, – и вон тем поленом по цоколю.

Пока Дергач раздумывал, Чингисхан и Костя успешно преодолели восхождение. Самолюбие было затронуто, и он ринулся на вершину.

Все трое разместились поудобнее и принялись за трапезу. После того как печенье было уничтожено, в ход пошли сигареты.

– Длинные, – произнёс Дергач, рассматривая уже дымившуюся «соску», – вчетвером накуриться хватит.

– Это только кажется, – с видом знатока сказал Костя.

– Давай спички делить, – вспомнил «абрек».

Досик высыпал спички на колени. Всем досталось по три коробка и остался еще один лишний.

– Ты же, козёл, сказал, что поровну, – встал Чингисхан.

– Еще раз меня козлом назовёшь, – вскочил Досик с толстого бревна, – будешь до конца дверями аптеки хлопать.

Дергач, не любивший кулачные дебаты, вклинился в разговор:

– Короче, поступаем так, чтобы вы друг другу глотку не перегрызли.

Он протянул руку и, не дождавшись, пока ему отдадут предмет спора, выхватил спички и сжёг весь коробок.

– Чтоб обидно не было!

– Да, чтобы тело не потело, не кусали комары, – не потеряв чувства юмора, продекламировал Костя.

– Какие у нас планы? – поинтересовался Дергач, понимая детским чутьём, что наступил момент, когда инициатива должна перейти к нему.

– Часов до одиннадцати пошаримся по лесу, а потом пойдем кофейню подломим, – предложил немудрённый список мероприятий Чингисхан. – Я там вчера Микки-Мауса видел резинового и часы пластмассовые.

– А-а, – безразлично махнул рукой Досик, – я тоже такие видел у нашего завуча Макароны, они ненастоящие.

– Спорим, – вспыхнул обиженный недоверием «абрек», – спорим! Я два часа сидел, смотрел, они ходят.

– А деньги там есть? – вставил Дергач.

– Может, есть, а может, нет, – молвил лилипут, – зато сгущи и мороженого хоть попой ешь.

– Ну ладно, – заключил Дергач, и они поплелись в сторону деревообрабатывающих цехов.

Остаток дня и весь вечер они посвятили игре в догонялки, досаждали рабочим, успели разбить два окна, за что сторож долго крутил уши Чингисхану, превратив маленькие пельмешки в здоровые красные кулебяки. За виновником дело не стало, и после того как сторож разжал свои старческие руки, сковывающие «абрека», он тут же получил камнем в зад.

Солнце закатилось за буераки.

– Пора, – решительно произнес Чингисхан. – Пока дойдем, как раз будет.

Выкурив на дорогу по сигаретке, сообщники направились к центру города. Вышли к пятиэтажному зданию, часть которого занимало недавно открытое кафе. Хотя заведение считалось молодежным и безалкогольным, бармен, поплёвывая на запреты, приторговывал винно-водочными изделиями. Официально же меню в кофейне заполняли несколько сортов мороженого, пирожных и соков.

«Гангстеры» спустились в подвал дома и при спичечном освещении стали продвигаться в глубь катакомб.

– Здесь где-то люк есть, – шёпотом объяснял Досик, – через него полезем.

– Вот он, – остановился Чингисхан, указывая вверх.

Действительно, над головой у них находился проём в бетоне, прикрытый железной крышкой.

– Дергач, – обратился Чингисхан, – я на тебя встану и открою.

– А чё на меня-то? – выпучил он глаза.

Дергач нехотя подставил спину. Чингисхан поднатужился, колени Дергача задрожали и медленно согнулись.

– Ну чё там? – кряхтел он.

– Не идёт, – тужился Чингисхан. – Ноги выпрями, мне росту не хватает.

Наконец железяка поддалась, заскрежетала, в щель упал кусочек света.

Под натугой маленького силача щель выросла так, что в нее можно было проникнуть. Недолго думая, Чингисхан юркнул в неё и был таков.

– Где он? – посмотрел вверх Досик.

– Чёрт его знает, – распрявился Дергач.

– Ну ладно, подсади меня.

– Нет, лучше ты меня.

– Не доверяешь? – с презрением прищурился Досик. – Ну чёрт с тобой, лезь, но если не подашь руку, выходить будешь через дверь.

И вот уже они втроем залезли с ногами на стойку бара и поочередно запускали руки в трехлитровую банку с клубничным вареньем, тут же пихая в рот заварное пирожное и заливая айвовым соком. Из кармана у «абрека» торчал герой Диснейленда. Дергач стал рыться в отделениях прилавка, в одном из отсеков наткнулся на банку, до половины наполненную мелочью, а сверху набитую бумажными купюрами.

«Жрите, жрите», – мысленно злорадствовал Дергач, выйдя с банковской в подсобку. Руки тряслись от жадности, но он не замечал этого, торопливо рассовывая смятые купюры по носкам и потайным кармашкам. Он не понимал, почему при виде денег словно потерял рассудок. Успокоение пришло только тогда, когда последняя бумажка оказалась спрятанной. Мелочь он высыпал в два больших кармана брюк.

Рядом гудел холодильник. Дергач непроизвольно открыл дверцу...

– Мама родная! – прошептал он.

Торты, консервы с невиданной красоты этикетками и, самое главное, алюминиевый десятилитровый патрон сгущенного молока. Он видел такие когда-то во время экскурсии по маслосырзаводу, но они были недоступны, а теперь он обладал своим личным патроном. Об этом можно только мечтать. Дергач представил себе лица его братьев и сестры, которых он обобщённо называл ребятишки. Как они будут рады! Всем хватит, не нужно затевать обидный процесс с делёжкой. Два вандала успели уже насытиться и теперь, найдя мешок из-под сахара, собирали все, с их точки зрения, ценные продукты и предметы. То были сигареты, знаменитые пластмассовые часы и другие безделушки. Холодильник также был опустошён, насколько позволял объём мешка. Сборы кончены. Чингисхан и Досик подошли к прилавку, расстёгивая ширинки брюк.

– Иди, пописаем, – подмигнул Костя Дергачу.

– Не хочу, – с отвращением выдавил мальчик и отвернулся.

Четверть часа спустя они уже вышагивали в сторону Казанки, где всю прошлую ночь мёрзли Дергач и Досик. Шли молча, занятые каждый своими мыслями. Дергач, уставший тащить неудобный патрон, стал уже жалеть, что связался с этой кражей. Он злился на Чингисхана, считая его основным виновником, будто тот волоком тащил Дергача в это кафе.

Дошли они до самого опасного места. Здесь надо было пересечь широкий и хорошо освещённый проспект Ленина. В такой поздний час проспект мёртв, лишь изредка какой-нибудь полуночник прокатит на автомобиле или пройдёт патрульная машина, чего и надо опасаться. Рассчитываешь только на везение и свои быстрые ноги.

Получше разместив груз на себе, преступники бегом бросились через пространство. Полпути уже пройдено, вот и близка цель за темным углом пятиэтажки, но неожиданно из-за поворота выехал милицейский УАЗ. Двое патрульных на ходу выскочили из машины и схватили детей. Дергач и Досик сдались в руки правосудия, чего нельзя было сказать о Чингисхане. Несмотря на смирение друзей, лилипут вывернулся из волосатой лапы старшины, выронил краденое и ринулся на выходящего из машины водителя. Не ожидая подобного оборота, шофер опешил и с криком: «Ёкарь мокарь!» оказался опрокинутым наземь. Стервец бросился наутёк. Если бы не короткие ноги да усталость, он мог бы уйти от преследования. Но второй милиционер буквально с трех прыжков догнал беглеца, схватил за шиворот и приподнял. Чингисхан ещё некоторое время перебирал в воздухе ногами, пытался бежать.

Шайку водворили в заднее отделение автомобиля, а добычу сложили в кабину. Путь был недолгим, и вскоре они стояли перед дежурным капитаном в райотделе.

И тут Дергача прорвало:

– А-а-а! – закричал он, выворачивая карман. – Отвяжись, худая жисть!

Мелочь, звеня, раскатывалась по полу.

Лев Пичурин

«НАМ НЕ СТРАШНЫ НИ ЛЬДЫ, НИ ОБЛАКА...»

16 апреля 2014 года исполнилось 80 лет со дня учреждения ЦИК СССР звания Героя Советского Союза. Ныне эта дата не отмечается, но 9 декабря названо Днём Героев Отечества.

До 1917 года этот день считался Днём георгиевских кавалеров, ибо именно 9 декабря (по новому стилю) 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду – орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. С исчезновением империи исчез и праздник, но память о героях не исчезла. Учрежденный в 1943 году орден Славы стал аналогом солдатского георгиевского креста (у них даже наградные ленты одинаковы), в России восстановлен орден Святого Георгия. Слова же «Герой Отечества» для бывших советских людей всегда звучат как «Герой Советского Союза».

В Российской империи подобного звания не было. Но после его упразднения (последнюю советскую звезду Героя Советского Союза с номером 11664 года 24 декабря 1991 года получил водолаз-глубоководник капитан 3-го ранга Л.М. Солодков), 20 марта 1992 года было учреждено звание «Герой Российской Федерации». Первым этого звания 11 апреля 1992 года был посмертно удостоен лётчик С.С.Осканов. Ныне список Героев РФ насчитывает более 400 человек. А 9 декабря стал днем памяти всех Героев и дореволюционных кавалеров офицерского и солдатского георгиевских крестов, и сегодняшних Героев и георгиевских кавалеров, и кавалеров ордена Славы, и, конечно, Героев Советского Союза.

Поводом к введению в СССР высшей оценки военного героизма послужил подвиг лётчиков во время челюскинской эпопеи. 13 февраля 1934 года пароход «Челюскин», попытавшийся за одну навигацию пройти по Северному морскому пути, был раздавлен льдами в Чукотском море. Позднее этот маршрут был освоен советскими полярниками, но тогда 104 моряка и пассажира судна во главе с руководителем экспедиции О.Ю.Шмидтом и капитаном В.И.Ворониным оказались среди полярной ночи на льдине.

Ради чего? Не углубляясь в историю, обратимся сначала к географии. Взгляните на глобус (именно на глобус, а не на обычную карту!) – насколько путь из Европы в Японию и Китай через моря Северного Ледовитого океана короче пути через Суэцкий канал и Индийский океан! Например, маршрут Мурманск–Иокогама в первом случае составляет 9 400 км, а во втором – 20 700! Это экономит морякам примерно две недели. Транссибирская железнодорожная магистраль тоже проигрывает морскому пути по многим параметрам.

Попытки разведать возможность использования Северного пути начались давно. Но лишь в 1920 году Сибирская хлебная экспедиция в устья Оби и Енисея привела к надежному освоению его западной части. Очевидной стала необходимость освоения его восточной половины. Кстати, в этих экспедициях (их ещё называют Карскими) участвовали многие наши земляки, особенно жители Морьяковки. В начале двадцатых годов прошлого века эти экспедиции спасли от голодной смерти многих жителей российского Севера. Это была особая ситуация, но можно ли пройти Северный путь в нормальных условиях, желательно – в одну навигацию, без зимовки?

Впервые Северный морской путь за одну навигацию преодолел ледокольный пароход «Александр Сибиряков» (назван по имени золотопромышленника и исследователя Сибири Александра Михайловича Сибирякова).

Экспедиция началась 28 июля 1932 года (начальник экспедиции О. Ю. Шмидт, пароходом командовал капитан В.И. Воронин). Всё шло относительно благополучно, но в Чукотском море судно, преодолевая льды, потеряло часть гребного вала с винтом. 1 октября в северной части Берингова пролива «Сибиряков» вышел на чистую воду с помощью самодельных парусов. Вскоре его наградили орденом Трудового Красного Знамени, и корабль продолжал свою службу до трагического 25 августа 1942 года. В этот день он, имея на борту несколько плохоньких пушек, вступил в неравный бой с немецким тяжёлым крейсером «Admiral Scheer» (шесть 283-мм и восемь 150-мм орудий). Когда «Сибиряков» получил несколько пробоин, моряки открыли кингстоны, последовав примеру знаменитого «Варяга»...

Но через два дня, 27 августа «Адмирал» был крепко наказан. Рейдер подошел к Диксону и начал обстрел порта, предполагая затем высадить десант. Ответный огонь с берега заставил корабль отойти. Через два часа немцы начали новую атаку, однако огонь с берега заставил их отказаться от попытки десанта, крейсер ушел на северо-запад. Защитники порта, многие из которых вовсе не были профессиональными военными, отстояли Диксон.

Диксон был нужен противнику, чтобы закрыть нашу, уже работающую транспортную магистраль. По Северному морскому пути в Баренцево море прошли корабли Тихоокеанского флота. Через арктические порты Северный флот снабжался каменным углём, промышленностью – никелем, медью, лесом. По Северному морскому пути было перевезено свыше 4 миллионов тонн различных грузов, в том числе из США. Вот ради чего люди в начале тридцатых годов шли на риск и лишения

Летом 1933 года В.И. Воронин и О.Ю. Шмидт повторили попытку, возглавив новую экспедицию на более крупном новом судне — пароходе «Челюскин», построенном в Дании и спущенным на воду 11 марта 1933 года. Судно имело водоизмещение 7,5 тысячи тонн, назвали его в честь русского мореплавателя и исследователя Севера С.И. Челюскина. Из Ленинграда судно вышло 16 июля 1933 года в обход Скандинавского полуострова – Беломорско-Балтийского канала еще не было.

Но тут, пожалуй, пора сказать несколько слов об О.Ю. Шмидте и В.И. Воронине.

Отто Юльевич Шмидт (1891–1956) совершенно удивительный человек. Видный советский математик, специалист в одной из наиболее абстрактных областей современной алгебры – теории групп (в 1935 году избран академиком АН СССР), он еще был и географом, геофизиком, астрономом, исследователем Памира и Севера, государственный деятель, членом партии большевиков с 1918 года, начальником Главного управления Северного морского пути, вице-президентом АН СССР. В 1937 году стал Героем Советского Союза. Не могу не подчеркнуть, что гимназию он окончил с золотой медалью. Учителям же математики и физики, окончившим физмат ТГПИ в послевоенные годы, известно, что внешний – очень доброжелательный – отзыв на диссертацию Б.В. Казачкова, нашего декана, дал именно О.Ю. Шмидт.

Капитан Владимир Иванович Воронин (1890–1952), полярник с дореволюционным стажем. Он участвовал в первых Карских экспедициях, спасал в 1928 году экспедицию Умберто Нобиле, после «Челюскина» командовал ледоколами «Ермак», «Иосиф Сталин», был начальником знаменитой китобойной флотилии «Слава».

...Одно из самых ярких моих детских впечатлений – огромная модель льдины с челюскинцами, сооруженная перед Казанским собором. Мы жили тогда недалеко от Невского проспекта, и я помню, как фигурок полярников на льдине становилось всё меньше и меньше – наши герои-летчики сумели спасти всех! Последний рейс был выполнен 13 апреля. И уже 16 апреля ЦИК СССР установил высшую степень отличия СССР, которой герои удостоивались за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. С исключения и начались награждения, первое – 20 апреля. Героями Советского Союза стали А. Ляпидевский (он первым еще 5 марта снял со льдины десять женщин и двоих детей), С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнёв, М. Водопьянов, И. Доронин. Эти имена знала тогда вся страна, а их триумфальный приезд в Москву можно сравнить, наверное, только с приездом в столицу Юрия Гагарина после его полета.

Они и став Героями, не посрамили себя. Судьба их такова (в порядке номеров Золотых звезд).

Звезда № 1. Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908–1983). Генерал-майор авиации, директор авиационного завода (Москва, Омск). В годы войны зам. командующего ВВС армии. Зам. министра авиационной промышленности СССР. Кавалер одиннадцати орденов.

Звезда № 2. Николай Петрович Каманин (1899–1980), командир отряда самолетов, направленных для спасения челюскинцев. Генерал-полковник авиации. Участник советско-финской войны, командир авиабригады. В годы Великой Отечественной – комдив, комкор. После войны – комкор, командарм, помощник. Главкома ВВС по космосу, участвовал в подготовке первых космонавтов. Кавалер десяти орденов.

Звезда № 3. Василий Сергеевич Молоков (1895–1982). Генерал-майор авиации. В годы войны – уполномоченный Государственного комитета обороны по созданию авиатрассы «Алсиб» (форт Фербенкс на Аляске – Красноярск), по ней перегонялись в СССР

самолеты из США. Командир авиадивизии. Начальник Главного управления гражданского воздушного флота СССР. Кавалер девяти орденов.

Звезда № 4, её не успел получить **Сигизмунд Александрович Леваневский** (1902–1937), участник Октябрьской революции и Гражданской войны. Он и его экипаж пропали без вести во время полета Москва–США. Кавалер трёх орденов.

Звезда № 5. **Маврикий Тимофеевич Слепнёв** (1896–1965). Участник Первой мировой и Гражданской войн. Полковник. Начальник Академии ГВФ. В годы войны зам. командира авиабригады на Черноморском флоте. Кавалер трёх орденов.

Звезда № 6. **Михаил Васильевич Водопьянов** (1899–1980). Участник Гражданской войны. Генерал-майор авиации. 21 мая 1936 года доставил на Северный полюс коллектив станции Северный полюс-1 (руководитель Иван Дмитриевич Папанин, метеоролог и геофизик Евгений Константинович Фёдоров, радист Эрнст Теодорович Кренкель, гидробиолог и океанограф Петр Петрович Ширшов). Участник Советско-финской войны, в годы Великой Отечественной – командир авиадивизии. Участник налета на Берлин в ночь на 11 августа 1941 года. Кавалер девяти орденов. Член Союза писателей СССР.

Звезда № 7. **Иван Васильевич Доронин** (1903–1951). Полковник. В годы войны начальник летно-испытательной станции на авиационном заводе. Кавалер пяти орденов.

Не могу не заметить, что радиосвязь с челюскинцами с мыса Ванкарем обеспечивал юный радиолюбитель Е. Силов, за свою работу награжденный тогда орденом Трудового Красного Знамени. Недавно Евгений Николаевич, фронтовик, крупный ученый, профессор, живая легенда ТУСУРа, отметил своё столетие. Ох, как же хорошо и с каким глубоким смыслом на встрече ветеранов звучали слова: «Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака», когда мы вместе с ним пели бессмертный «Марш энтузиастов»!

Первоначально Героям Советского Союза вручалась только Грамота ЦИК, с 29 июля 1936 года к ней добавился орден Ленина, а 1 августа 1939 года был учрежден специальный знак – «Золотая Звезда». Вскоре звезды Героев получили 70 участников боев на реке Халхин-Гол, их предшественниками, первыми, кто заслужил звание Героя за боевой подвиг, стали 60 участников гражданской войны в Испании. Среди них впервые оказались иностранцы: будущий командующий ВВС Болгарии генерал-полковник Волкан Горанов и один из создателей итальянской компартии Примо Джибелли. Его самолет сбили, раненого пилота схватили и растерзали франкисты, а расчленённое тело сбросили с самолёта на позиции республиканцев...

Героями Советского Союза стали 26 участников разгрома японских интервентов в районе озера Хасан в августе 1938 года, в их числе был Иван Никонович Мошляк, в дивизии которого во время Великой Отечественной войны служили многие томичи.

Конечно, подавляющее число Героев Советского Союза появилось в годы Великой Отечественной войны. За подвиги, совершённые тогда, этого звания удостоено 11 тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно). Среди них было 8160 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 131 еврей, почти по сто казахов, грузин, армян. Среди них были узбеки, мордвины, дагестанцы, чуваша, азербайджанцы, башкиры, осетины, марийцы, таджики, киргизы, удмурты, карелы, адыгейцы, абхазцы, молдаване, якуты. Были среди них и литовцы, латыши, эстонцы, калмыки, кабардинцы, чеченцы, были российские немцы. Звания Героя удостоились 14 воинов союзных армий и 4 лётчика авиаполка «Нормандия–Неман».

В числе Героев Советского Союза 95 женщин, первая – Валентина Гризодубова.

* * *

Но еще до Отечественной войны Героями стали 412 участников войны за Карельский перешеек, войны, ныне считающейся едва ли не позорной. Она, действительно, выявила массу просчетов в подготовке РККА. Были и неоправданные потери, особенно заметные в сравнении с потерями противника: на 75 тысяч погибших советских воинов приходилось 25 тысяч финских. Но не следует забывать, что, во-первых, была достигнута главная цель – отодвинуть границу от Ленинграда. Иной исход означал бы не только скорый захват противником Северной столицы, но и гибель Балтийского флота. Во-вторых, часть пробелов удалось устранить накануне Великой Отечественной. Попробуйте оценить, чего это стоит. В-третьих, наступление на хорошо укрепленные и защищаемые позиции приводит, как уже давно установлено военной наукой, к соотношению потерь три к одному. Наконец, в-четвёртых, те, кто тогда получил звание Героя, и не только они, действительно проявили настоящее мужество.

Один из них – томич полковник М.П. Кутейников. Наша земля дала Родине почти две-сти человек, удостоенных звания Героя Советского Союза. Но именно он был первым томским Героем.

* * *

Впервые это имя я услышали на занятиях по курсу тактики в ТАУ. Наверное, даже невоенным людям ясно, что наступление танков и пехоты должно поддерживаться огнем артиллерии, причем так, чтобы этот огонь непрерывно перемещался впереди наступающих, не давая противнику организовать оборону. Управление таким огнём – истинное мастерство. И нам приводили пример такого мастерства – действия начальника артиллерии 123-й стрелковой дивизии полковника Кутейникова при наступлении наших войск на Виппури (Выборг) 11 февраля 1940 года. Он руководил огнем, находясь в боевых порядках наступающей пехоты. Дивизия заслужила тогда орден Ленина, а Кутейников – звание Героя Советского Союза. Конечно, нам с гордостью подчеркивали, что в 1925 году будущий Герой окончил Томскую артиллерийскую школу, так тогда называлось наше училище. Учитесь, берите пример!

Позднее я узнал биографию Михаила Петровича.

Он родился 19 января 1903 года в Томске в семье рабочего. Окончил политехническое училище, позднее ставшее Томским политехническим техникумом. В музее техникума есть материалы о Герое, а на учебном корпусе 6 мая 2010 года установлена мемориальная доска.

После училища Кутейников некоторое время работал мастером на заводе сельхозмашин. В ноябре 1921 года был призван в РККА. Далее – сорок лет службы, начиная с должности красноармейца 21-й Пермской стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Сибири, до увольнения в запас в феврале 1961 года с поста генерал-инспектора штаба Объединенных вооружённых сил государств-участников Варшавского договора. Скончался генерал-лейтенант М.П. Кутейников 19 мая 1986 года в Москве.

В армии он прошел едва ли не все возможные ступени – командир взвода, батареи, дивизиона, начальник штаба полка, начальник артиллерии дивизии, командир полка, командующий артиллерией армии, зам. командующего артиллерией фронта, командир корпуса прорыва, после войны – один из руководителей Управления боевой подготовки артиллерии Вооруженных сил СССР. Награждён одиннадцатью советскими орденами, в том числе – тремя орденами Ленина, многочисленными медалями, иностранными орденами.

Две детали. Первая. В 1938 году он стал слушателем Академии им. Ф.Э. Дзержинского, финская кампания была для него учебной стажировкой. Вскоре после её завершения он окончил академию, и 6 июня 1941 года стал генералом. С первого и до последнего дня войны – на фронте. Так что не надо думать, как нас иногда убеждают, что у нас к началу войны не было образованных командиров!

И вторая. Первый из трех орденов Красного Знамени он заслужил в гражданской войне в Испании. И так уж получилось, что 7-й армией, взявшей Выборг, командовал другой «испанец» – будущий маршал К.А. Мерецков. А руководя артиллерией Юго-Западного фронта, Кутейников оказался в подчинении ещё у одного «испанца», будущего маршала Р.Я. Малиновского. И корпусом наш земляк командовал, когда начальником всей артиллерии РККА был будущий главный маршал артиллерии «испанец» Н.Н. Воронов, кстати, друживший с нашим «испанцем» – начальником ТАУ генералом В.А. Ивановым. Мало того, на Карельском перешейке дивизией, где начальником артиллерии служил Кутейников, командовал Филипп Федорович Алябушев, незадолго до этого служивший советником в Китае. Генерал Алябушев пал смертью храбрых в первые дни войны. Стоит ли верить тем, кто утверждает, что чуть ли не все командиры, получившие опыт войны в Испании и на Востоке, были репрессированы? Да, многие, слишком многие! Но далеко не все. А интернационализм у нас в крови, вспомните ещё и о 85 воинах-интернационалистах, ставших Героями в Афганистане.

Томичи могут гордиться и героями 1812 года, и героями Крымской войны, и героями многих других войн, конечно, включая финскую и Великую Отечественную. Их надо помнить, с них надо брать пример.

С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ

Письма Сергея Смирнова, безвременно ушедшего томского писателя-фантаста, ученика Виктора Колупаева, были адресованы его сокурснику и другу Андрею Кратенко, журналисту из Усть-Каменогорска. Андрей сохранил их, недавно перевёл в электронный вид. Публикуются письма с некоторыми сокращениями. Тому – две причины. Все, кто знал Сергея, помнят его ироничным, а порою и желчным собеседником, так что некоторые характеристики поныне здравствующих людей мы решили здесь не приводить. И вторая причина: сокурсники, близкие автору и адресату, их жизненные ситуации мало интересны широкому читателю, либо требуют подробного комментария, что увело бы нас от главной темы. А это – оригинальное бытописание 1980-х годов прошлого века и поиск своего места в этом непростом времени.

Свой дебютный сборник «повестей реальных и фантастических» (под названием «Проспект» и с предисловием томского писателя Виктора Колупаева) мой однокурсник Сергей Смирнов прислал мне в ноябре 1992 года. Подписал неожиданно просто и сердечно:

«Дорогому Андрею Ивановичу в знак искреннего уважения и с надеждой на встречу...»

Увы, встретиться не довелось...

А как всё чудесно начиналось!

В Томск я приехал 21 июля 1978 года из Москвы, где тщетно пытался поступить в физико-технический институт. На последние деньги купил в столице два килограмма бананов, билет до Томска и поехал. Через трое суток путешествия на верхней полке стал представляться самому себе обезьяной.

В новом городе освоился быстро. Поселился в общежитии напротив университета.

На вступительных экзаменах Сергей появился в солдатской форме. Он недавно демобилизовался, отслужил в стройбате и казался намного старше. Хотя разделяли нас всего четыре года. Его жизненный опыт, начитанность, а, главное, писательский талант сразу сделали из меня его ученика. Впрочем, он не демонстрировал своего превосходства. Напротив, всячески противился этому.

Но я восхищался им. Мне нравилось всё, что он пишет и говорит, как рисует. Подкупали юмор и эмоциональность, искренность и честность. Забавляла его влюблённость в... свой пиджак. Синего цвета, кажется, кримпленовый, этот пиджак Сергей носил до пятого курса. А покупал ещё до службы в армии. Пиджак ждал его возвращения из СА, точно девушка парня. Но в отличие от женщины, пиджак можно снять и дать подержать, чтобы я мог вполне оценить, насколько он лёгок. Почти невесом.

– Нет, ты поддержи, поддержи! – настаивал Сергей и ждал в ответ столь же бурного восхищения.

Ещё я помню один тёплый солнечный день. Хочется думать, что эта была весна, середина мая, когда у него и у меня дни рождения. Мы идём с ним после лекций по проспекту Ленина, от университета к политеху, он в синем пиджаке, в руках портфели, мы по очереди рассказываем анекдоты, и нам так весело и беззаботно, что лучше, кажется, уже никогда и не было.

Мы никогда не напоминали друг другу про этот день, но я почему-то уверен, что и он про него не забыл. И хочу думать, что когда Сергей подписывал мне свой первый сборник, он вспомнил именно тот весёлый весенний день. «С надеждой на встречу...»

Я уехал из Томска сразу после окончания вуза, и с тех пор мы не встречались. Казалось, что жизнь только начиналась, впереди бесконечные годы. И вдруг выясняется, что это иллюзия.

Не помню уже, как завязалась наша переписка. Но ещё лет десять после окончания университета нас связывали письма...

Андрей КРАТЕНКО

Письма Сергея Борисовича Смирнова

Письмо 1.

Здравствуйте, любезный Андрей Иванович!

Как здоровьице ваше и ихнее? Благополучно ли идет ваше семейное обустройство на новых местах?

Ну-с, вот последняя сводка новостей *(на 15 октября 1983 года)*:

(...) Ваш покорный слуга пытается обтелевизиониться. Делаю две передачи для пропаганды и раза два-три в неделю для новостей. В общем, на побегушках. Ольга уже дважды побывала в больнице, в гинекологии, на сохранении. Устроилась в детсад воспитателем, но работала пока только один день. Хочет увольняться, а я не даю. Да и мать нас попиливает. Ну, а в остальном всё по-прежнему. Осень стоит тёплая, солнечная. Капусту дают чуть не задаром, ее ноне уродилось чрезмерно. Покупаю книжачки и аккуратно ставлю на них печати, и записываю их в особливую тетрандаку, и прочее в том же духе.

(...) Ну, ты нас не забывай, пописывай. Мир большой, а нас мало, надо – хотя бы первое время связи поддерживать.

Ой, а в мире деется! Слыхал, небось – корреспондента «Литературки» Олега Битова (брата писателя Андрея Битова, коего мы, если помнишь, изучали), спёрли в Венеции и уже месяц не отдают. «Аэрофлот» никуда не пущают. Мериканцы в Европу ракеты ташат. Японцы на кораблях паруса ставят. Тэтчер 58 лет стукнуло. Негодяи кругом процветают. Мяса нет и не будет. Гм!!..

Эх-ма, однова живем! Гуляй, мужуки...

Прислал бы хоть в письме номерок «Весьма рудного Алтая», што ли? Ась?.. А у нас с будущего года начинает выходить «Томская неделя» по типу барнаульской, омской и новосибирской – там в основном будут объявления и заметки вроде «Хозяйкам на заметку». Сие приятно. Тем более, что у нас в семье хозяйка, кажется, я...

Ну-с, засим адье. Остаюсь вашим навеки Сыркеем Парисовичем.

Письмо 2.

Здравствуй, дружок. Получив твое письмецо, остался немало доволен. Во-первых, потому, что оно написано на машинке – это хорошо. Во-вторых, ты, наконец, нашёл местечко, где можно проявить усидчивость, – это очень хорошо. Поздравляю и сплёвываю через левое плечо, дабы не сглазить: тьфу-тьфу-тьфу! *(имеется в виду мой переход из отдела культуры и информации газеты в секретариат областной газеты «Рудный Алтай» – А.К.)*.

Сегодня воскресенье, 6-е ноября (1983 г). Погодка серенькая, пакостная, лёгкий снежок сыплется и тает. С утра ругнулся с маман, «подзарядился», так что настроение такое: взять бы и убить кого-нибудь. Сбежать бы на работу, – да выходной. Я, знаешь ли, Андрей Иваныч, стал очень не любить выходных: маман пилит с утра до ночи, Ольга дуется неизвестно на что, по телевизору всякая гадость. На работе лучше: поездки, съёмки, писанина, запись, народ кругом, разговоры, заботы, дни летят, долг исполняется, душа спокойна. Эх-ма! Взять бы, всё-таки, кого-нибудь и прирезать!..

Прошедшая неделя была у меня богатая: прошло восемь моих киносюжетов, приятно. Стол рабочий дали, с телефоном – вдвойне приятно. Вот такие дела.

Тут в Томске проходила неделя молодежной книги, приехали редактора из «Молодой гвардии». Один из них записывался у нас, рассказывал про всяческие успехи... А с ним же ещё выступила московская пиитесса (фамилию забыл), взахлёб свои произведения читала. Слушать стыдно было. Наивная халтура, ей-богу. А, да чёрт с ними со всеми.

Вот такие дела. А я завязываю с графоманством. Компания пиитов и пиитес – грязна. Зато с удовольствием читаю: по вечерам, после работы. Читал «Сказки русских писателей», «Кубинские рассказы». Сильно приятно.

Давеча листал старые «Недели» от нечего делать, вычитал так сказать «юмор»: «Идиотов полно, да нет Достоевского». Мрачно вато шутят наши остряки.

Да, чуть не забыл: ты спрашиваешь про адрес Ракова, – увы, нету его у меня. Да и ни у кого нету. Телефон где-то был, а адреса нету. Право, «какие же мерзавцы эти порядочные люди!» (Эмиль Золя).

А в Персию я, Андрей Иванович, не хочу. Там фанатизмус, – сие неприятно. Говорят, когда иранцы наступали (в войне с Ираком), впереди солдат бежали подростки-фанатики 14-15 лет, собой подрывали мины и очищали, таким образом, минные поля. Ну их, этих исламских революционеров. Право!

Ну вот. На душе гадко, потому и письмо такое. Ну, ладно. Деваться некуда, придется строить коммунию.

Ну-с, в Томске изменений мало. Принято решение горисполкома строить дома не на окраинах (на Каштаке и Иркутском тракте), а только «на месте сносимого ветхого жилья». По-моему, сие приятно. А то, действительно, половину города развалюхи занимают, а строят черте где. (Вишь, какой я грамотный стал? Ужась!). Сигареты вот опять с прилавков исчезли. А перед праздниками мясо в магазинах выкидывали, так народ шел «стенка на стенку», пенсионеры против домохозяек. Кошмар!

Ин, ладно. Пиши, Андрей Иванович, не забывай. Я тоже письма люблю. Здоровьица тебе и семейству. А с праздником (7-е ноября – А. К.) не поздравляю. Из принципа. Засим – адью.

Сергей.

Письмо 3.

Здравствуйте вас, Андрей Иванович!

Получил я вчера от вас толстенькое письмецо, вскрыл – газетка. Я пошукал, - газетка. И ничего боле. Ну, думаю, в стремлении быть лаконичным довёл ты себя до абсолютного нуля. Но сегодня вот получил и письмецо, разъяснившее «данный вопрос на данном уровне», как сказал мне в интервью один бригадир.

Ну-с, почитал я газетку. Газетка гаденькая, надо сказать (а не гаденькой, Андрей Иванович, для меня остаётся только одна газета в сторонюшке савецкой – «Сов. Россия», – да и та, прямо скажем, порядочное дерьмо!).

Потеплело у меня под сердцушкой, ягды зачел я роднючие имена: Табылды, Кайсен и Бектурган. У меня ведь Казахстан, несмотря на армию, всегда ассоциируется с розовыми воспоминаниями безгрешного детства, кое, как тебе должно быть ведомо, провёл я в славном городе Шахтинске (где, к слову сказать, никаких иных элементов из таблицы Менделеева кроме угля и грязи до сих пор не обнаружили).

Так вот. Нерешительность – беда российской интеллигенции, вечно затюканной, изнурённой уколами совести и комплексом неполноценности. Отсюда мораль: всякий, желающий стать интеллигентом, должен знать, что с решительностью ему придётся распрощаться. Увы! Насчёт же сомнения я думаю так: во всем, что касается умственной и нравственной деятельности, сомнение необходимо. Другое дело, если оно мешает нормально жить. Меня это тоже частенько подтачивает и подводит.

Ты меня прости, Андрей Иванович, что я тут пустился в этикие нарочитые, как раньше говорилось, рассуждения. Охота же после работы поумничать, раз на работе это не удастся. Тем более, что я всё ещё свято верю в афоризм Лабрюйера: «Каждый из нас должен быть достоин должности, которую занимает; только об этом нам и следует заботиться; остальное – дело других».

(...) А у нас опять оттепель. Температура ноль. Это уже, кстати, четвёртый раз за последние месяца полтора. С крыш течёт (с носу тоже).

Наше томское телевидение разродилось новой информационной программой «День области» по типу московского «Времени», два диктора, 20 минут вещания. Так что всю прошлую неделю работали как каторжные, я, например, раньше восьми домой не возвращался. Сие мрачно. Неизвестно, как то оно пойдёт дальше, но я уже начинаю уставать. Голова часто болит, тем более, что в редакции обстановка торопливая, нервная, все курят одновременно и с утра до вечера хлещут чай (не чифир).

Мать сейчас в больнице, далеко, на втором Томске, Ольга тоже болеет, лежит, приходится разрываться. Отпрашиваюсь у нашей старшей редакторши, бегу в больницу, потом несусь на съёмку, потом домой – да не домой, а по магазинам, ибо Ольге каждый день свежий кефир нужен.

Сегодня, слава богу, суббота. Можно поваляться на диване, прочитать «Литературку», покритиковать нравы. По ТВ сегодня мощный фильм – «Ангар 18». Дюже хорошо. Писать давно уже не тянет. Я и не пишу. Разве так, иногда, придёт в голову этаким вирш: «Ты, соловушка, не пой, – ты теперича на кой?» Читать тоже времени не хватает. Да и к чему? Ни к чаму это!..

Вот такие вот пока дела. Тут, вроде, дело к Новому году?

Ну ладно. Заканчиваю пызмо. Пышы.

Серикбай-еке.

Письмо 4.

Здравствуйте, Андрей Иванович!

Получил ваше письмо, только что, выйдя из больницы, в коей провел две недели по поводу болезни лёгкого («пневмоторакс» – так она называется, буде вам интересно). Наблюдал больничные нравы и, разумеется, ещё полон впечатлениями. Карьера моя, естественно, прервалась. Зато я узнал, что такое шприц Жане и многие другие вещи. Весьма странно, что в хирургическом отделении лежат почти исключительно либо глубокие старики (от 65 лет и больше), либо молодёжь до 25. У большинства аппендицит, грыжа, резекции желудка, реже – перитонит. Так что я в своем роде был бо-о-льшой оригинал, и десять дней не испытывал конкуренции. Потом поступил по «скорой» ещё один лёгочник, и я потерял всякую ценность в глазах медсестёр, врачей и особенно студенто-медиков. А как хорошо было в начале! Студенты меня обожали. Они раздевали, одевали меня, заставляли дышать и не дышать, поднимать и опускать руки и ноги, складываться пополам и т.д. и т.п. Увы!.. Даже санитарки охладели к моей персоне и предлагали послеобеденное молочко уже совсем другим тоном. Верность сохранила лишь одна молоденькая фельдшерница из флюорографического кабинета. Она запускала меня в кабинет вне очереди и заботливо просвечивала, сетуя на то, что я получаю слишком большую дозу облучения. Я хотел подарить ей на память снимок моей грудной клетки с автографом, но вовремя вспомнил о том, что у меня есть жена...

Ольга, кстати, собирается (в который уже раз) поступать на работу. Сходила на нашу биржу труда, стыдливо именуемую Бюро по трудоустройству, и получила направление на лёгкий труд – табельщицей на «Сибмотор». Гм! Вероятно, рабочего класса прибавит.

Ну-с, а тут новый год. Завтра католическое (если я правильно понял объяснения 73-летнего старца, лежавшего по поводу грыжи и инфаркта одновременно) рождество. Судя по описаниям Диккенса и Джерома, следует готовиться к рассказыванию историй о привидениях и подземных духах. Также можно было бы, сидя у камина и закутавшись пледом, сыграть с девицами в «кусающегося дракона»... Увы! Социалистический радостный образ жизни нам этого не позволит. Согласно нашим традициям следует врубить телевизор и нализаться, как свинья, чтоб «было что вспомнить». Наутро устроить опохмелку, а послезавтра с новыми силами, бодро неуклонно устремиться к новым трудовым свершениям и победам.

Вот, кажись, и все, Андрей Иванович, что я хотел сообщить. (С непривычки от печатания разболелись пальцы, да и седалище – пардон! – все ещё ноет от уколов...)

24 декабря 83 г.

Письмо 5.

1984 г.

Здравствуй, гражданин Картонка!

Сицилист приветствует сицилиста!

Во первых строках сообщаю, что жжено моё находится в роддому и ждёт заключения экспертов: рожать ей вроде как не позволяют, так как, дескать, может произойти расстройство зрения. Ну, дело тёмное.

Я намереваюсь снять с себя гордое звание журналиста, отмыться и стать честным художником (там же, на студии, есть вакансия). Оклад сильно уменьшится, зато, надеюсь, уважения к себе станет побольше. «Будя врать-та!»

(...) Ну, а за вас, гражданин Крутенко, я весьма рад. Ежели ты найдёшь себе свой собственный угол, да ещё и благоустроенный, – считай, что ты изо всех нас самый счастливый.

Вот у нас дома, к придмеру, ежедневно вспыхивает война. Хотя и все больно грамотные. А может, в том-то и вся беда.

А в остальном всё по-прежнему. Приобретаю книжачки (давеча вот Шмелёва купил, сильно приятен), почитываю, и жду конца света. Ибо при теперешнем развитии событий конец света всенепременно должен случиться.

Вот и Шолохов умер. Всё одно к одному, и всё это знаменья. Грядет Анчихрист на семи конях с семью свечками, и всех проглотит. И тебя проглотит, несносный газетчик и интеллигент!! Будет на земле пролетарский рай. Все будут в машинном масле и ужасно вонять. А заместо трамваев по улицам вагонетки пустяя!!!

Ужо!

Засим адью.

Пиши, если что.

Их бин.

Письмо 6.

Здравствуйте, уважаемый гражданин!

(...) Засим: у нас прошли жуткие морозы. И цепь аварий (социализмус!). Правда температура ниже плюс 15 в квартирах, за некоторым исключением, не опускалась. А жаль. Может быть, и у нас случились бы волнения в народных массах.

У нас доченька прихворнула, да так, что положили в больницу вместе с мамой, и как раз на праздники. 10 дней я жил один (маман на курорте) «аки свинья непотребна», квартиру загадил, на работу наплевал. 4-го января их выписали. Сейчас, вроде, всё нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.

Читаю исключительно детективы. Ничего другого душа не принимает. Настроение подлое: уже начал опасаться, как бы не убить кого-нибудь...

С начальством окончательно разругался и рассорился. Подыскиваю потихоньку новое место работы – такое, где бы врать приходилось поменьше, а сидеть – побольше. Куда-нибудь бы в отдел объявлений, что ли. Не знаю. Но уволиться из проклятых рррядов пррро-клятущего телевидения решил точно. Дадут ли? Другой вопрос. Не дадут – попытаюсь уйти со скандалом.

Всё надоело до отвращения. На работу иду – ощущаю позывы на рвоту. Гм. А тут ещё городишко кругом захудалый. Чурки по городу бродят и гортанно перекликаются через улицу, как у себя в кишлаке. Улицы замело снегом до вторых этажей. Начался аврал. Перебирают косточки спецавтохозяйству за то, что-де не убрало снег вовремя. В магазинах мерзость запустения. Денег нет.

Все советские люди с уверенностью смотрят в будущее, а я, выходит, не советский. Дожил, ничего не скажешь.

Вот ты пишешь, что нам в Томске не понять охватывающей тебя ностальгии. Нет, Андрей Иванович, вы ошибаетесь: понять. Но нам сложнее. Мы то и дело встречаемся с людьми и местами, напоминающими о светлых временах лекций и семинаров. Встречаемся и видим (хоть и поневоле) – люди-то мелкие, и места-то – грязные, и прошлое-то было, в общем, далёким от идеала, который засел в голове.

Ну-с. Отсидев (отработав) прекрасный денёк, даденный богом отнюдь не для этого, возвращаюсь домой, как бербер в оазис: отдыхаю, разряжаюсь, прихожу в себя. А с утра – опять туда, сидеть. Приговорённый. Пожизненный. И все мы так. Вот тебе и «уверенность в будущем».

Ладно. Что-то я развыступался. А самое обидное (опять к тому же) – сколько живу, столько и получаю по морде за свои прекрасные убеждения и за «уверенность в будущем».

Одначе, пора вязать. Скоро получка. Мабуть, куплю книжачков (одна из немногих оставшихся радостей в сем мире, наполненном дерьмом и грубиянами. Гм!).

Желаю тебе и семье здравствовать, глядеть с уверенностью в будущее, и главное не болеть ни под каким видом. Остальное – суета сует, и всяческая суета. Пиши.

Остаюсь вашей до гроба.

14 янв. 85 г.

Письмо 7.

Здравствуй, батенька!

Сегодня 19-е января. Пишу те пызмо в предчувствии зарплаты... Ух, получу завтра бо-ольшую деньгу – книжек накуплю!.. (Вот идиот-то! А семью чем кормить?..) Всё это, конечно, шутки. Книжек я давным-давно уже не покупаю. Мне в последнее время почему-то деньги с полочки хочется куда-нибудь в укромный уголок схоронить, а по ночам доставать, шшитать – и радоваться, радоваться!..

Вот ты, батенька, призываешь меня строительству радоваться. Хе-хе. А сами-то вы больно ли счастливы? Ведь и у вас там добыча на-гора' всё растёт, и советские люди живут всё лучше и лучше, ась-ат? То-то и оно, что плакать охота. Экая бездна разной сволочи в нашей системе радостной обогащается, наживается и узурпирует! А сколько всякой дряни процветает – и при этом именно потому процветает, что она – дрянь? Эх, взять бы огромную палку и да и садануть бы разом головам по тысяче! Вот это было бы сильно приятно и сильно нестандартно!..

Ин, ладно. Что-то я развыступался. Не ровен час, зацепит и меня по маковке «лапа класса». Гм.

Писал ли я тебе, что сборник якобы фантастики «Великий Краббен», который должен был выйти в прошлом году в Новосибирске, и в котором должны были быть и мои якобы рассказы запрещён? Я долго сему не верил, и вот пришло доказательство – письмо из издательства. Там сказано: сборник запрещён из-за допущенных идейно-художественных просчетов. Но, дескать, гонорар «уважаемый товарищ Смирнов» (каждое слово – насмешка! Якобы уважаемый, якобы товарищ! Негодяи!) вы получите согласно правилам. Ишь, геростраты проклятушши!! Ладно, хоть гонорар обещают. Редактора сборника долго пинали ногами в казематах АБВГД, после чего сняли (он же, кстати, и один из авторов). Всю сибирскую якобы фантастику сие известие погрузило в траур, и меня, признаться, поначалу тоже. Но когда все якобы фантасты взрыднули – тут-то и мне полегчало. Так вам и надо! Ух, как сильно приятно!!!

(...) Н-да-а... Вообще, что-то я стал замечать, то становлюсь всё хуже и хуже, даже как-то мерзее... Тут тебе и страсть к накопительству, и стремление иметь высоких покровителей, и т.п.. Ай-яй-яй, Негодяй Борисович! Нехорошо-с...

Вот такие мои дела, Андрей Иванович.

Сам я работаю там же, но уже в редакции пропаганды. Ничего хорошего. Вернулся в эту пакостную атмосферу кляуз, подсиживания, обид не по своей воле – «Новостям» якобы пришел приказ из Москвы «Остаться на прежних позициях», не расширяться. А, чтоб они сдохли! Я уже на всё рукой махнул, и озабочен одним – как бы выжить. Ин, ладно, что-то меня опять не туда понесло. Пиши, если ещё не потерял – после такого «пызма» – дружеских к нам чувствов.

Ирод Каинович Злыдень.

Письмо 8.

Здра! Как пожива?

Был весьма рад получить твое письмецо, многоуважаемый гын Украденко! Также весьма рад и ответить тебе.

Во-первых строках сообщая, что общественное моё положение круто изменилось: я сейчас работаю корреспондентом многотиражки «За новую технику» п/о «Сибэлектромотор». Состояние моё облегчилось и улучшилось. Полон творческих и околотворческих планов: газета выходит 1 раз в неделю, нас в редакции трое, зарплата маленькая, но устойчивая, плюс, к тому же, разнообразные доплаты как члену камарильи Пролетариата.

(...) Ты пишешь, что сидеть на объявлениях – это якобы «смерть». Согласен, смерть – для Отличных Парней, Строящих Нечто и Весьма Уверенных в Себе и в Нём. Для меня такое сидение было бы высшей формой жизнедеятельности, потому что работа моя – у меня дома, это рука, бумага, машинка, карандаши, ватман и тушь. И ещё книги – это тоже работа, а отнюдь не «досуг», как полагают иные дутые идеологи рабочего класса. Тут, помоему, всё ясно. А для кого объявления – смерть, пусть мотает отседа и живёт в гуще, в кипении, твёрдо стоя ногами на земле.

Не очень по ндраву мне и настроение твоё общее – если только оно не приготовлено специально для меня. Уж не запил ли ты? Рекомендую для этой цели спирт – дольше протянешь. Ась?..

Вообще, что есть такое «Журналистика»? В том виде, в каком она существует сейчас – это оскорбление достоинства и чести каждого порядочного человека. Ничего престижного в ней я не нахожу, кроме того, что можно запросто зайти к военкому якобы по делу, и послать его на... Правда, это небезопасно, зато жутко приятно. А ты – «престижность», «получка»... Хорошо у нас зарабатывает тот, кто хорошо работает, – это главный экономический принцип социализма. А нам за нашу поганую деятельность, за наше замаскированное безделье, спрятанное за высокие отвратные слова, – нам надо бы вообще ничего не платить, или уж во всяком случае, платить меньше, чем редакционной уборщице, которая вытирает наши плевки и выносит наши окурки. Хочешь много получать – работай, Андрей Иванович. И это весьма справедливо.

Ну вот. Ты, пожалуй, можешь обидеться?.. Прошу прощения, Андрей Иванович. Но ты пойми – пишешь: мне уже 23, жизнь прожита, и тому подобное... А я в этом году выхожу по возрасту из комсомолии – это как? И слава богу, конечно, что выхожу, но, с другой стороны, Лермонтов в моём возрасте написал уже почти всё, что нам известно. Что поделаешь. «Таков неисповедимый закон судеб». Так что, Андрей Иванович, бросай-ка ты своё жалкое, мелкое креслице, свой поганенький оклад и уходи в народ (но только не к нефтяникам – это в основном избалованные вниманием писателей, писак и журналистов рвачи, и мало там, ой мало «крупных характеров»!..) Продолжаю писать ручкой, так как редакционная машинка не выдержала, по-видимому, моей страстной публицистичности, и попыталась разорвать письмо. Гм!

Ну, а в остальном дела обстоят так: грядет весна, погодка хороша, денег нет, и хоца напитокца. Солнушко светит. Птички потяжкивают. Хаар-рашо! (как басом гудят нефтяники, выйдя на площадку буровой и оглядывая родные болотные просторы, – я этого не видел, но что-то подобное где-то читал, – писал наверняка один из горевых).

Ну-с, а засим и адью?..

Дочка моя растёт, второй год ей пошел, учится ходить и говорить (вчера цельный вечер болтала «бля-бля-бля-бля...») К чему бы это?..

Ну, ладно, Андрей Иванович, будь здоров, пиши, не забывай. «Люб ты мне!» - как, бывало, взрыдывал Раков (*наш сокурсник – А.К.*).

Ужо!

18 марта 85 г.

Письмо 9.

Здравствуйте, любезный нашему сердцушку Андрей Иванович!

Прости, прости подлеца, знаю за собой вину: на последнее ваше послание аз, негодный, преступно, злобно и с ожесточением не отвечал. Ну, как ты понимаешь, есть объективные причины: погодные условия, недостаток в пище витаминов, крайняя деморализация вследствие решительного и последнего натиска на алкоголизм, и т.п.

Вернувшись из отпуска (надеюсь, что и ваше семейство воспользовалось гуманностью наших добрых, но справедливых уложений КЗОТа) и заправив чернильную авторучку (кстати, бракованную!) «Радугой» - поелику стержней в Томске днём с огнём не сыщешь – засел я за пызмо... Мои спят, 12-й час, так что пришлось писать от руки, а не на машинке (бракованной, разумеется!). Итак, я славно отдохнул. Жену с дитём отправил к теще, взял отпуск, и почти месяц кейфовал в гордом и неприступном одиночестве. Читал книжки, ходил в кино. И до того устал, то плюнул на такой отдых и поехал к жане... Там мой «отыпыск» отдал богу душу, и вот я снова здесь, работаю в славном П/О «Сибэлектромотор», тяну с прибавочной стоимости (каковой в социализме нет!) квартальные премии, персональные надбавки, коэффициенты и ещё полставки за машинку, и весьма самодоволен.

Но что-то в последнее время не ндравится мне эта хлебная жизнь. Твержу днем и ночью из Багрицкого: «От чёрного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены...» и всё думаю: а что, если бросить всё, и уехать куда-нибудь далеко-далеко? Взял атлас и поглядел в просторы нашей безразмерной страны. Выбрал несколько дальних мест и принялся искать вакансии. Из Сахалина пишут: мест нет, только в районках, как то: в Аниве – в газете «Утро Родины»... Нет, ты вслушайся в название-то: «Утро Родины»! А? Не то, что какая-нибудь гнусная самодовольная «Ленинская (ли?) трибуна» из города (ли?) Татарского

Новосибирской области... Ну вот. Написал я Ермоленке (*наш сокурсник – А.К.*), справился. Он ответил, и пыл мой зело охладил: там убого, жизнь дорогая, культура на уровне питекантропов, климат плохой... Теперь сикурс мой изменился вследствие маневра на 180 градусов. А именно: хочу сбежать в мой любимый, родной, ненаглядный Казахстан. Куда именно? А всё одно, куда.

А не возникало ли и у вас, Андрей свет Иванович, такового желания: бежать без оглядки? Жизнь-то идёт. Глядишь – и внуками обзаведёмся – тут и крест несут с гробовыми досками. Вот тебе и пожил. Кроме комсомольских и партийных собраний – вспомнить нечего. Жутко. Вот и думаю я: пока ещё относительно молод, на подъём лёгок, и здоровье дозволяет, надо поездить, мир повидать (себя, однако, по возможности не показывать, не то, не ровен час, опять на собрание затащат!) Ась?

У Свининникова (*наш сокурсник – А.К.*) дом рухнул... То есть, ещё не рухнул, но уже пошёл трещинами и покосился. Райисполком не может расселить – там 13 семей. Жильцы по наущению Свининникова пишут слёзные челобитные в Москву. Ответа ждут. Дождутся – сообщу...

Итак, Андрей Иваныч, пиши! Жду страстно, упоительно, до онемения и затекания!!! Засим остаюсь вашим навеки преданным другом Смирновым С.Б.

22 авг. 85 г.

PS. Ермоленко шлёт вам свой каторжно-сахалинный пырвет! Владей оным!

Письмо 10.

Дорогой Андрей Иванович!

Получил твое тёплое письмецо, и оным быв весьма обрадован. Близко к сердцу принял ты наши нелепые устремления и трепыхания уехать куда подале. Спасибо.

Слышал я, что места ваши зело прекрасны, и климат потеплее, чем в наших краях. Но тут есть свои причины. Во-первых, как ты сам пишешь, с жильём тяжело. Во-вторых, я вовсе не тот деловой и писучий газетчик, которому все пути открыты, а, быв изгнан (практически так) из телевидения, шибко разочаровался в своих возможностях и способностях, посему и очень боюсь, когда кто-нибудь меня рекомендует в лучшем виде – не оправдаю, и опять начнётся травля и проч. Так то, Андрей Иваныч, упас тебя бог расписывать кому бы то ни было мои «прелести». Правда, я пока сижу в раздумьях. И потом – очень уж хочется к морю, а из Иртыша я в своё время нахлебался, шеломом испил (во время доблестной службы в СА). Ну вот. В этом смысле Дудинка (Таймыр) предпочтительней, там каждый человек на счету, и отношения между людьми теплее, заботливее. Но как подумаю – 240 дней температура ниже нуля – так вздрогну. Из Мангышлака пока ни ответа, ни привета, но я подожду. Хотя и тает моя решимость «побарать» плато Устюрт.

Ну, в остальном дела такие. Работаю потихоньку, зарабатываю на хлеб, с докой вожусь, читаю. Носился с идеей приобрести велосипед. Приобрел (старый). Он сейчас стоит у Свининникова в сарае. Сам Свининников собирается в новую квартиру (его старый дом разваливается на глазах, уже щели из квартиры в квартиру, потолок обваливается и пол).

Давеча с Арсеньевым (*факультетский товарищ – А.К.*) ездили за вином. Ох, страсти! Магазин окружён милицией, тут же дежурит «спецмедслужба», и которые не в себе – сразу их в фургон. Возле каждого продавца – тоже милиционер. Все мрачно, быстро, перепугано. Вот хорошо-то! Может, и выжгут калёным железом сие жуткое и мрачное дело – расейское пианство.

Погода стоит хорошая. Ходили вчера семейственно в лес, на Южную. В оном лесу детей оказалось больше, чем деревьев: все томские школы выехали. Игрища, вопли, крики из кустов, разъярённые учительки, подростки с пивом...

В общем, гульба шла жуткая. Насилу мы нашли местечко посидеть. А денёк был такой хороший, «золотая осень» и пр.

Ну вот. Пиши, Андрей Иваныч, может, ещё о какой вакансии услышишь, а? Так сообщи.

Будь здоров засим, и казахов не ругай. Кто виноват, что сии мудрые скотоводы оказались втянутыми в орбиту российской экспансии.

Засим адью.

Остаюсь Ваш

СмирноСБ.

22.09.85

Письмо 11.

Драгоценнейший Андрей Иваныч!

Получил твоё послание с немалым изумлением и даже некоторым испугом, но вот только что закончил чтение и пишу по горячим следам (покуриваю в ванной и пишу на коленях).

(...) Я по-прежнему тружусь в многотиражке, кстати, она весьма заслуживает внимания: в «Комсомолке» даже была перепечатка. Я не к тому, что горжусь своей газетой, усердно пекусь о престиже, и вообще корчу из себя трудолюбивого идиота. Просто иной раз жаль, что «нас» не очень-то стремятся читать. В том числе и подписчики, замечающие лишь опечатки и завёрстки, и каждый раз, в случае удачи (то есть обнаружения ошибки) сладострастно названивающие в редакцию.

Потихоньку пописываю. Ибо дело сие тайное, скрытное, кое требуется вершить в одиночестве.

Читаю (на это, благо, время есть). Намедни с восхищением перечёл «Историю одного города». Мощь!! Идиот Угрюм-Бурчеев говорит «с какой-то даже скромностию: «Идёт некто за мной, кто будет ещё ужаснее меня». А конец и вовсе восхитителен: «История прекратила течение своё...»

Ещё читал «Записки из мертвого дома» Дост. Вообще тянет на старое, незыблемое, подале от нынешних крикунов. Читал ли ты «Белку» Анатолия Кима? Зачти, не медли. Впрочем, начхать. Лучше почитать «Историю» Фукидида, альбо там поэта Державина (давеча перечёл и жутко восхитился. Жаль поделиться не с кем – с женой ныне опять сражения с применением всех родов войск).

Ну вот, такие наши дела. Водки нет. Никто не пьёт. Ну и хрен с ними.

Засим адью. Може, захочется, ещё напишу – вдогонку. Не печалуйся, Андрейша, пиши, дерзай партийну тематику, разоблачай негодяев, скрывающихся за святыми личинами коммунистов. Да здравствует новый курс! Ежли выживем – уютко что-нибудь построим.

Ну ладно. Пиши. Не принимай всерьёз окружающее. А также будь здоров.

PS. Подписался ли на «Трезвость и культуру» (кстати, сие – две вещи несовместные, как сказал поэт. Ведь культура – не помойка!). Я – подписался.

PPS. У Свиинникова рухнул дом. Все живы. Где сейчас обитает – не знаю. Может, в местах не столь отдалённых?..

И опять же – адью.

Смирнов СБ.

24 окт. 85.

Накануне 1988 года Сергей прислал мне Новогоднюю открытку:

«Дорогой наш Андрейша и все твоё многочисленное семейство! Дозволь прижать тя к сердцушку, облобызать и поздравить с началом конца! Да здравствует ускорение! Будь проклят идиотизм! Засим – удач, счастья, и пр. Сергей...»

Письмо 12.

Дорогой Андрей Иваныч!

Получил оба твои пакета, кои доставили мне, конечно, несколько приятных минут. Правда, огорчился я от сокращений – жалко, да что поделать: рассказ, действительно, большой, и без сокращений дать его было трудно. В общем, спасибо. Всяко приятно видеть конечный результат своей работы, которая, в целом, в общем и объективно никому не нужна... А что тебе сообщили на летучке? Что автор незрел?..

Сволочи. Не знаю, насколько можно доверять нашей могучей почте – не почитывают ли там нас? – но всё ж таки хочу сказать за перестройку. «Перестройку надо начинать с себя!!» - помнишь эту хамскую идею? А я думаю: вот и начните с себя, тем более, что от вашего свинства и проистекают наши злосчастия. Фигу! Опять начинают с нас. Валяйте, не жалко. Одобррям!! Ты как-то странно построил вопрос: сколь велика моя уверенность в благости и необратимости происходящего... А что, собственно, происходит? Что изменилось? Да ни черта. Очередной головокружительный виток демагогии, лжи, вранья. «Я не

верю в добро, я верю в доброту» (это из В. Гроссмана – не читал ли в № 1 «Октября»?) – это к вопросу о «благости». Ничто не благо, что связано с насилием. «Счастье придет исторически!» – это из Платоновского «Котлована», и провозглашает это онанист, подавшийся в руководящий аппарат. Самое паскудное, что огромная тьма народа плевать хотела и на перестройку, и на нас с тобой. Народ развращён и заражён стереотипами («душок антисоветчины!!!»), народ стоит в очереди за благами и больше всего опасается, как бы их из очереди не выпихнули. А то, мол, ещё резмигранты возвращаются («Изменщики! Пррредатели!!!») – и в очередь без очереди... как же! Колбасы на всех не хватит! Пуцай на Западе отовариваются! У-у, свол-л-лочи...

В общем, плохи наши дела. «Перемены в нашем обществе» благополучно приказали долго жить в октябре месяце прошлого года. Да туда им и дорога, переменам этим. Уважаю китайцев, у них есть страшно ругательство: «Чтоб вам жить в эпоху перемен!» Спаси нас, господи, от перемен... Особенно от тех, которые якобы для нашего блага.

Кучка дерьма приписала себе право говорить от имени народа, право казнить и милловать, право указывать, что вредно, что полезно, что «нам» надо, а с чем лучше погодить. В библиотеках – ошмётки литературы, на экранах – ошмётки киноискусства, на трибунах – насильники и лжецы. Куда уж нам дальше-то перестраиваться? Хватит, до точки дошли. А жить-то чем дальше, тем страшнее: «Недостаток меди в организме способствует росту злокачественных опухолей, а медь вымывается из почвы из-за неконтролируемого применения азотных удобрений, аммиака», – это из последнего журнала «Природа и человек» (кстати, рекомендую подписаться, если еще не...). Но – завтра будет лучше, чем вчера. Счастье наступит исторически...

Ну ладно, разболтался я что-то. Как бы чего не вышло. Ужо! Кажется, на твой вопрос я ответил достаточно откровенно. Хотя. «Не есть ли истина лишь классовый враг?» (Платонов, «Котлован»).

Пиши. Возможно, власть в нашей «Лит. странице» вскоре перейдет ко мне. Тогда и я постараюсь что-то сделать на конечный результат твоего труда, тем более, что три твоих рассказа меня необычайно порадовали, и еще тем более, что они у меня есть. Газета наша небольшая, но авторитетная в области, и тираж для районки нормальный – 15 тысяч.

До свидания. Сергей.
5.II.88 г.

Письмо 13.

Дорогой Андрей Иванович!

С прискорбием, а вернее сказать, с возмущением... Нет! С одобрением! Да! Именно! Весьма рад был услышать из-за снегов и гор казахстанских твой голос. Давно что-то ты не отзывался, а?

Рад узнать, что ты занялся наконец своими прямыми обязанностями – уничтожением культуры (это я так шучу... А кроме шуток – у нас разве существует культура? Отнюдь. Существует то, что можно назвать только бескультурьем. Следовательно, его-то и надо уничтожить!). Так и держи, пока не расстреляют – а что расстреляют – тут я не сомневаюсь. Судьба! Ну, ладно...

У меня тоже есть, отчего скорбеть. Повесть «Улица» включили в сборник фантастики томской, который будет горячо одобрен в 1989 году. А в ноябре у нас тут состоялся семинар якобы молодых литераторов, и на этом семинаре одобрили (и горячо одобрили!) твоего покорного слугу. Так и сказали: «одобррям!» Ну, в ноябре ещё в гласность верили, оттого и одобрили. А стишата были далеко не лирические:

«И вопреки партийным указаньям
возьмут вас черти и утащат в ад.
Но жутко думать: вдруг и там собранья,
где черти по бумажкам говорят?!»

Дорогой Андрей Иваныч! Ты меня несколько смущаешь своим пиететом (кажется, это так называется?). Право, мне удобнее было бы говорить на равных. Кстати, рассказы твои («Пепельница», «Поплавок» и третий, про свинец в волосах) меня потрясли, и по уровню они так хороши, что могли бы украсить любой из этих вонючих перестроенных журналов наподобие смердящего «Нового мира»... А, хрен с ним! Пиши и дальше, не сгибайся. Мы им всем ещё покажем.

На твою просьбу прислать что-нибудь для газеты отвечаю с горячим одобрением! Жаль только, что ничего нового в малом жанре (если не считать стихи) у меня нет. Шлю относительно новое. Оно мрачное, и, боюсь, не совсем сделанное. Ну что ж поделаешь. Если плохо – отпиши честно, подумаем, может, ещё чего найдём.

В общем, дерзай.

О других новостях. У нас тут после дождливой оттепели грянул моросс. Я чуть было не развелся с Ольгой (повторный суд в апреле). Ребенок растёт, а что меня в нём (в ней! в Анечке) не радуется – чересчур развитое чувство собственного достоинства. Это жизни не облегчит. Мы ведь к коммунизму идём. Вернее, «они» – кто-то – идут. А мы – их средство передвижения. Они так и говорят: человек у нас не цель, а средство. Б-р-р!..

(В общем, как сказал Шекспир, «О ужас, ужас, о, великий ужас!»)

У Сердюка (*наш сокурсник – А.К.*) родился сын Степашка. Оригинально. Как шутят в «Молодом ленинце» (*томская молодёжная газета – А.К.*) младенец родился, тут же и заговорил. «О! – поразился народ. – Вундеркинд! Гений!» Но ребёнок все говорил, говорил – умно, красиво, – говорил, говорил... И тогда народ махнул рукой: «А!.. Это ещё один Сердюк!..»

Ну ладно. Пиши. Будьте все здоровы.

Сергей.

Письмо 14.

Дорогой Андрей Иванович!

У меня такое подозрение, что ты не получил моего предыдущего письма с благодарностями в твой адрес и с проклятьями в адрес перестройки, а вернее, её исполнителей.

Ныне посылаю тебе твой шедевр в изуродованном, правда, виде. Прости – сократил я посмел сам, а уж правил без моего ведома мерзавец замредактора. Ну и хрен с ним. Все ж таки, надеюсь, тебе будет приятно. Хочу упростить Сердюка взять два других твоих рассказа в «МЛ». Напиши, может, у тебя есть возражения?

Кстати, обрати внимание на стихи на этой же «Лит. странице». Автора ты должен знать – он учился на филф на заочном. Стихи мощные, даже удивительно, как мне их не завернули. Сам Пименов, если ты помнишь, из компании Бруськи, Зуева, Митрофанова и Ко. Бруську мы уже напечатали – на всю полосу стихи. Стихи ужасно хорошие (*упомянуты старшекурсники, из которых Александр Пименов и покойный Владимир Брусьянин отметились позже серьёзными публикациями – Ред.*)

Ну вот. В остальном творится что попало. Пишу (пока пишу – надеюсь!), работаю, читаю. «Проспект» (небезызвестный тебе) берут в наше Томское издательство (в плане на 1990-й год). Я его сейчас переделываю, упрощаю, сокращаю. Вроде получается ничего (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).

Ну ладно, пиши. Будьте все здоровы. Поздравляю твоих с 8-м марта.

Сергей.

Письмо 15.

Дорогой Андрей Иваныч!

Получил твое письмо, когда уже отправил свое – с «Пепельницей». Да, я работаю в «Правде Ильича» вместо со Свининниковым (он меня сюда и соблазнил – квартиру, дескать, получишь. Всё получаю...) «Свинцовую голову» и «Поплавок» Сердюк взял, промлив, что не всё зависит от него (о господи! Если бы всё зависело от него – боюсь, нам в этом сердюковском мире окончательно не осталось бы места!). Так что остаётся лишь надеяться.

«Огонёк» мы тут тоже хватаем. Но с каждым номером журнал гнуснеет, мельчает. Скоро, видимо, и вовсе нечего будет читать (см., напр., статейку о городе Кедровом в Томской области – ни слова правды. Вот гады-то!).

Получил гонорар из Усть-Каменогорска, чему был несказанно рад. Весьма кстати. Водка-то нынче почём? Не знаю, как у вас, а у нас – 25 р. бутылка (цыгане торгуют, купить можно свободно в любое время дня и ночи). Я тут, честно говоря, немного запил... Ну, это временно и нестрашно: душа ещё пока живёт, и не водки страждет, а справедливости!!

Не подумай, что я твой гонорар пропил. Но пригодиться он мне пригодился, спасибо. За свой рассказ ты, к сожалению, получишь меньше... Масштабы не те!

Волнения в Нагорном Карабахе меня как-то не очень волнуют. Меня гораздо больше волнует деятельность «Памяти», коей, как выяснилось, принадлежат три столичных журнала – «Молодая гвардия», «Москва» и «Наш современник». Астафьев в «Москве» опустил до того, что слова евреи, гады и сволочи пишет под запятой. Ох, худо! Изничтожение интеллигенции всегда начиналось с уничтожения евреев... А при чем тут евреи?? Русский русского жрёт!

Перечитываю сейчас Дж. Джонса «Отсюда и в вечность». Замечательный роман, совершенно правдиво отражающий закономерность гибели в любом обществе порядочного, честного человека. И, кстати, в американской-то армии к людям относятся, судя по описаниям, куда человечнее, чем в нашей (судя по моим личным впечатлениям). Но опиши я собственную службу – кто и когда это напечатает??? Да ни один «Огонёк» не осмелится. А между тем именно в нашей армии очень наглядно проявляется наша «дружба народов» и «интернациональное воспитание». Чтобы решать такие проблемы, надо знать правду. А кто её у нас знает? Кому она нужна? Я был свидетелем того, как чеченец плевал в лицо казаку только за то, что несчастный гордился своим народом, своей принадлежностью к нему. При таком отношении к правде у нас ещё много, ох, много будет волнений на национальной почве!

В общем, куда-то меня не туда понесло. Да ну их всех!

До свидания. Пиши. Сергей.

PS.

Если нужны еще экземпляры «Пепельницы» – черкни.

Письмо 16.

Здравствуй, Андрюша!

Получил от тебя письмо и не без удовольствия зачёл оно. Спасибо. Посылаю тебе ещё одну газетку с «Пепельницей» – может, на что и сгодится?..

У нас полная весна, все течёт, все изменяется. Город окончательно стал напоминать клоаку. А тут ещё разные заботы навалились, доделываю «Улицу» и «Проспект», переписал уже по три-четыре раза, уже поташнивает от себя самого. И всё ещё не готово, ещё надо делать, а издательство торопит. Хотя, куда, кажется, торопиться? Год издания-то – 90-й. В Японии, говорят, за две недели рукопись в книгу превращают. Вот, гады, о людях-то заботятся! И в редакции сейчас дел много, а людей не хватает, приходится крутиться, и врать, врать, врать... Надоест иной раз, – напишу откровенно. А наутро в газете – глядь – совсем другое. Враньё то есть: шеф постарался. Я уж своей фамилией совсем не подписываюсь, всё равно чего хочешь, не пройдёт. Да ну их всех, сволочей! Главное, колеблет это сильно, от настоящего дела отвлекает. Я ведь из тех, которые всё близко к сердцу принимают. Правда, с редактором уже не спорю. Ни черта ему не докажешь, у него партийная закалка в 40 лет.

Ну, ладно. В мае у меня будет отпуск, собираюсь слетать в Ленинград, на могилу отца. Не знаю, получится ли, да и страшно по нынешним временам – вдруг, ещё кому-то в Лондон захочется вместо Ленинграда...

Ну а летом, видимо, буду работать, так что приезжай. Желательно, конечно, с «самым лучшим подарком». Ух, надраться бы!!!

Получить бы квартиру, а там бы я, наверное, в многотиражку ушёл: забот меньше, возможностей больше, врать меньше приходится. И зарплата там сейчас хорошая – 175 р. оклад (жена-то у меня больше 100 руб. домой не приносит). Ты меня извини за эти денежные расчёты, но я хочу на кооператив скопить – вижу, иначе до 2000 года квартиру не получить.

Ну, ладно, что-то я сегодня разнылся. Прости. Пиши. Может, что-то новенькое написал? Мне бы очень хотелось взглянуть.

До свидания.

Сергей

22.3. 88 г.

Письмо 17.

Здравствуй, Андрей Иванович!

Получил твоё письмо. Спасибо за добрые слова, за поддержку. Настроение у меня сегодня хреновое, ты уж извини (сегодня 1 мая, – а по престольным праздникам я всегда немного в трансе). Апатия одолевает. Всё мерзко и гадко, повсюду грязь, беспорядок, бессмыслица, проклятая Страна Наоборотия. А сейчас я и сам себя ощущаю ничтожным, лишним, ненужным. В бессмысленном мире и жители должны быть бессмысленными.

А тут ещё под руку попался «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (в № 4 «Иностранки») – и окончательно мне померзло. Куда там Хаксли до нашей действительности!..

Ты молодец, что за экологию взялся. У нас тут тоже борьба развернулась – по поводу строительства в Томске завода БВК (искусственного белка – слышал, наверное?). Ну, как сказать, развернулась. Одна наша районка и воюет – редактора (а сейчас замреда, поскольку редактора-таки довели до больницы) периодически вызывают то в обком, то на бюро райкома, где они пишут объяснительные. Зато «Красное знамя» («Чёрное Знамя!» Чёр-рное!!) и «Молодой Ленинец» как в рот воды набрали. И даже больше – отдельные так называемые журналисты до того проституировались, что новое строительство одобряют! Нет, не могу я тут жить, в этом свинстве. А где могу? В том-то и дело, что нигде.

К тому же ещё одно обстоятельство меня угнетает: особое рвение против БВК проявляют дураки и хамы. Устраивают какие-то бдения с чтением якобы запрещённых материалов, суеются, стучат кулаками по столу, рвут на грудях рубахи... Глядеть мне на них тошно. Отчего это так, Андрюша, что наибольшую активность в нашем мире развивают именно дураки? Отчего умные люди им это позволяют?.. Чёрт его знает. Сильны дураки. Ох, сильны!.. Хряснет кулаком по столу – аж подскочишь. А потом по ночам бессонницей мучаешься и сочиняешь в уме трактаты «О вреде дураков вообще и коммунистов в частности»...

(...) Тут еще одноклассник приезжал в отпуск – опять же два дня загула, падение с лестницы, обида жены и ощущение собственного идиотизма.

В общем, всё одно к одному. И, в довершение, праздник солидарности трудящихся... Посмотрел я по TV демонстрацию и окончательно с души меня своротило.

Да, прочитал я твой рассказ. Мне, конечно, очень понравилось жесточайше правдивое изображение наших школьных дел. Жаль только, не последовало логического завершения маразма...

Вообще, слушай, есть у меня идея. Что, если нам с тобой как-нибудь покумекать и написать сатирический роман из жизни коммунистов? Мне почему-то кажется, что силы на это у нас вместе хватит. Ну, не обязательно про коммунистов, – главное, мне бы хотелось направить бессмысленность нашего существования изобразить. Там может быть и школа, и армия, и завод, и даже вуз, и даже редакция. А? Напиши, как тебе идея. Главное, сверхзадачу поставить. Ради чего жить изобрести. А потом покатится...

Ну, о других делах. 18 мая всей семьёй думаем отправиться в Ленинград. 25-го обратно. Остальной отпуск, видимо, посвящу окончательной доделке «Легенды о механизме» (хотя кому это на хрен нужно??)

Ну, засим – адыю. Пиши, очень жду. 1 (нет, уже 2-е) мая 88 г.

Письмо 18.

Здравствуй, Андрей Иванович!

Получил я твоё письмо и несколько опечалился. Очень уже мне хотелось с тобой сотрудничать, тем более, что времена позволяют. Что будет дальше – сие мраком покрыто. Оруэлл и Хаксли приоткрыли завесу – ну, жуть. Написал я, следуя по их стопам, рассказец «На следующую ночь». Человек ночью сидит и ждет ареста. За ним приходят трое в плащах. Пинают: «Что, гад, Родину не любишь??» И уводят. Жена остается одна у окна, за которым – вымерший город, лишь где-то далеко, на заводе, лязгает железо. И кончается: «Страна ковала оружие. Шел суровый, полный борьбы и свершений, 2037 год». Хорошо получилось, честное слово. Всё выдержано, и коротко, и жутковато. Конечно, чтобы это напечатать, надо, по крайней мере, иметь связи с секретариатом СП. Ну, и хрен с ними. Надеюсь, не пропадёт наш скорбный труд... Так что зря ты так уж сразу отмахиваешься. Погоди, подумай. Может, и поможем людям. А что? Горбачёв, всё же, молодец. Первый

раз такого – и на таком месте – вижу... Кстати, давеча прочитал в «ИЛ» («Иностранной литературе») знаменательное рассуждение Б. Шоу (после его поездки в СССР в тридцатых годах): «Всякая успешная социальная революция заканчивается разочарованием и апатией тех, кто революцию производил». По-моему, схожие чувства были у Ленина... Ещё кстати – в той же «ИЛ» (№ 5) опубликовано письмо за моей подписью. Правда, скоты, вырезали целый абзац, где я ругал их за извращённую привязанность к Грэму Грину (может, он и великий писатель, но ведь что ни журнал в последние годы, то непременно Грэм Грин. Почему не Н. Мейлер, например?). Полюбопытствуй, если будут силы и желание.

А не создать ли объёмный и объективный портрет «революционера»? Заманчиво. Угрюм-Бурчеев, «истинный коммунист», воплощающий в действительность свою идиотскую фантазию. Бр-р! История, разумеется, прекращает течение своё...

Подписку Соловьева у нас, как сам понимаешь, распространили сугубо среди тех, кто его заведомо читать не станет: работников «аппарата» и их сподвижников из богомерзкого «актива». Булгаковым и Рыбаковым (как и «Бурдой») у нас тоже вплотную занимался обком. Трудился, видать, не покладая рук, потому что в продаже всего этого вообще не было (спрашивал у знакомцев, близких, а вернее, приближенных к святым книжным местам). Так что обеспечивают вас там, видно, считая за своих, «номенклатурных». Заслужили, наверное, а?.. У нас, правда, «краснознаменцев» тоже всячески подкармливают, прямо из рук. Дрессировка получается успешнее, чем у Дуровых.

Да, был ли ты в «Известиях»? Если был, напиши, в каком номере – нам недели две уже не приносят, чёрт их знает, почту, кажется, перестраивают.

Ну, ладно. Зачёл ли ты, наконец, Гроссмана?? А Шмелёв, подлец, в 4-м номере «Нового мира» экономически обосновывает (во даёт!) необходимость потратить все наши валютные запасы на приобретение в капстранах ширпотреба. Первое, говорит, деньги у населения выманим на перестройку, а второе, говорит, от пьянства отвлечём.

Ну, все. Будь здоров, пиши, до свиданья. Сергей.

Письмо 19.

Здравствуй, Андрей Иванович!

Во-первых, пока не забыл: не нужен ли тебе Булгаков томского производства? В сборнике «Белая гвардия», «Бег», «Записки юного врача» и «Ханский огонь». Обещают второй том с «Мастером...» Если нужно – напиши, я куплю и схорю до поры (в надежде, что ты всё же приедешь этак в июле. Кстати, в начале июля все мои разъедутся, и я буду в единственном числе).

Ну, во-вторых (раз уж так начал писать), посылаю тебе фото из славной моей поездки в Санкт-Петербурх. Мощно, что и говорить. Сказка, а не город. Жили почти в центре (две остановки от Адмиралтейства), рядом – Фонтанка (на фото она есть), дальше – Садовая (помнишь из Чуковского: «а она за мной, за мной, по Садовой, по Сенной...»?). Было очень тепло, мы даже босиком в Финском заливе постояли (другие купались). Каштаны цветут, в магазинах всё есть, на Дворцовой площади хиппи и наркоманы валяются, на роликовых досках катаются. Ни тебе милиции, ни перестройки, ни лозунгов, типа томских: «Томичи! Крепите организованность, порядок и дисциплину!» (Ну, идиоты, что тут еще сказать??) Одним словом, возвращаться не хотелось. Но пришлось. Сразу вышел на работу, и сразу же окунулся по уши в дерьмо. Поругался со всеми, с кем только мог. Тут некстати и партсобрание случилось. Ну, мне моча в голову ударила, когда меня в пессимизме обвинили, и понесло меня: вы, мол, лицемеры, циники, проституируете, Тезисы обсуждаете, – а кому это ваше обсуждение надо? Первый секретарь РК подотрется протоколом вашим, и всё... В общем, хожу теперь и боюсь: наверняка ведь какой-нибудь сексот донесёт. А тут квартиру жду... В общем, маразм сплошной, хоть давься.

Ну, и в-третьих, конечно. Письмо твоё я получил. Начало мне понравилось (кое-кому тут читал, проверил на публице – смеются, гады, весело им). Только начало ли это? Вставной эпизод скорее. А хотелось бы мне какую-то вещь сюжетную, со сквозным героем (фамилия вертится в голове – Бухалов), с идиотами, переходящими со страницу на страницу. В общем, надо бы это всё обмозговать. Давно, например, вынашиваю сюжет книги-путешествия. Наш «простой рабочий парень», а вернее, не рабочий, а так, не пришей рукав, отправляется в путь по нашей необъятной Родине – поездом, пешком ли, по всякому, с утилитарной целью – посмотреть, где и что, и сколько пьют. Через это путешествие можно

описать массу мест, где мы бывали, массу встречных персонажей – от депутатов до бичей. И кончить мой герой, конечно, должен печально, вроде Бендера – полной внутренней и внешней бессмысленностью. Ну, скажем, попал на психу или в ЛТП. В общем, простор тут огромный...

Не знаю, глянется ли тебе это? Тут попотеть придётся, потрудиться.

Ну, ладно. У нас две недели стоят холода и мерзость. Сегодня резко потеплело (до плюс 19), но мерзость усилилась. К чему бы это? Неужто к концу света?.. Как написал один наш молодой поэт, «Иоанн Богослов случайно окажется прав, и если Библию издадут не такими тиражами, как решения партийных съездов, – это ещё не значит, что конец света не наступит...» Молодец, парень. Фамилия его Батулин. Ещё из поэтического фольклора: «Будем откровенны, товарищи, – сказал Сталин и выстрелил в зал». Или ещё: «На столе у парторга стояла безделушка в форме Ленина». «Брежнев любил песню «Неси меня, олень» в исполнении магнитофона».

Ладно, в другой раз ещё напишу. Пока же будь здоров, пиши. Я.

Письмо 20.

Ужо тебе, Андрей Иванович!

Забывать ты стал старых друзей своих, томичами именуемых. Ну, да бог милостив, простит. Насчёт надписей: я слышал, кооператоры выпускают майку с надписью англ. буквами по-русски «Ты не прав, Егор!» Говорят, майки пользуются успехом.

Ремарк мне, конечно, очень и очень бы не помешал.

Кстати, наше изд-во в будущем году выпускает сборник Ахматовой – там почти всё, что опубликовано, в том числе и в последние годы («Реквием» и проч.). Если надо – черкни. Я всплакну – и вышлю.

Засим. У меня сейчас период застоя. Квартиру не дают, даже в кооператив не пускают. Так что хочется плюнуть на ихнюю власть и начать жить для себя. Сдал в изд-во роман «Легенда о механизме», – ответа нет. Боюсь, что приняли за ярую антисоветчину. И исчо боюсь, что если меня про то спросят, я не удержусь, скажу: да!! Лютый враг я ваш!!!

За этим может воспоследовать репрессия местного значения. А уж за ней – безвременная гибель «молодого, подающего надежды – да! Теперь об этом можно и нужно сказать!!» – и скажет так наверняка какая-нибудь гнида, иудушка.

Ну, ладно.

Живём по-прежнему тихо, глупо, гнусно, мерзко, отвратительно и даже мерзопакостно. По ночам хочется на луну повить. Квартиру надо!! Продамся за квартиру!!! Ни одна собака не хочет купить.

Ладно, на этом заканчиваю эпистола. Плюнуть, что ли, на редакцию, пойти в многотиражку?? Или ещё того лучше – в грузчики???

Присоветовал бы.

В общем пиши. Будь здоров. Второй том Булгакова за мной.

Сергей.

Письмо 21.

Драгоценный Андрей Иванович!

Вчера вручили мне твою бандерольку, я даже поразился, как это при втором этапе перестройки такой сервис возможен – бандероли домой носят. Спасибо, буду приискивать теперь всё ценное, что у нас выходит.

Ну, прочитал я твой материал про Тыцких. Сильный мужик, ничего не скажешь. А сколько полегло тех, кто послабже! Так и сгнули в безвестности. Их-то жалче.

(...) У нас ввели талоны на спиртное. По две бутылки вина на гражданина, достигшего 21 года, или же по одной – крепкого. И это, заметим, в то самое время, когда вся страна!.. Нет, пора с этими правителями что-то делать. Изолировать их, гадов, от людей – пушай в своём огороде экспериментируют, коммунизм созидают. Нет же, гады, не отцепятся. Впились, как клещи. Пиночет и тот демократично самоустраивается. Нашему

засранцу такое и в голову не придёт. Будут строить свой вонючий коммунизм до последнего человека.

...Про «себя не помнит» анекдот слышал? Ну, на всякий случай. Брежнев собирает Политбюро: Товарищи! На повестке дня сегодня один вопрос – о выведении товарища Пельше из состава Политбюро... Все: как так? За что?... Брежнев: Товарищ Пельше себя не помнит... Иду это я утром по коридору, а он навстречу. Я говорю: Здравствуй, товарищ Пельше! А он мне: А я – не Пельше!..

... Эх, ну почему люди не летают??

У нас всё по-прежнему, ждём старших представителей семейства, которые загостились в Анапе, в ожидании того, что я получу квартиру. А квартиру я не получаю. Так что вскоре ждём.

Погода хорошая, солнечная. Из города исчезли болгарские сигареты. Вообще. Наво-все. Перестройка, видать, вступает в решающий этап. Вскоре, наверное, вешать будут. Скорей бы, а?

Пишу «документальную повесть» об армии. Безо всякой надежды, конечно, на публикацию. Слишком уж много там мерзости, самому тошно. Ну, посмотрим, что выйдет.

Вот, кажись, и все мои дела. Если... В общем, не пойти ли в монастырь? «Сие же и монаси приемлют!». А впрочем, монастырь – не помойка.

Ну, ладно, пиши, будь здоров. Пришли, что ли, фотографию? А то давненько я тебя не видел. Небось, старый-старый...

А, ладно. Пиши. Я.

Письмо 22.

Здравствуйте вам, драгоценный Андрей Иванович!

Получил ваше письмецо со вложенной рукописью, и не медля же ни зги засел за ответ. Новостей у нас, правда, кот наплакал. Анютка 10 дней пролежала в больнице, одна, без мамы – обследовали на предмет пиелонефрита. Вроде, не нашли (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!). Приехали представители старшего поколения собачьего рода, т.е. маман с дедом Булавиным. В квартире стало ужасно весело. В туалет – очередь.

Погода, опять же, дрянь. Прочитал Домбровского и Гинзбург, и на душе померзло. А Свининников вступил в партию...

Тут надьсы (или ономясь??) приезжала Оля Макарова (*наша сокурсница – А.К.*). Всплескивая толстенькими ручками, рассказывала, как прекрасно жить в Гродненской области БССР, где она и обитает ныне. Всё у их там есть, прямо кошмар. Я говорю – неужто и презервативы есть?? А она: есть!! Ну, тогда заказал ей книжек, и что ты думаешь? Не далее, как вчера пришла бандероль, в коей Г. Маркес «Сто лет одиночества» и «Полковнику никто не пишет», и большущий том Цветаевой Минского издательства. Ну дает, Макариос! Кстати, работает она в районной газете в городке Мосты, пишет сугубо на белорусском языке, знание коего и продемонстрировала, взяв нашу газету и зачав тут же не сходя с места переводить передовицу с русского на белорусский. Очень смешно. И русский-то с трудом терпит басурманские термины вроде «семенного цеха» или «среднесуточной продуктивности», а уж по-белорусски это и вовсе звучит дико. О, варварская страна! Полюбуйся на обнажённые ягодички, как говорили в Древнем Риме!..

Ну, рассказик этот я отдавал нашему редактору и в «Ленинец», однако никто не проникся. Ну и хрен с имя.

О повести из военной жизни. Называется она (пока) «Мой маленький солдат» (слова Ремарка из «На Западном фронте...», эпиграф оттуда же, и еще один, из Барто: «Скучать по Казахстану не буду, перестану...»).

Написал более 30 страниц на машинке, и понял, что не так и не то. Начал переписывать. Написал пока 7 стр. Всего же будет, по моим подсчетам, около 190–210. Одно только мне настроение портит – хоть Семипалатинский полигон (где я и служил) рассекретили, но цензура такового произведения в печати не потерпит. Слишком много грубости и жестокости, хотя военных тайн я, по причине их незнания, не раскрываю. Вот такие дела. Конечно, мне было бы лестно опубликовать парочку отрывков в любимом мною Казахстане, где лучшие годы прошли (я имею в виду детство, а не только юность). В общем, когда напишу побольше, попробую что-нибудь выбрать для тебя.

Давеча редактор издательства спустился ко мне с небеси (их резиденция над нами, на втором этаже) и сказал, что мой роман на предмет постановки в план будет рассматриваться после праздников. Ну, лишь бы они на праздниках закусывали – а то с похмелья не до романа будет. (Роман все тот же – «Легенда...»).

Писал ли я тебе, что у нас ввели талоны на спиртное? Ну – осчастливили! По бутылке на рыло в месяц! Пусть сами в таком количестве пьют, скоты. Что мы им, детсад, что ли?? Доколе издеваться будут?

Тут Костя Горев (*наш сокурсник – А.К.*) приезжал. У него жена со вторым дохаживает. Многодетный папаша выискался. Выпили мы с ним один (мой) талон, потом у частника купили бутылку водки (такса – четвертак), выпили, и он уехал. Нос у него стал ещё кривее, взгляд – безумней.

Вот такие дела. Ну, ладно, заканчиваю. Будь здоров, успехов на новом месте. Пиши. Я.

Новогодняя открытка.

Дорогой Андрей Иванович!

Сугубо поздравляю тебя и семейство с наступающим праздником, желаю здоровья, успехов на работе и в быту! Пиши! Я.

Письмо 23.

Драгоценный Андрей Иванович!

Получил твой подарок, большое спасибо. Жаль, что в бандероли не оказалось письма. Я ж тебя порадовать пока ничем не могу. Ни черта хорошего не попадается, да и наше Томское издательство ни черта не издаёт. (Меня, к примеру. Гм!..)

Жизнь у нас по-прежнему мерзкая. Ходил я в кооперативную поликлинику, к урологу. Он вывел показания к операции, и я вот уже месяц в тоске. Ибо не хоцца отдаваться этим врачам-вредителям. А может, кооперативно меня и полечат?.. Чёрт знает. Идти же пока боязно. Кроме того, он сказал (вредитель, то ись), что есть подозрение на туберкулёз почки. У меня на его счёт тоже есть кой-какие подозрения, но я промолчал.

Впрочем, это не суть важно. Закончил я свою армейскую повесть, отпечатал три экз. Надо бы больше – хоть в «Знамя», что ли, послать. А теперь перепечатывать неохота. Отдал её в издательство, но результатов пока нет. Одни обещания – мол, попробуем вставить вне плана, и т.д. Может, правда, может, врут. А может и не врут, да у них ничего не выйдет. Больно уж много там изнанки нашего стройбата.

Работаю и мечтаю смыться из этой провонявшей цинизмом и блядством редакции. Квартиру не дают, жду кооператива (если в очередь поставят), но и срываться отсюда тоже боязно. Дважды уже с квартирами пролетал – на ТВ и на «Сибмоторе». Только увольнялся – и начинали квартиры давать. Чёрт бы их побрал.

Читаю что попало. И всё ерунда. Кажется, самое великое из всего, что прочитал за эти два года, это «Бесы» Достоевского. И про Сталина уже надоело, и про остальную сволочь. Что с них взять? Политика. Думаю теперь, как западные «борзописцы» (выражаясь «правдинскими» формулами), что художник должен быть вне политики, и что политика – грязное дело, всегда и везде.

Погода у нас мерзкая, как и обычно. Морозов ещё не было, в новогоднюю ночь с крыш текло. Кстати, и новогодний праздник прошёл отвратно. Выпили с женой, потом я стал с котёнком играть, и он, проклятый, все руки мне когтями исполосовал, до крови. Забинтовался, и спать лёг. Вот и весь праздник. А тут ещё мысли о болезнях всё существование отравляют. Дамоклов меч над головой. Подумаешь – и напиток охота.

У Бруса погибла жена – под автобус попала. Он отвёз пацана к теще, а сам собрался на север, в Ванавару, к брату. Брат приехал – точная копия Бруса, просто удивительно.

Сердюк-младший собрался покинуть «Ленинец» и перебраться в кооперативный журнальчик «Томский зритель», который готовится к выходу под эгидой областного отдела культуры.

Ну, что ещё? Пьянствовал. Много смешного, да всего не опишешь. Как ты там, собкором? Написал бы чего. Ну, привет семье. Будь здоров. Сергей.

Письмо 24.

(Это письмо напечатано на машинке на бланке газеты «Правда Ильича», являющейся органом Томского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов).

Здравствуй, Андрей Иванович!

Что-то давненько я тебе не писал, да и ты, впрочем, отнюдь меня не радовал. Видно, заработался на новом месте, а может, просто оказался в числе поражённых демократизацией и облучённых лучами гласности.

Ну, у нас тут всё по-прежнему, если не считать, что природа сбесилась маленько, и уже не поймёшь, в какое время года выходишь на улицу: не то зима, не то вечная весна. Кажется, земля поменяла свои полюса, впрочем, всё это ерунда по сравнению с «Чонкиным» в «Юности».

Вообще-то я к тебе пишу не просто так, а со значением. Дело вот в чём. Закончив повесть о стройбате, стал я думать, как бы ее пристроить. И надумал послать тебе. Во-первых, чтобы поделиться, а во-вторых, чтобы ты попытался передать ее в «Простор» (кажется, так называется казахстанский лит-худ журнал?). Тому несколько причин. Одна – что повесть эта до центрального издания, пожалуй, не дотянута. Второе – речь в ней идёт о Казахстане (ядерный полигон в районе Семипалатинска, впрочем, полигона там и близко нет, а описывается лишь гарнизон) и о казахах. И третье – детство моё розовое прошло в Казахстане, под Карагандой. Там и брат мой живет сейчас.

В общем, я хотел бы, чтобы ты мне внятно ответил – возможен ли такой ход (поскольку, к тому же, ты нередко теперь должен быть в Алма-Ате, или нет?).

Засим кончаю – нет никакой возможности писать, редактор висит надо мной, и даже бланком его трудно отогнать. В общем, будь здоров, пиши. Сергей.

Письмо 25.

Здравствуй, Андрей Иванович!

Получил твоё письмо и скоропостижно строчу ответ, каковой намерен вкуче с бесмертной рукописью отправить тебе.

Посылаю 2-й экземпляр. Ты-то меня простишь, а как они? Дело в том, что первый экз. – в издательстве, они его крутят-вертят, рецензируют, и обдумывают, что им за это будет. Особенно, если учесть последние события – нашего «избранника народа», 1-го секретаря обкома, который баллотировался в гордом одиночестве, не избрали. На что он заявил: «Перестройка к нам ещё не дошла. Народ ещё надо учить политически...»

В чём будет состоять сия «учёба», кто знает??

В общем, если «они» (т.е. в «Просторе») смогут – прочитают 2-й экз. Если нет – возьму 1-й в издательстве и перепечатаю ещё раз, хоть меня уже и тошнит: трижды перепечатывал.

Ну, ладно. Пишу в антигуманных условиях, а посему не в силах продлевать пытку (телевизор сбоку, Анечка с другого, жена – со спины, и ещё телевизор орёт из комнаты матери).

Кстати, в Томск – всегда милости просим. Хотя бы и ко мне одному. До свиданья, Сергей.

Письмо 26.

Здравствуй, Андрюша!

Вчера я не смог подробнее написать тебе (в письме, приложенном к рукописи) о том, о чём хотел. А хотел я предварить «рукапись» кое-каким рассуждением.

Значит, так. В повести нет ни одного вымышленного события или персонажа. Нет и выдуманных фамилий – все лица реальны. Служил я в 1976–78 годах поблизости от рассекреченного уже «полигона в районе Семипалатинска», как в газетах пишут. Но ни к каким военным секретам отношения не имел, и иметь не мог.

Это в смысле военной цензуры – цепляться ей, вроде, не к чему. Единственно, атмосфера изображена не самым светлым образом. Правда, скажу тебе по секрету, самое

страшное, мрачное, тяжкое оставлено «за кадром» – я просто не в силах был описать, как один дед на моих глазах пытал (в буквальном смысле) какого-то несчастного казаха. Это вспоминать слишком мучительно, и ещё потому, что я-то тогда относился к этому не так, как сейчас, я всё-таки был интегрирован в эту среду, худо-бедно, но приспособился к ней, и на многие дикости смотрел как на нормальные явления. Может быть, именно об этом и стоило написать?.. Не знаю, ещё не всё во мне улеглось. Когда-нибудь и напишу обо всём, что видел, что знаю.

Останавливает меня и «национальный вопрос». Не всё ещё мне тут ясно, и не могу я обвинять всех чеченцев в жестокости и варварстве – я-то видел не всех, наверное, среди них, как и среди русских, есть и подлецы, и мученики.

Вот, кажется, всё, что я хотел сказать о повести. Мне бы очень хотелось узнать твоё мнение.

Ну, у нас тут всё без изменений. Погода тёплая, свиньи торжествующе барахтаются в грязи. Снег стаял, мерзость вытаяла. Дерьмо плывёт.

Ох, как мне обрыдла моя редакция, кто бы знал! Это прямо кунсткамера какая-то. Свиньи рыла. Хорошо бы о них роман написать. Вроде «Гулливера в стране гуингмов».

Ладно, настроение у меня сегодня паршивое, неприятностей много.

Пиши. Сергей.

P.S. (от руки)

На рукописи нет моей фамилии и адреса. Надо ли? Поставь, пожалуйста, первое.

P.P.S.

Почтой, конечно, чтобы быстрее. Очень уж не терпится узнать, пойдёт ли. Если нет, буду пытаться в центральные журналы... Или не стоит? Напиши.

Письмо 27.

Драгоценный Андрей Иванович!

Получил от тебя вчера письмо, слишком для меня лестное. Конечно, радовался целый вечер, но радость пошла, видно, не к добру – зачихал, закашлял, нос раздулся, как груша, в грудях что-то забулькало, и вообще стало омерзительно. Еле встал сегодня, и даже подумал с грустью: а хорошо бы так и спать, не просыпаясь.

Хоть я и понимаю, что ты меня перехвалил, и что в повести ещё достаточно такого, что надо переделать, а всё-таки приятно.

В «Ленинец» я попал случайно, там «Лит. страницу» захватила банда сильно молодых и некоторым образом сильно неприятных пиитов, из которых называться поэтами могут только двое – Макс Батурич и А. Филимонов. Кстати, стихи Макса обещает «Юность» в девятом номере – полюбуйтесь. Банда эта никого из посторонних не принимает, печатается сама, и в основном гонит лажу. Пока таковой бандитизм будет существовать (а он существует при каждом издании, от многотиражек до толстых журналов) – поэзии читателю не видать.

Ну, дай-ка и я тебе между делом напишу анекдот. Помирает старый бандеровец, собирает сыновей и кричит: «Сыны! Моя последняя к вам просьба: хочу помереть коммунякой...» Сыны в ужасе: «Батько! Да ты чего? Ты же их столько пострелял, перевешал!» А дед уперся: «Хочу, – говорит, – коммунякой помереть и точка!» Делать нечего, сыновья на коней, и в райком. Хватить первого за бока, вместе с портфелем, через седло, и айда обратно в село. Прискакали, привели секретаря к постели, обрезы в пузо: «Пиши батьку в коммуняки!» Секретарь партбилет новый достал, написал. Батько билет взял, прочитал, глаза закрыл, успокоенный: «Ну, все, сыны. Помираю. Одним коммунякой меньше...»

У нас тут опять началась предвыборная кампания. Лично я пойду голосовать за Сулакшина, который требует многопартийности. «Красное знамя» его мерзко так отстегала, и тем самым только повысила. А первый снова баллотируется. Ну по пословице: хоть ссы в глаза – все божья роса. Извини, конечно, за грубое слово. Правда, на этот раз не один.

Сулакшину же дали слово в «Кр. Знамени», И он написал: я удивляюсь, мол, как это «Кр. Знамя» до сих пор от стыда не покраснело.

Мне пообещали вроде кооператив. Но, говорят знающие люди, раньше 91 года дом не построят. Сейчас думаю, где денег взять. Надо 3300 – первый взнос за трёхкомнатную.

Видно, жена поедет к теще занимать. Тёща-то хорошая, да болеет, и не богатая, на пенсии давно, а тесть – бухгалтер.

Ну, снова о повести: я согласен заранее со всеми шагами, которые ты сможешь предпринять. И заранее благодарен. «Смена» – так «Смена», «Арай» – так «Арай». Боюсь только, как бы у вас Карабах не начался. В Грузии-то вон что! А эти засранцы всё про Намибию нам толкуют... Да пропади она пропадом эта ваша Намибия! Тут в Тбилиси столько людей задавили, а в Норвежском море 42 человека утопло – и хоть бы фотографию одного показали, сволочи. Вот Намибия – другое дело! Тут нам ежедневно этих чумазных кажут.

Я тут недавно в церкву ходил, в воскресенье. И несколько дней ходил под впечатлением. И теперь у меня мечта – хорошо бы, если бы нашей церкви дали один телеканал, а? Ведь это ужас как хорошо!..

Ну, ладно. Ещё анекдот (тоже из старых). Почему Брежнев встречал гостей в аэропорту, а Черненко – только в Кремле? Ответ: потому что Брежнев был на батарейках, а Черненко – от сети...

Ну будь здоров, пиши. До свидания.

* * *

Проницательно писала о Сергее, когда все мы ещё были вместе, Ольга Макарова:

«Почему он хочет казаться хуже, чем есть на самом деле? Ему жалко всех нас. Я чувствую себя маленькой с ним – глупой, бестолковой. Он не колеблется в основном. Он верит или не верит. Ненавидит или любит. Интуитивно: он сопьётся...»

Через тридцать лет после нашего выпуска, когда уже не стало Сергея, Ольга так откликнулась на его письма ко мне:

«...Сегодня прочла. Хочется помолчать. Ты это очень хорошо сделал, что сохранил переписку. Светлый образ Серёжи в письмах оживает. Господи, почему так тяжело живётся тем, кто делает это всерьёз. И так легко тем, кто абы как. Каждый выбирает по себе, если, конечно, выбирает. Как выясняется, для этого нужно понять, на что уходят годы... А когда ты готов к выбору, то, получается, что должен уметь то, чего не умел ранее – прощать, принимать себя с миром..

В пятницу наша редакция переехала и теперь располагается на возвышенности, на окраине города, откуда всё как на ладони, на 180 градусов море, бухту и корабли на рейде. Живой пейзаж истинной жизни. Не грусти. Обнимаю, жму лапу. Оля».

В одном из своих писем Сергей рассказывал о мечте жить у моря, как Александр Грин, писатель, которого он любил, которому, возможно, подражал. Он называл его своим старым учителем.

Публикация подготовлена при содействии Владимира СВИНИННИКОВА

Владимир Крюков

СЛАВА ТЕБЕ, ОБЩЕЖИТИЕ!

Всякий раз, уже много-много лет, когда я выхожу зимой во двор и вижу свежевывпавший снег, картина озвучивается незабываемой песней.

*Посмотри, посмотри –
Сколько снегу выпало.
Это нашу любовь, молодую любовь
Замело, засыпало!*

И вижу, как лужёными глотками самозабвенно орут это мои молодые товарищи, как Витя Зайцев бьёт наотмашь – как он это умеет – по струнам своей испытанной гитары.

Вот такой зачин хотел бы сделать я к моим заметкам о студенческой поре.

С людьми разного возраста делился я одним соображением: «Может быть, для нынешнего студента придумать какое-то иное определение, типа *ученик высшей школы*, хотя бы?». Со мной, посмеиваясь, соглашались – всерьёз, понятно, никто не принимал. Да и мне самому ясно, что так оно и останется. Но жаль мне, жаль этого слова – Студент. И как обозначать им идущих впереди меня по направлению к главному корпусу университета особой мужского и женского пола, *спокойно и лениво* пересыпающих речь матерными словами? Не от потрясения или избытка эмоций, просто так. Как называть студентами великовозрастных весельчаков, прущих коридором главного корпуса, *не снимая шапок*?

До сих пор меня коробит, когда любимый университет как на блатном сленге предстаёт *универом*. И тоскливо ноет в груди, когда на мой вопрос, знает ли он университетский гимн, студент отвечает вопросом: «А это надо?».

Понимаю, что легко изобразить мои печалования просто старческим брюзжанием. Не спешите.

Пришла такая пора. Я ещё жил в привычной обыденности, ходил в школу, общался с друзьями, учителями, соседями. Но уже устремился куда-то дальше, в другой мир. Я не знал его, не видел, каким он будет, но ту действительность, где жил, будто уже покидал, слишком она была будничной, даже пошлой.

Ничего определённого впереди, повторяю, не виделось. Но как-то у одноклассника встретил его старшего брата с товарищем. Из города они приехали на гоночных велосипедах, загорелые, лёгкие, резкие в движениях, говорили весело, остроумно. Они были *студентами*. Этого мне вполне хватило. Когда мы писали сочинение на тему, кем хочу стать после школы, я написал просто – Студентом. Больше конкретности не было.

Я побывал в общежитии у этих *корешей*, как они сами себя называли, услышал Окуджаву. Да, выбор сделан. Ребята занимались физикой, электроникой. Это никак не совпадало с моими умственными возможностями. Кто-то из старших, знакомый с моими сочинениями, сказал, что есть институт, где учатся, чтобы стать писателями. Не хочу показаться умнее, чем есть, но идея *учиться на писателя* и в ту пору показалась мне дикой и несообразной. Вскоре узнал про гуманитарные факультеты, где изучают языки и литературу для будущей работы в школе, архиве, газете, библиотеке. На том и остановился.

Сегодня в пригородное Тимирязево маршрутка доставит вас в четверть часа. Слышу в автобусе, как девчонка лопочет в телефон: «А я в Тимирязево еду к Веронике на дачу погулять, отдохнуть». Когда-то, столетие назад, его и называли Дачный городок. Жили там летние постояльцы, обитатели скромных домиков. Сегодня посёлок стал пристанищем новых хозяев жизни в изрядном количестве. Их особняки, обнесённые, как правило, высокими кирпичными заборами, решительно изменили облик моего посёлка. Нет больше старых тупичков или, наоборот, сквозных переулков – всё, что можно, перегорожено и оттяпано.

Неужто в пору задним числом пожалеть о заповедной тишине и милом запустении? А вспомни, как мы добирались до города, лежащего на расстоянии вытянутой руки. Во-первых, ледостав и ледоход прерывали наше сообщение. Во-вторых, даже когда устанавливался так называемый понтонный мост, самое надёжное – это пеший ход. Автобус к нам не ходил, упросить водителя дальнего рейса «подбросить до Городка» трудно, если у него под завязку пассажиров. Случались удачные вояжи – туда и обратно на грузовике, который идёт в город со своими целями, а тебя и приятеля по доброте прихватывают.

Ещё ближе было зимой по льду через Томь. Тропа выводила в центр города. А обратно – прямо к Нижнему складу. Сегодня одно название осталось. А во времена леспромхоза это был натуральный Нижний склад, в ранние зимние сумерки ты безошибочно выходил на свет его фонарей на столбах. Ну пару раз в зиму смотаться в Томск ещё ладно. Помню, мы как-то втроём, впятером ли в шестом классе ломанулись в кинотеатр имени Горького на «Трёх мушкетёров». А если нужно чаще? Да что там говорить! Но иначе (при нынешней доступности посёлка) разве получил бы я место в общежитии? Однозначно, нет. И лишился бы одного из самых дорогих подарков жизни.

В силу таких природных причин в городе, отстоящем от нас на какие-то шесть километров, бывал я считанное количество раз. Знал, где расположен университет, уже упомянутый кинотеатр. Так что я открывал Томск так же, как ребята, приехавшие из городков и сёл, расположенных за 300–500 километров отсюда...

Поступал я в старейший университет Сибири в 1966 году. В тот год в стране оказалось выпускных классов в два раза больше, чем обычно. Переходили на десятилетку, и здесь мы были первыми. Но был и последний выпускной «по-старому», то есть одиннадцатый.

При том взращённом в обществе престиже высшего образования конкурс в вузы был огромным. Помню, некоторые ребята изменили свои планы и даже «не рыпались», реально оценив свои способности и решая провести год на производстве, чтобы прийти следующим летом. К тому же рабочая характеристика не повредит.

Я подал заявление на историко-филологический факультет.

Экзамены сдал неплохо, но для того особого года и не блестяще. Набрал 18 баллов. Причем непрофильные для филологического отделения немецкий и историю сдал на пятёрки, а сочинение и литературу устно на четвёрки. Это, собственно, был проходной балл. Далее смотрели и сравнивали характеристики. Мне кто-то намекнул, что у меня есть шанс, потому что я – мужчина. Парней, сдающих на филологическое отделение, было наперечёт. Я нашел себя в списках принятых.

С новообретенными друзьями мы потянулись в общежитие на Ленина, 49 отметить событие. На лестничной площадке стояла высокая и приятная на вид девушка-блондинка. Вдруг она как-то выделила меня из нашей вереницы и закричала злым, срывающимся голосом:

– Ну что, радуешься, что лыбишься? Поступил, видать? Ну и х... с тобой!

Я увидел, что она пьяна. Валентина поступала уже не первый раз и опять в тот год обломилась. Через несколько лет я познакомился с нею. Она окончила факультет заочно. Но в общежитие на всякие богемные сходки приходила. Это ей Федя Госпорьян (о нём позже) читал своим поставленным бархатным голосом Блока:

*Валентина! Звезда! Мечтанье!
Как поют твои соловьи!*

С его лёгкой руки она и получила это красивое, звучное имя – Звезда.

На первом курсе места в общежитии мне не досталось. Отец привез меня определить на квартиру к своему старому знакомому – дяде Мише, молдаванину. Жил он на середине проспекта Фрунзе, до университета недалеко. Сам дядя Миша ночевал в комнате, мне определил место на кухне. Но за круглым столом в своей комнате заниматься разрешил. Боковина печи нагревалась плохо: то ли колодцы забились, то ли незадачливость конструкции. И чтобы прогреть комнату, он хорошо протапливал печь. На кухне стояла непривычная для меня жара. Вечерами – раза два в неделю – к дяде Мише приходил приятель, и они резались в карты. На деньги, но по-маленькому. Когда из Молдавии доставляли вино в рамках

кооперативной торговли, сопровождающие останавливались у дяди Миши. Тогда игра шла азартнее, ставки повышались. Немало было и дарёного вина – несколько бутылок полагалось «на бой», но экспедиторы были бережливы. Вкусное и ароматное вино называлось «Фрага». Я приглашался к столу, пил, но играть не научился. Отворачивался к стене и не сразу засыпал под восклицания картёжников.

Следующий учебный год я встретил в общежитии. Проспект Ленина, 49. Комната 4-7, что значит седьмая на четвертом этаже. Время во многом неповторимое. Во-первых, нашими соседями снизу были химики, сверху, на пятом этаже, математики. Такое соседство повышало нашу значимость. Без всякого понта скажу: технари тянулись к нам. Во-вторых, наш факультет тогда ещё не был раздроблен на два. В комнатах историки и филологи жили вперемешку, и было это на взаимную пользу.

В нашей 4-7 филологи преобладали. Комната была на восемь человек, кровати располагались в два яруса. Мы с Володей Лосевым были салаги – второй курс, потому занимали верхние места. Впрочем, старшекурсник Володя Бахтин составлял нам компанию и обратил наше внимание на выгоду положения: наши постели никто не сминал (приходящие в гости садились на кровати, стул был всего один, да больше и не поместилось бы).

Феномен общежития требует целого очерка, эссе, обзора. Я сочинил панегирик в стихах под названием «Общежитие» (1971 год).

*Слава тебе, Общежитие!
В каждой судьбе – этажи твои.
Славьтесь, площадки и лестницы,
Где наши песни плещутся,
Где мы проходим разные –
Утренние, вечерние,
Где мы проносим радости,
Сомнения, огорчения.*

Интересные ребята жили в нашей комнате, замечательные каждый по-своему.

Изящный, subtilный Володя Бахтин. Мы видели его красивое лицо строгим и сдержанным в зале Научной библиотеки, в коридорах учебных корпусов. А в комнате общежития он преображался и, строя лукавую гримасу, восклицал с паузой и пафосом, переходя на страстный шёпот: «Женщина... это – хорошо!». И следом заразительный смех. Володя был автором стишка из одной строки: «В гробу лежал утюг мятежный», очень ценимого нами. Всё время чист, аккуратен, подтянут. Жил он почти на одну стипендию, от старшего брата иногда перепладала десятка переводом.

Моим героем был Толик Леминский. Искренний, порядочный, надёжный человек с даром художника, первый строитель Нефтеграда (потом город назовут Стрежевой). Эти ребята составляли особое братство. У них, целинников, были свои, фирменные, алого цвета рубахи. В их разговорах-воспоминаниях возникали замечательные фразы, как не вовремя «*разулся трактор*» (то есть порвал гусеницу, трак), как тяжело далась первая *лежнёвка* (дорога по болоту из спиленных и уложенных поперёк стволов). Притом в Толике не было пресловутой мужской суровости. Именно он рассказал мне историю, как у себя в саду Всеволод Гаршин перегородил камушками дорожку в том месте, где её пересекала муравьиная тропа, чтобы идущий перешагнул, не причиняя им вреда. Толика отличало непосредственное импульсивное восприятие жизни. Хорошо было с ним гулять. Мы с полуслова понимали, на что стоит обратить внимание. Солнце в сети ветвей, девушка, стакан абрикосового сока – всё это имело большое самостоятельное значение. Не более того, но и не менее. Так называемая конкретность бытия. Это мне и посейчас близко, а тогда признавал только такое свежее и чувственное восприятие. Это внимание к пустякам, уверяют умники, помешало выстроить или увидеть настоящие долгосрочные ориентиры. Может быть, что-то в этом есть. Но опять же, не знаю, что за ориентиры они имели в виду. Да, эти годы не вывели к порогу свершений и побед, не научили избирать важную цель и достигать её. Что ж теперь делать?

В ту пору я не знал, как у меня всё сложится в будущем. Наша общность несерьёзных людей не могла дать чего-то серьёзного. И все-таки это незнание (и моё, и товарищей) было дороже, чем установки тех, знающих *наверняка*.

Мы проводили массу времени в своей Научной библиотеке (научке). Там я расширил диапазон независимо от программы лекций и семинаров. Там читали мы Мандельштама и Волошина, Кузмина и Гумилёва, Мережковского и Ремизова, там открывали подшивки «Вестника Европы» и «Русских ведомостей», альманахи «Шиповник» да мало ли чего ещё. В некоторых журналах были переводы Ницше и Шопенгауэра, оттуда мы получали некоторое представление об этих ярких философах, а книги их тогда были заперты в спецфонд.

Но книжное знание как чисто арифметическое накопление никогда меня не привлекало. Холодные, учёные рассуждения оставляли равнодушным. Если это не задело твоей души и не помогло создать какой-то чудесный сплав, зачем что-то вычитывать и запоминать. Именно по этому критерию и шло (для меня) распознавание *своих*.

Помню неистовый спор Толика с одним ортодоксом. Помню последние слова моего друга, исчерпавшего запас аргументов: «Да Пикассо! Да я! Да пошел ты на...». Помню и стойкое хладнокровие собеседника. Впрочем, какой там собеседник, лучше обозначить казенным «оппонент». Он умел держать паузу, быть пафосным, ироничным. В таких ситуациях он оттачивал своё мастерство. Но с того спора он перестал меня интересовать, а Толик стал ближе. Не подлежало сомнению первенство искренности в тогдашней системе ценностей.

В послестуденческую пору я приезжал в училище на Каштаке, где на уроках моего друга можно было поговорить с учениками «о Шиллере, о славе, о любви», то есть о стихах, о поэтическом восприятии мира.

Не раз слышал я от него фразу: «Сибирь – место временного проживания человека», но не придавал ей значения. А он взял да и свалил в места, отхваченные у немцев по окончании войны. Аж под Кёнигсберг, в не менее знаменитый Тильзит, для нашей имперской убедительности переименованный в Советск. Это надо же такое имечко найти! Чтобы уверить своих и чужих, что места это нашенские, стали там возводить православные церкви. И Толик сделался иконописцем, пригодилось художественное образование. Поначалу слал он мне подробные эпистолы от руки – крупными буквами, размашистым почерком, сейчас перешли на звонки и электронную почту.

А второй мой товарищ – Володя Лосев – окопался на Южном Сахалине, в Невельске. Так забавно получилось: они на побережьях двух океанов, на разных концах страны, а я – посередине.

Вернёмся, однако, в студенческое время. Видел я рядом ребят кропотливых, основательных. Кое-кто из них вызывал уважение ранним выбором будущей профессии, научных интересов. Но некоторые просто хотели казаться взрослыми, были *благоразумны*, и вызывали активное мое отторжение.

Они не участвовали в замечательных наших пирах, сборищах. Толик называл это красивым словом «катарсис» (зачем-то же изучали мы античную трагедию). Однажды к нам пришел Володя Гефсиманский, не живущий в общезитии, и это обстоятельство, как и замечательная фамилия, позволили представить его как посла другого государства. В процессе питья и закусывания добрались до банки солений домашнего производства, я их периодически привозил из дому, мать была умелицей по этой части. Толик осведомился у гостя: «Господин посол, как вам нравятся огурцы такого посла?» Неприятный каламбур вызвал взрыв эмоций.

Тут была какая-то *заведомая* расположенность друг к другу. Эти посиделки выводили отношения на совершенно доверительный уровень. И хорошо тогда говорил Володя Бахтин про алкоголь: важен не результат, а состояние. Благо и выбор был, и качество приличное, и дешёвизна. Но, положив руку на сердце, не помню я пьяного тупого мурла, которые так избыточно представлены ныне. Либо споры шли еще острее, либо пели еще задушевнее, либо ты мыслил раскованнее и смелее.

Мне приходилось начитывать многое, упущенное в детстве-отрочестве. И вот как-то весной 1968 года, оторвавшись от страниц русской прозы XIX века, я сел и наваял такую стилизацию (сохранилась в моих бумагах).

«А ведь оно скоро, барин, того, начнёт», – сказал мне мужик, указуя рукой на реку, казавшуюся спокойной, но таившую что-то по предчувствию крестьянина. Нам,

привыкшим более к душным гостиним, незнаком тот дух весны, который чувствует всякий истинно русский человек, сохранивший благодарное единение с природой. «Я вздремну, братец, – наконец отвечивал я ему, – ты же пробуди меня при начале непременно». Я удалился в избу и не предаваясь посторонним раздумьям, отдался сну. Мужик будил меня за полночь.

«А ну, барин, однако вставай», – ворчал он довольно громко, теребя десницу мою. Я поднялся на своём ложе и потер глаза ладонью. Некоторую непонятность происходящего испытывал я: зачем я принужден к бодрствованию и что есть эта темная фигура в худом одеянии. Однако треск – подобие сильных музыкальных аккордов – привел меня в совершенное чувство. В неизъяснимом волнении вскочил я и бросился из дверей в гремящую ночь. Подбежавший мужик подал мне шинель на плечи. «Помилуйте, барин, со сна да на ветер». Весь слух мой обратился к поднявшей льды реке».

Вечером я сказал, что хотел бы проверить чутьё и эрудицию наших старшекурсников и прочёл этот текст. Володя, Толлик и Григорий слушали внимательно. В ответах однако были осторожны и неопределённые. Гришка резонно заметил, что как-то неорганична тут «десница», потому что остальное вроде из середины прошлого века. Вскоре я открылся. Старшие товарищи дали моему опусу положительную оценку.

В общежитии была Чёрная лестница. Полагаю, что я правильно пишу её с большой буквы. Несколько лет спустя её воспел наш факультетский бард Борис Овценов, эта песня, как и другие его создания, выйдет за стены общежития на томский и всесибирский простор. Площадки лестницы – это не только возможность пообжиматься в полутьме. Там царил гитар. Гитара с уже знакомым Окуджавой, восходящим Высоцким, незнакомым Галичем. Мы росли на этих песнях. В 80-х ребята тоже слушали песню под гитару, но главным на их небосводе оказалась фарсовая фигура Александра Розенбаума.

А на нашей Чёрной лестнице пели:

*Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны...*

Так впервые услышал я стихи Николая Гумилёва.

Там же услышал песню про пилигримов. Она звучала среди прочих, ничем особо не выделяясь. И только через десять с лишним лет я прочел другие, написанные позже стихи этого автора и полюбил их. Этим автором был Бродский.

Стихи вообще входили в тогдашний образ жизни. Большая аудитория, где собиралось литобъединение, всегда была полна. Там спорили шумно, яростно, не признавая авторитетов, там сходились максималисты.

Общенья за стихами в нашей жизни было много. Я познакомился с Женей Зиминым. Он бывал гостем старшекурсников-филологов, они-то представили нас друг другу, и оказалось, что он тоже житель Тимирязева. Вместе с этими ребятами мы встречались у него дома. На рубеже семидесятых – в годы нашего сближения – стихи я писал никакие, никчёмные, понимал это, потому больше слушал, а если читал, то чужие. Женины строчки нравились мне свободной, естественной интонацией, присутствием юмора. Женя в ту пору делал машинописные книжки на тонкой бумаге, чтобы пробить через копирку хотя бы экзemplяра три-четыре. Там были стихи Володи Бахтина, Гриши Воробьева. Он и мне сделал первый сборник, вся моя беспомощность там налицо, печатный шрифт это подчеркивает.

Был в ту пору еще один издатель, учился на юрфаке – Виталий Полищук. Он продвигал в основном одного автора – Фёдора Госпорьяна. Несколько позже мы подружились, издатель стал для меня Виталиком, поэт – Федей. Писал он броско, вычурно, читал красиво, выразительно:

*Как сладко в эту ночь спалось!
В лесах спал лось, в постелях – люд.
Стояло в небе семь полос –
Как бы безумствовал салют.*

Или:

*Осень страстно леса обнажает,
Осень страуса изображает.*

Понимай, как хочешь. Или принимай это как гениальную невнятицу. Впрочем, тогда было великое разногосье. Гена Плющенко писал ясным, классическим слогом:

*Тогда забвенью времени утрать,
Одоевский, и с дружеской любовью
Ты подари мне толстую тетрадь –
Я до краёв тебе её заполню...*

Наверное, каждому, кто посещал университетское литобъединение (ЛИТО), полагалось знать плющенкино четверостишие:

*В шинели я себе казался выше,
В шинели не брала меня усталость.
Как я в тебя, Москва, вошёл да вышел,
Так ты в меня вошла да и осталась.*

Как-то в нашу комнату в гости к Грише Воробьёву зашёл пятикурсник с мехмата. Мне понравилось, как внимательно и серьёзно слушает он нашего филолога. И тот представил его:

– Тоже Григорий.

Понравился он своей крутолобостью, хорошими, умными глазами. На ЛИТО мы стали здороваться, я услышал его стихи. Помню, одно начиналось замечательно длинной строкой:

– *Ряд покатых холмов, купол неба холодный и серый...*

После университета он уехал из Томска, кажется, в Дубну. Стал известным поэтом и переводчиком Китса и других ребят «озёрной школы». Потом я увидел на прилавке магазина книжку «Григорий Кружков. Ласточка». Там было много хороших стихов.

Есть такая формула Иосифа Бродского: «Поэзия... – это единственная имеющаяся у нас страховка против пошлости человеческой души». А поэтическое слово «единственное средство против пошлости человеческого сердца». Когда-то Бродский предлагал распространять бесплатно сборники стихов в гостиницах, поездах, супермаркетах, уверяя, что это «несколько замедлит распространение культурного недуга в следующем поколении». В нашей юности сборники стихов расхватывались моментально. Сегодня стихи почти не востребованы, культурный недуг, кажется, победил, к тому же пошлость проникла и туда, на страницы псевдопоэтических книг.

В университетскую пору кроме приобщения к настоящей поэзии случилось и приобщение к западной литературе XX века (до того, как она пришла по программе). Это были Ремарк, Хемингуэй, Экзюпери, и я увидел в их прозе *индивидуального* человека, личность. Человека, выстраивающего себя. *Лично* отвечающего за свои поступки. Делающего свой сознательный выбор. Совсем не того советского (большой частью придуманного по заказу), силы которого приумножались в единении с массой, коллективом, в труде и борьбе. Была фигура, на которую не распространялся мой скепсис, – Павел Корчагин. В детстве я прочёл его историю с детской восторженностью, в конце юности перечитал с уважением. Мне доводилось встречать подобных людей. Но тех циничных паскуд, кто взял его образ для «воспитательной работы», я возненавидел всей душой.

Мы говорили и о вере. Старшекурсники уже знали Достоевского, прочли какие-то статьи Мережковского, других мыслителей начала XX века. Мы заходили в храмы, стояли на службах. Были ребятки, которые делать это боялись: застывают и – прощай, карьера. Слава богу, такие соображения и опасения мне были чужды. На последнем курсе мы с товарищем той поры Кабаром Бачимовым пошли на всенощную и столкнулись у Петропавловского собора с заграждением из дружинников. Они стали настойчиво спрашивать имена и социальную принадлежность, намекая, не студенты ли. У нас тогда были отпущены

первые в жизни бороды. И я сказал старшему, верховоходящему среди них, что мы студенты, но несколько особого склада. И вдруг он «догадался»:

– А, будущие служители культа!

– Хорошо, называйте так, – согласился я. И нас пропустили.

Я был крещен в малолетстве в родной деревне ссыльным священником. Произошло это втайне от отца, никто не знал, как он – фронтовой коммунист – на это отреагирует. В те советские времена мне нравились церковные ритуалы. Наверное, в этом был и некий протестный момент. Потому что с крушением империи отношение моё к этому решительно переменилось. Я, понятно, остаюсь верующим человеком. Но стал, если так можно сказать, заочником. Мне чужды нынешние прихожане, их длиннополые чёрные пальто, их золотые цепи, отсутствующие взгляды. Не хочу видеть, как истово мелко крестятся их спутницы, повязав платочки при входе в храм. Не думаю, что высшее проявление творчества – христианское искусство. Распятие может нарисовать всякий способный ремесленник, только что оттого. А вот если произведение проникнуто *христианским духом*, тогда оно родит в ответ христианское чувство в нашей душе. Это касается и живописи, и прозы, и поэзии.

В нашей комнате на тумбочке возле кровати историка Вовы Ерпылёва лежала книга «Гармонический человек». Лежала долго. Не знаю, открывал ли он этот сборник статей, но видеть книжку могли все.

С Вовой связана забавная история. Когда нас с Володей Лосевым собирались отчислять из университета (об этом речь впереди), в общежитии вдруг развилась шпиономания. Вычисляли, кто поддерживает регулярные контакты с чекистами, и почему-то остановились на Ерпыле. Он об этом узнал. Как мне казалось, достаточно тяжело переживал. Подозрение попытался развеять весьма своеобразно. На собрании, где нас исключали, встал следователь Ким и провозгласил: «Вот тут ко мне подошёл студент Ерпылёв. Говорит, что его подозревают в связях с КГБ. Хочу вам со всей определенностью сказать, что студент Ерпылёв осведомителем органов не является».

Зал завыл от восторга. Но...

После окончания исторического отделения Вова уехал в Баку, по протекции папаши устроился в... КГБ. Года через два оказался в Томске, я как раз восстановился. Попили с ним винца. Вова со сдержанным значением рассказывал, как стоял в оцеплении толпы, когда встречали Брежнева. Генсек якобы подошел к нему и спросил: «А вы, товарищ, где работаете?». Ерпыль на секунду растерялся, забыл «легенду», но, справившись с волнением, назвал какой-то бакинский завод.

Коллективизма я всегда бежал. Но был период – и это как раз студенчество – любил факультетские маёвки, сочинял что-то для них. Одно время состоял в редколлегии стенгазеты нашего историко-филологического. Увлекала состязательность. Мы долго не могли стать первыми. Лучше делали свою газету «Прометей» ребята с геолого-географического факультета (ГГФ). Кстати, «Прометей» поместил большой репортаж с фестиваля, который прошел в клубе «Под интегралом» Новосибирского академгородка с участием Галича. В газете был текст «Памяти Пастернака». Через три дня её сняли. Так вот, в этом соревновании мы всё-таки обошли геологов, и не один раз. И тоже испытали цензурные притеснения. В новогоднем номере кому-то из шишек не понравились сияющие церковные купола, и к этому исхитрились прикопаться.

Вот случай, когда я пережил единение с массой. В Первой нам раздали факелы. Мы зажгли их, дошли колонной до памятника Ленину, там торжественно постояли, слушая речи-здравицы. Потом команда: развернуться и так же дружно до главного корпуса университета, где факелы сложить в железный контейнер. Но чудесная магия огня! Факелы пылают, и жаль их гасить. Мы прошли мимо своего главного корпуса, мы идём сплоченными рядами, человек сто, не меньше. Кое-кто отвалил, следуя приказу. Достигли пересечения с улицей Учебной, там посреди проспекта милицейский мотоцикл с коляской, с него кричат, руками машут. Мы его обтекли и – дальше. И такой восторг полощет в душе: мы – сила, мы – вместе. Дошли до Лагерного сада, что-то покричали, даже спели хором, побросали наши факелы вниз с обрыва к Томи. Так красиво рассыпались искры! И вот тогда – уже по своей воле – отправились к родному общежитию.

И как тут не вспомнить солидарность его жильцов. Не стадную, а сознательную. На втором курсе это было. Работники нашей столовой то ли расслабились, то ли просто начхали на студентов. Убогий рацион вдруг ещё уменьшился. Всё стало удивительно невкусным, и это при нашей-то невзыскательности в еде. Кто-то предложил объявить бойкот столовой. Честно, не помню застрельщика, хотя сегодня его имя можно было открыть и прославить. И вот мы спокойно шли по первому этажу к выходу мимо окон, выходящих в коридор, и бросали взгляды на пустые столы. Удивительно, но случилось почти полное единодушие – два-три штрейкбрехера не в счёт. Сначала столовские значения этому не придали, но на другой день обеспокоились, запаниковали. Пришёл проректор по АХЧ Лерман. Толик был свидетелем его попытки изменить положение, рассказывал с восторгом: «Лерман затащил туда силком двух первокурсников, на миг отпустил, а они дали дёру!» И начальству стало ясно: действовать надо по-другому. И вот через комсоров-профоров было заявлено, что выводы сделаны и передано приглашение посетить обновленную столовую. Утром мы увидели подносы с разнообразной выпечкой, первые и вторые блюда предстали не в единственном числе, на столах появились солонки, раздатчицы были приветливы. Этот праздник был, понятно, не навсегда. Уровень сервиса вскоре несколько упал, но вполне нас устраивал. При нашем, повторяюсь, гастрономическом аскетизме.

* * *

1968 год ООН посвятила правам человека, а геофизики объявили годом активного Солнца. И то, и другое проявилось в малом масштабе моей жизни.

Весной 1968-го в кинотеатре городского сада – прохладном дощатом сооружении – мы смотрели чехословацкий фильм «Старики на уборке хмеля». Смотрели, что называется, на отрыв. На одном дыхании. Свобода дышала с экрана. Герои – молодые люди – отстаивали право на независимость и ценность своего мира. (В конце 80-х его снова прокатили по экранам, и мне уже было скучно. Вот она – дешёвая умудрённость).

А тогда при окончании второго курса стояла на дворе Пражская весна, и было в ней нечто совершенно привлекательное. И веяло обновлением, свежестью, как от всякой весны. Правда, на наши вопросы старшие товарищи-преподаватели отвечали уклончиво и неопределенно, дескать, поживём-увидим. И это было сродни осторожным статьям в газетах, где не давалось ещё жёсткой оценки событий, но и не высказывалось понимания и одобрения того, что там, в Чехословакии, происходило.

Но мы (узкий круг филологов) с юношеским воодушевлением читали манифест Пражской весны «Две тысячи слов», набранный на разбитой машинке (буквы плясали так и сяк). И ничего там не было ниспровергающего систему социализма, а было желание очиститься от мерзости партийной иерархии, строить жизнь на правде и человеческой честности и порядочности. Это называлось «социализм с человеческим лицом». Я верил в него. Мне виделось там возрождение нравственности и человечности.

Принять это советские правители не смогли. И против той благородной идеи не нашлось аргументов лучше, чем танки. 21 августа в Чехословакию вломилась войска стран Варшавского договора, то есть Советского Союза и его сателлитов.

По-варварски дико обосновали законность вторжения: дескать, сотни тысяч наших солдат здесь полегли во Второй мировой войне. «Их смертью купили право на агрессию», – заметил один умный человек. Там прошлись танками по мечте, а здесь, на моей родине, стали науськивать массу давить тех, кто ещё осмеливался быть свободным. Мне кажется, многие тогда подумали: а всегда ли родина права. Тяжелый был вопрос: родина или совесть? Ведь мы – часть *этой* страны, а погубили наши надежды *там*. Романтические надежды, потому что мы так и не узнали, чем могла бы закончиться Пражская весна. А ну как наломали бы дров *наши чехословацкие друзья*, как говорили спортивные комментаторы. Впрочем, это уже уловка для самоутешения.

В августе 1968-го в Прагу вошли танки.

В январе 1969-го нас выставили из университета.

Может быть, здесь уместна будет небольшая вставка. Дело в том, что другого места я никак ей не подберу.

Как быстро обрастает легендами былое время! Товарищ дал мне почитать книжку стихов, изданную в Благовещенске. Вот она: «Светлана Аркадьевна Борзунова. Ты – моя судьба. Стихи. Благовещенск, 2001».

Я помню Свету Борзунову вузовских, университетских лет всегда в движении, куда-то спешащей – в библиотеку, в кино клуб, на редакционное задание. Говорила она тоже на ходу – всегда чётко, определённо, с пристрастием. Писала стихи. На фоне филологических манерностей сокурсников и сокурсниц они выделялись естественностью интонации и жеста. Видно было, что написаны из душевной потребности. Стихи нравились мне этой открытостью, какой-то даже задиристостью: «А я вот такая!». И я увидел, читая эту последнюю, уже посмертную её книгу, что всё это сохранилось, а прибавилось мастерства и жизненного опыта.

Начал читать послесловие. Тут остановился и призадумался. Вроде речь шла о том самом, общем для нас времени и одних для нас обстоятельствах. Но разрази меня гром – не помню я таких людей и таких событий!

«Самиздат» был широко распространён и активно преследовался. За распространение романов Солженицына загремели на три года на лесоповал три студента нашего факультета. Они вернулись и восстановились на наш курс, угрюмые, повзрослевшие, малоразговорчивые. Один из них сразу хмуро предупредил: при мне лишнего не болтайте, я теперь сексот. Никого из наших он не заложил. Но факты вокруг нас имели место. И было это как правила некоей всеобщей игры с огнём. Извернись и напиши между строк так, чтобы поняли и не схватили».

Три последних приведенных фразы достаточно невняты, как-то героизируют ситуацию. Ни «фактов», ни «игры с огнём», ни искусства писать так, чтобы «поняли и не схватили» – ничего этого никогда не было. Но так вспоминается! И что тут поделаешь.

«Очагом демократии в вечно оппозиционных властям университете была многотиражная газета «За советскую науку», куда я пришла в начале первого курса. ... В студенческом кино клубе показывали тайком картины, положенные Госкино на полку. Культурная жизнь цвела и давала тайные ростки».

Боже мой! Многотиражка была хороша, но не более того. Университет был таким же послушным властям, как его собратья по всей стране. Фильмов, положенных на полку, нам в кино клубе не показывали – этого просто быть не могло! Шли картины «второго экрана», распечатанные с малым количеством копий: «Кто вернётся – долюбит», «Чистые пруды». Хорошие фильмы, было о чём поговорить. Но тайных всходов культурной жизни я не приметил.

И вдруг я понимаю, что три студента, загремевшие на лесоповал, – это мы! То есть, опять же всё не так, но другого не было. Загремел один, и не на лесоповал, а на лесозавод в Енисейский край (это всё-таки несравнимо легче). А двое других были просто вытурены из студентов. И руководство «оппозиционного» университета не противилось такому исходу. Вернулись и восстановились мы не все, только Володя Крамаренко да я. И не помню нас угрюмыми и малоразговорчивыми. Так что хочу я эту историю представить здесь во всей подлинности. Понятно, не так она романтична и сурова. Но в ней есть другое.

Итак, в январе 1969-го нас выставили из университета.

Мало того, что выставили. Исключение сопровождалось грязной статьей, напечатанной в областной партийной газете «Красное знамя» 17 января 1969 года. Называлась она «Я отвечаю за всё». Её автор – В.Ф. Брындына – определено знала, что никто ей возразить не сможет, потому не боялась перевернуть нашу историю и просто врать. Я ходил в эту редакцию, встретился с автором, но в разговоре понял, что нахожусь в дурацком, унижительном положении. Слушая меня, она смотрела насмешливо, а потом сказала, что обошлись с нами мягко, что дали шанс исправиться и стать людьми.

Лишь двадцать лет спустя я смог ответить ей на страницах молодежной газеты. Вот он, мой ответ.

Я ОТВЕЧАЮ ЗА СЕБЯ

«Три Владимира учились на ИФФ (историко-филологический факультет — авт.) два с половиной года. Одному из них — Владимиру Крамаренко — недавно пришлось пересест с университетской скамьи на скамью подсудимых: он совершил уголовное преступление. Не тишина научной библиотеки, не огни аудитории тянули посвященного в сан студента. Он был связан с пьяницами и развратниками. Это привело к тому, что Крамаренко морально разложился и запел с чужого голоса, объективно оказался на чуждых идейных позициях».

Читатель! Если тебя заинтриговало такое вступление, прошу следовать за мной. Обещаю, что, как завещал великий Чехов, это ружье обязательно выстрелит. Детективного в нашей истории будет мало, хотя и не без того. А попутно хочу показать, как творятся мифы, или как легко и безнаказанно можно было творить их в недавнюю пору (в нашем случае — 20 лет назад).

Известие о братской помощи Чехословакии застало меня в августе 1968-го в гостях у дяди Глеба, накануне отъезда домой.

— Ну, будет заваруха! — сказал я дяде, подразумевая партизанскую войну, долгое сопротивление.

— Да ничего не будет! — отвечал более здравомыслящий Глеб Васильевич. — Всё сделают как надо.

И правда, пока я добрался от Ачинска до Томска, братский народ уже успокоили. Однако разговоры, конечно, шли вовсю. Я работал с ребятами-физиками. Мы устраивали в дверях главного корпуса тёплую вентиляцию. Технари отстаивали повешенную нам на уши официальную лапшу, что если бы не мы, то вошли бы западные немцы или американцы и тогда социализму — труба. Мы, гуманитарии (нас было явно меньшинство), что-то говорили о демократии, о Пражской весне, о статьях в их студенческих журналах (один из них ловко назывался — «Попросту»). Мы цитировали им «Две тысячи слов» — замечательный документ человеческого и гражданского достоинства.

— Откуда вы взяли? — наседали технари.

Мы несколько сникали. Назвать *попросту*, как источники, Би-би-си или «Голос Америки» было не очень удобно.

Однажды из деканата меня известили, что в такой-то день в таком-то часу я должен стоять у ворот университета и встречать человека, который сам меня опознает. «Забавно», — подумалось мне тогда.

Человек был, как помню, в кремовом плаще. На лице его лежала лёгкая, что называется, располагающая улыбка. Прошли какие-то полста метров, сели в машину, и вот мы в уютном кабинете на Кирова, 18. КГБ. Комитет государственной безопасности. Так я впервые переступил порог этого заведения, не предполагая, что дальнейшая моя жизнь с этого часа пройдёт в некоторой зависимости от могущественной организации.

Человек ненавязчиво спрашивал меня, о чем говорит студенчество, как оценивает положение в Чехословакии, каковы собственные мои об этом соображения, чего мне в принципе недостает в нашей духовной жизни. Я отвечал ему, что вторжение воспринимают по-разному, сам я не определился, а в духовной жизни мне явно недостает изданий Пастернака. Он тут же припомнил словцо «вторжение», справедливо заметив, что этим кое-что сказано, но опять мягко улыбнулся, уверил, что в будущем году выйдет собрание Бориса Пастернака. Собеседник взял с меня обещание, что я не буду распространяться о встрече в КГБ. Видимо, решил я, какую-то профилактику надо было провести.

Недели через две утром меня разбудило прикосновение незнакомой руки. Спокойный голос попросил: «Владимир Михайлович, вставайте. У меня ордер на обыск». Мне не пришло в голову ничего лучшего, чем нелепо пошутить. Я сунул руку под подушку и сказал: «А пистолет-то вы уже взяли». Капитан рассмеялся просто, по-человечески. Не убоюсь гнева непримиримых и скажу, что он остался у меня в памяти приятным и порядочным человеком. Как уж занесло его на службу в КГБ, мне неизвестно.

Однако, обыск. Явление неприятное. В другой раз, через несколько лет, его величали мягче — досмотром, но суть от того не меняется. Чужие руки шарят в твоих бумагах, чужие глаза вычитывают строки, которых не доверял пока и самому близкому. Капитану помогали

двое студентов-оперативников из ТИАСУРа. Они подивили меня дотошностью и прямо какой-то неистойвой добросовестностью.

В результате сложили в портфель несколько журналов «Куба» с порезанными страницами, самодельные плакаты типа «Пей виски!», которые мы использовали в нашем любительском фильме про ковбоев. Забрали и меня с собой. В кабинете КГБ все окончательно прояснилось, хотя я кое о чем догадался, когда забирали порезанную «Кубу». Слова или буквы заголовков оттуда мой товарищ Крамаренко использовал в оформлении своего рукописного издания.

Ну да, собственно, это издание и разожгло весь нелепый сыр-бор, так что нужно о нём сказать. Володе с несомненным даром оформителя куда-то хотелось приложить свои силы. Вот и появился журнал с нетрадиционным таким названием «Белые тени». Издателем значился Вольдемар Крамер – так на западный манер повеличал себя Владимир. Гвоздем номера был фрагмент стенограммы суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем. Володя записал ее на магнитофон с передачи Би-би-си. В конце номера броско, с размахом было представлено расписание работы этой радиостанции. Информация о предполагаемом нахождении нациста Бормана в Южной Америке проходила под заголовком «Жив курилка!». Этим, пожалуй, криминал исчерпывался. Наши гуманитарные этажи листали произведения Крамера. Разные оно вызывало чувства, но никому не пришло в голову настучать. Прodelал это какой-то политехник.

...К вечеру я был дома, а вот Володя домой не вернулся. «Задержан, арестован» – какие зловещие слова. И за что? Неужели за это? Ну, понятно, хулиганство, разбой, воровство. Нет, оказывается, и здесь тоже есть повод. И для этого есть статья. Под неё хотят подогнать Володю. И арест лишь преддверие суда, на котором будет оглашён приговор и определена мера наказания.

Из тех знакомых Володи, кто остался на свободе, особо грозные тучи зависли надо мной и сокурсником Володей Лосевым. Понятно, почему. Мы – трое – были дружны, часто бывали у Крамера дома, хорошо знали, чем он занимается.

Вот так это излагалось в областной газете «Красное знамя»:

«Ну, а два его товарища-сокурсника – Владимир Лосев и Владимир Крюков? Они знали, чем занят друг, самовольно взявший на себя обязанности редактора и автора рукописного журнала. Они читали плоды «литературной» стряпни Крамаренко – мешанину порнографии, недомыслия и клеветы, заимствованной из передач Би-би-си и «Голоса Америки». Два студента могли остановить третьего, но не сделали этого. Хотя уголовное преследование в отношении Лосева и Крюкова прекращено (они проходили по делу Крамаренко лишь как свидетели), моральная вина и гражданская незрелость этих двоих доказаны вполне».

Оставляю на совести автора хлесткую характеристику, припечатавшую людей, с которыми она даже и не разговаривала.

На допросах от нас добивались какого-то осуждения и покаяния. Осуждения «деяний» Крамаренко и покаяния, что не настучали в комитет ВЛКСМ, профком, деканат, органы. Хочу избегать громких слов, но есть же человеческие заповеди порядочности. Ну вот никто не внушал мне, что нехорошо доносить, что довольно гнусно навязывать свои убеждения другому и что нет ничего постыдного, если твое мнение не совпадает с мнением большинства. Но именно эти моменты и обернулись против нас. Слава богу, несмотря на всю нашу инфантильность и некоторый страх, внушенный органами, нам не пришло в голову каяться и наговаривать на себя. Мы признали знакомство с творениями товарища, но никак не хотели величать их антисоветскими, состоящими из клеветнических измышлений. Нас спрашивали, знакомы ли мы с таким страшным кощунством, как соединение на звуковой пластинке фрагментов речи Ленина и интермедии Райкина. Знакомы. Смешно. Может быть, несколько рискованно.

– И всё?! – спрашивали нас. – И всё?!

Короче, становилось ясно, что не на том факультете учимся, что нам недостаёт политической зоркости. Где-то накануне Нового года состоялся суд – Володе Крамаренко дали три года ссылки. Было понятно, что по-своему обречены и мы. Близился финал нашей университетской жизни. Правда, каким он будет, мы не ведали. Наконец прояснилось: предстоит факультетское собрание.

Задумано было целое шоу, как бы теперь сказали. Итак: выразить нам общественное презрение, дать урок ещё кое-кому, подтвердить верность идее и непримиримость к

инакомыслию. К счастью, замыслам не дано было осуществиться. Всё-таки наше поколение и те, кто был постарше, ещё успели глотнуть свободы. Ещё пел Галич, редактировал «Новый мир» Твардовский, ещё не упрятали в спецфонд «Реализм без берегов» Роже Гароди, и некоторые преподаватели называли Солженицына большим писателем. Ещё до суда над Володиёв в общежитии организовали сбор подписей в его защиту, и подписали все, кто знал его или хотя бы вник в ситуацию. Так что устроители просчитались.

Здесь хочется говорить высоким штилем. Собрание это – одно из светлых воспоминаний в жизни. Не люблю толпу, её легко наэлектризовать или попросту науськать, на что, видимо, и уповали. Но пришла не толпа, пришли люди, которые не собирались быть чьими-то подголосками.

Аудитория амфитеатром была полна народу. Не помню, кто уж там обрисовал картину нашего падения, атрофию бдительности и полную деградацию. Вышло двое-трое подставных комсомольско-профсоюзного толка. Осудили. Предложено было высказаться желающим. Вот тут и началось то, чего никогда не забыть. Выходили ребята, которые нас знали и говорили то, что думают и о нашей истории и об этом спектакле.

Не забуду взволнованного голоса Толи Леминского, страстного выступления Бори Соколова. Тут-то устроители засуетились, вспомнили о регламенте, стали кричать (как раз на Бороном монологе):

– Хватит! Время!

И вдруг аудитория отозвалась сотнями голосов:

– Пусть говорит!

Через минуту Борю уже за руку оттащивали в сторону. Вышел ещё кто-то из ставленников, его сразу раскусили, и как лавина с гор покатились – это сотни ног забарабанили по доскам аудитории. Говорить невозможно, остановить ужасный стукоток тоже – кто там молотит ногами, не видно. И это не было безудержной забавой. Нет, каждого выступающего начинали слушать, и быстро становилось ясно, где человек, а где функционер. Помнятся говорящие фамилии этих: от партии – Корокотина, от комсомола – Кряклина. Но их слова буквально забивали. Это был крах для организаторов, это была победа здравого смысла. Никаких резолюций не удалось проташить, никаких оргвыводов. Помню в коридоре растерянное лицо нашего декана Бориса Георгиевича Могильницкого, вынужденного присутствовать на этой комедии. Он просидел всё собрание молча и этим сохранил студенческое уважение.

А так подытожила собрание автор статьи в «Красном знамени»:

«...разлетелся в прах тезис о «тонкой поэтической натуре» Крюкова, о том, что Лосев тоже «личность мыслящая». Видно, фразы эти бросил желающий уберечь их от законного гнева товарищей.

...И такие люди жили среди нас, готовились стать литераторами, учить детей! – с горечью констатировали комсомольцы. С некоторым опозданием, но в полный голос прозвучали слова: «Я отвечаю за всё». Эта фраза – синтез коллективизма и высокого назначения личности...»

В этом пассаже, написанном с пафосом, нет правды. Не было законного гнева товарищей, не звучало на собрании и одиозной фразы «Я отвечаю за всё» (по крайней мере, никто не смог её припомнить после газетной публикации).

Триумф наш, конечно, был кратковременным. Провели собрание и в учебной группе. Наши девчужки искренне – под контролем Веры Михайловны Яценко – покрыли нас позором, вынесли решение: просить об исключении из вуза и комсомола. Сделалось им немного обидно, когда узнали, что исключить меня из рядов ВЛКСМ нельзя, поскольку я в них не стоял вовсе. Однако стены университета мы оставили, ознакомившись с приказом, замечательная формулировка которого незабываема: «За поведение, порочащее достоинство советского студента».

Декан проводил нас тепло и дал понять, что путь обратно не заказан. Через полтора года я вернулся, представив положительную характеристику из сельской восьмилетки, и благополучно доучился, защитив у той же Веры Михайловны на «отлично» свой диплом. Володя Лосев завершил образование в Кемерове. Володя Крамаренко, отбив свою ссылку в енисейских краях, тоже закончил наш филологический.

Дальнейшая жизнь их потекла в иных местах. Крамер уехал за Урал, в Россию. Лося унесло на противоположный край страны, на Дальний Восток.

А мне не хотелось покидать любимый город. Пришлось через это претерпеть. Кто только не припоминал мне пресловутое исключение. Шли годы, но никакой срок давности

на меня не распространялся. Идеологический глаз, не моргая, держал меня в поле зрения. Публикации в областных газетах проходили непременно под псевдонимом.

Однажды взяли было в «Молодой ленинец». На третий день работы редактор сказала, что со мной хотят побеседовать в обкоме. Сели с двух сторон комсомольские лидеры Шувариков и Точенов и после дежурных вопросов перешли к позорному факту биографии:

- Ну, а произойди такое сейчас, как бы вы себя повели?
- Пожалуй, так же, – честно ответил я.

Идеологи оторопели:

– Представьте: человек в беде, просит помощи, вы оказались рядом. Неужели не можете?

- Почему же, – сказал я, – помогу. Но это уже другой случай. Ваш пример неудачен.

Меня отпустили с миром. Наутро редактор печально сказала, что, видимо, не смог я себя повести как надо и в результате – не рекомендован.

Подобные ситуации повторялись. Мне кажется, многие исполнители уже и не знали, в чём там – в днях моей юности – было дело. Осталось клеймо «не нашего» человека да сотворённый по-советски миф.

«Молодой ленинец» 29 июня 1990 года

Надо сказать, автор боевой статьи «Я отвечаю за всё!» работала в этом 1990 году несколькими этажами ниже, в редакции той самой партийной газеты «Красное знамя». Виктория Францевна Брындина была в эту пору пожилой, но не утратившей привлекательность женщиной. Где-то через неделю после публикации моей отповеди ехал я лифтом вниз. На четвёртом этаже лифт остановился, и вошла она. Мы продолжили путь. И несколько этих минут она в упор смотрела на меня со странным живым интересом, так что даже некоторым образом смутила. Я так и не знаю определённо, прочла ли она мою работу. Коллеги-газетчики уверяют, что прочла, тогда ещё было принято просматривать, что пишут собратья, и газет-то было всего две – молодёжная и взрослая.

ДОПОЛНЕНИЕ 1999 ГОДА

Когда в то далекое лето я написал вышеприведенную статью, была она несколько больше – хотелось рассказать ВСЁ. Но отведённой газетной площади (кстати, немалой) не хватило. Как ни старались мы тогда с двумя Сергееми – Симоновым и Сердюком – , пришлось чем-то пожертвовать, а именно предысторией ареста Крамера. Сейчас я имею возможность восстановить сокращённый текст.

В 1966 году, когда я поступил на первый курс историко-филологического факультета, в одной группе со мной оказался парень из Красноярского края Володя Лосев. Мы с ним довольно быстро сошлись. Нас объединила безудержная любовь к стихам и старому Томску. С началом тёплых весенних дней начались наши долгие прогулки по городу. Уставая бродить, мы выбирали скамейку на солнышке, открывали бутылку доброго молдавского портвейна, пили по очереди из горлышка, читали друг другу Кузмина, Мандельштама, Волошина – то, что недавно откопали в любимой нашей Научке. А коли филологов мужского рода пересчитывали по пальцам, то скоро мы сдружились с однокурсником Володей Крамаренко, томичом. Володя был, что называется, классический западопоклонник. Он слушал радиоголоса, читал «Америку». После знакомства просил называть себя просто Крамером. Он открыл мне дверь в мир рок-музыки. Лось как-то остался этому чужд, а я навеки пленился битлами, впервые услышанными с крамеровской «Кометы».

У него же услышал я с магнитной ленты записанный по трансляции рассказ о судилище над Синявским и Даниэлем. Мы решили, что людям надо знать правду. И задумали выпустить листовку и уже соображали, как распространять её: разбросать на сиденьях в автобусе, в залах кинотеатров. Но прежде надо было её отпечатать. Техническую сторону дела взял на себя Крамер.

Договорились встретиться у меня в Тимирязеве, в родительском доме. Мы с Володей Лосевым уехали с ночевой. Утром появился Крамер, но не один – с приятелем. Мы немного удивились, но Володя сказал, что парень свой и ему можно доверять. Этот самый приятель – Игорь Никитинский – нас потом благополучно и заложил.

Разгорался летний день 1967 года. Мы полны были самых благородных помыслов. Крамер устроил какую-то смесь с желатином, разлили её в мелкую ванночку, поставили в

холодильник. Через некоторое время на застывшую поверхность был нанесен текст. Но гектограф не сработал – студень тут же растаял, первый же лист провалился и напрочь размазал буквы. Тут подошла мать с работы. Пришлось затею оставить. Мы с Лосем взяли читать конспекты (шла летняя сессия), Крамер поехал готовиться домой. Надо сказать, железной последовательностью мы не отличились, попыток создать листовку не возобновили.

На рубеже весны-лета 1968-го почему-то нас не тронули. Думаю, что и журнал Крамера, и наша листовка были взяты на учёт как некие шалости, но после августовских событий в Чехословакии под увеличительным стеклом бдительности они предстали не такими уж невинными...

После августа 1968-го мне стала очевидной профанация идеи социальной справедливости. После августа воцарились безнаказанная ложь и почти не скрываемый цинизм на всех официальных уровнях. А как больно было наблюдать манипуляцию людьми. Люди зависели от больших сволочей либо продвижением по службе, либо очередью на квартиру. И куда девались их человеческий облик, гордость, достоинство. Всё отменял страх потерять эти подачки в случае несогласия с большой или малой ложью. Мне кажется, мало кто думал о том, что в будущем ему станет стыдно за такое прогибание.

Противны были и ловкачи, которые с подмигиванием и кривлянием лопотали что-то типа «иду в эту партию, чтобы разрушать её изнутри, чтобы лучше узнать врага» и т.д.

Тут лишний раз о стыде. Мне не было стыдно за покорный, прибитый революциями, войнами, коллективизацией народ. Я понял, что он сломлен навсегда. Стыдно было за себя. Это особенно остро, больно почувствовал я в дни чешских событий, когда в августе 1968-го в Прагу вошли танки. Но и в это время я не возненавидел Россию. Её стариков и великих творцов. И только тоски прибавилось. От безысходности. От неизбежной причастности к этой жестокой стране.

Так для меня кончились 60-е годы.

Что я вынес оттуда? Установку на всю последующую жизнь: «Не врать самому себе». Для меня это не просто красивые слова. Это стало символом веры. И усвоилось не как постулат какой-то, а просто и естественно. Не надо сваливать всё на внешние обстоятельства, хотя это так удобно и вроде убедительно. Тотальное, абсолютное зло всегда будет в победителях. Это я знал и знаю. И всё равно, несмотря на это постарайся остаться на стороне добра. Это не так уж и жертвенно – это условие самоуважения.

* * *

После исключения я отправился зарабатывать трудовую характеристику. Полетел на родину, в село Пудино Парабельского района. Пришёл в школу. Там, оказывается, читали статью в партийной газете, я почувствовал отторжение и неприязнь. Зашёл в аптеку, где когда-то работала мама, познакомился с девушкой, сидящей на выдаче лекарств. Мы с ней подружились, гуляли зимним вечером. Целовались. Она жила в так называемых Больших Домах. Так во времена моего детства величали два двухэтажных бревенчатых сооружения. Её соседом на площадке второго этажа был молодой учитель, как я понял, к ней равнодушный. Он просветил её насчёт моего морального облика и вообще представил залётным искателем приключений. Наши отношения расстроились.

Мне было жаль оттуда уезжать, я жил эти дни у замечательной своей тёти Дуси, материной сестры. Она рада была бы, если б я задержался. Судьба у неё не сложилась, жила одиноко. В спутники себе случайных мужчин не брала, а близкого не встретила. Была человеком удивительной доброты, работающей, острой на слово, с хорошим чувством юмора. Она была, наверное, главным читателем нашей поселковой богатой библиотеки. (Я в те дни взял там и прочёл «Бесов» из серого десятитомника Достоевского). Тётя Дуся тоже читала не что попало, я посмотрел из интереса её карточку – Чехов, Лесков, Шишков. Конечно, там были и читаемые тогда советские «классики» – Марков, Анатолий Иванов.

Потом – Татьянаовка, деревня Шегарского района в одну улицу. Дали мне предельную нагрузку в тридцать часов. Я справлялся. Директор школы Леонид Васильевич Груздев

помогал и словом и делом. Кроме русского и литературы повесили на меня немецкий язык. И с удовольствием я им занимался, поддерживая свою форму. Для учеников придумал такой финт. Сочинил пьесу, помню и название: «В лапах генерала». Стали готовить к постановке. Фашисты в ней говорили по-немецки. Пусть немного, несколько фраз, но их нужно было не просто заучить, а понять значение, чтобы хорошо сыграть. И дал я роли генерала, его помощников самым, пожалуй, нерадивым ребятишкам. Они блестяще справились. В ту пору и актёры и зрители очень любили самодеятельный театр. Наш спектакль в деревенском клубе прошёл на ура.

Кстати, в тот вечер, когда я впервые приехал в деревню, в деревенском клубе тоже был вечер с инсценировками басен Крылова. Подготовила его учительница, пенсионерка уже преклонных лет Евфалия Алексеевна. И зрители, аплодируя, кричали ей «Браво!», а друг друга спрашивали с гордостью: «Видал моего? Молодец!». Поразительно была разыграна «Демьянова уха». Парнишка, изображавший соседа Фоку, был забавен уже самой внешностью, простоватой и лукавой. Исполнители несколько извращали замысел баснописца. Демьян не казался таким уж навязчивым, потому что Фока охотно хлебал уху большой ложкой и по клубу расходился вкусный запах. Фока охотно принимал добавку и покорно благодарил. Чтобы не томить зрителя, они перекидывались фразами не по тексту басни про ершей, окунчиков и щуку. В то время как девочка, появляясь с боку сцены, дважды сообщала: «Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку». Зрители включились в действие, подавая реплики: «Ой, похоже, вкусно!». Одна бабушка крикнула: «Оставь маленько!», засмеялась, прикрывая рот уголком платка. Всё-таки артисты доиграли действие: Фока лез под стол, спасаясь бегством. Зал хохотал, и я вместе со всеми. Звали на сцену Евфалию Алексеевну, и она вышла – сухонькая, седая, аккуратная, в тёмном платье – и поклонилась. Она всегда подменяла больных педагогов и охотно бралась за подготовку таких вечеров и утренников.

Директор привёл меня на край деревни, в дом к Фёдору Ивановичу и, прося определить на постой, сказал: «Веселее будет». Старик ответил, прищурясь: «И так не скучаю». И мне это понравилось.

Страшно морозило и пуржило в ту зиму с 1968-го на 1969-й. Крепко держа сумку с тетрадами, брёл я в школу. Доходил ошалевший, продрогший. Вскоре зачихал и закашлял. Дали больничный аж на три дня. Какое чудное время! Арина Васильевна заварила малины, заставила есть с мёдом, а Фёдор Иванович, конечно, намешал самогон с перцем: «Вернейшее средство». Я употребил всё. Лежал в темноте, забыв сегодняшние заботы. Вспоминались комнаты и коридоры общежития, товарищи, безответная любовь. В этой сердечной пьяной темноте не хватало голосов Окуджавы и Галича и любимого тогда француза Адамо.

В магазине, где продавалось всё – от хлеба и консервов до книг – обнаружил томик Сэлинджера, даже три. Купил все. Один вручил читать восьмикласснику Гончарову, который казался развитей других. Тот, возвращая книгу, благодарил, смущённо уклоняясь от моих вопросов: «Вообще-то я другое люблю...». Всё правильно, говорил я себе, шагая домой из школы, щурясь от солнца на снегу – дело шло к весне. Всё правильно, давно ли я сам читал о приключениях майора Пронина или капитана Блада? Вот и учить готовить их к таким книгам. И старался в том же восьмом классе урывать минут пять на уроке, чтобы говорить о чтении.

Школа перестала быть каторгой, я стал различать ребятишек, почувствовал их расположение.

Весной приехал на несколько дней знакомый по общежитию Виталик Полищук. Учился на юридическом, но главным, всепоглощающим для него в жизни были стихи. Нет, сам он не сочинял, но чужие любил страстно. В большой поэзии это были стихи о русской природе – Тютчев, Фет, А.Толстой, Некрасов, Есенин. Среди своих, живущих рядом, он выделял Госпорьяна. Виталик делал машинописные сборники, где под одной обложкой рядом можно было читать «Фёдор Тютчев...Фёдор Госпорьян...». Мне в эти сады высокой словесности вход был заказан.

В ту пору я любил яркие стихи Госпорьяна.

*Одинокий кричит коростель.
Надвигается дождь, вечерет.*

*Будет ночь, бесконечна, как степь,
Как тайга, что за степью чернеет.*

Я слушал его в общезитии со стороны, не напрашиваясь в приятели. Читал он ровным, густым, красивого тембра голосом. Так вот, Виталик приехал не один, а с Госпорьяном. Наверное, я робел первый вечер, а в следующие дни мы сблизились, стали своими. Говорили до полуночи и за полночь, читали стихи. И я спрашивал, почему же Федю не печатают в Москве. «Там столы редакций забиты на годы вперёд», – отвечал он, улыбаясь. Густая чёрная борода Фёдора сбила с панталыку наших сельчан, решивших, что он поп. Может быть, не обошлось без участия моего хозяина деда Фёдора, плут был добрый, любил пошутить, «заняться юмором», как он говорил. Но Федя, войдя в роль, достойно и серьёзно крестил встречаемых старушек, отвечавших ему поклонами.

Я проводил их сначала до райцентра. А там и до самой Оби. Мы попали почти на время ледохода. Кромку льда, пока ещё державшего Обь, отделяло от берега несколько метров полой, открытой воды (что у нас называется разводье). Под водою, конечно, был донный лёд, но насколько он близок к поверхности и насколько крепок, никто не знает. Тут, на берегу, переобувался в пимы мужчина, только что перенесший на лёд подростка, который уже шагал к тому берегу. Там, как мы знали, такой промоины не было. «Дай на минуту», – попросил я у него, указывая на сапоги-бродни (это с высокими голенищами, кто не знает). Он разрешил и даже, подойдя к воде, приблизительно показал, где лучше идти. Я взял Федю на закорки и полез в воду, вскоре через резину почувяв её лютый холод. Остроту ощущениям прибавляло и то, что шагать приходилось вслепую. Но вот я благополучно ссадил Федю и пришел за Виталиком. Этот неожиданно оказался значительно тяжелее. И тут, как нарочно посередине пути, я почувствовал, что нога моя теряет опору и погружается в глубину. Изо всех сил рванул вперёд, переставил её, достиг цели. Студёной была не только вода, озноб пробежал по загривку и спине.

Забавно, что через два месяца холодная вода и Федя опять сошлись в моей жизни. Был месяц май. Фёдор приехал в Татьяновку, сказал, что рад повидать меня, но ему надо в село Монастырка поговорить с директором совхоза о возможном калыме. Туда можно было проехать проселочными дорогами, минуя три деревни. А надо сказать, что дед Фёдор доверял мне свой мотоцикл К-75. В общенародной огласовке «Козёл». Сели мы с Федей и поехали. Кто знает эти просёлочные дороги, не разбитые техникой, не обезображенные колеями, а укатанные телегами да колесами мотоциклов, тот меня поймёт. Мы домчали почти до места. Село просматривалось на крутом взгорье. Но нас разделяла река, неширокая, но и не узкая. Мало я видел рек настоящего синего цвета. Вот Шегарка – одна из них. Разве мог я тогда подумать, что она опять возникнет в моей жизни четыре года спустя! (Но об этом в другом месте). Так вот: на том берегу была причалена лодка в с веслом, значит, перевозчик отлучился ненадолго. Мы побродили вдоль реки. Посидели, разговаривая о разном. Солнце перемещалось по небу, а лодочника так и не видно. Не помню, Федя ли намекнул, либо я сам вызвался. Потрогал воду – холодная, но терпимая. (Потом я узнал, что вода в ней даже в июле только чуть теплее). Плавать я всегда любил и плавал хорошо. Разделся, поискал более-менее удобного схода и вошёл в воду. Сразу понял, что плыть надо быстро, чтобы не околеть и разогнать кровь. Думаю, что показал неплохой кроль. Попрыгав на берегу, растерев тело руками, сел в лодку и так же активно заработал веслом. Надо сказать, что солнце в тот день хорошо грело, было моим союзником. Я перевёз Фёдора на другой берег и остался ждать. Он вернулся довольно скоро ни с чем – калым обломился. Лодочника не было. Что делать? Наказать его, угнав лодку, нехорошо. На счастье на том, нашем, берегу появились и стали махать нам руками мужик с бабой. Всё образовалось само собой.

На обратном пути уже почти у деревни я увидел с мотоцикла свою девушку. Она стояла в повязанном платочке, стройная, в клетчатой ковбойке, в облегающих брюках, заправленных в сапоги. Она смотрела на меня пристальным, испытующим взглядом. И я отвёл глаза, потому что надо же было глядеть на дорогу. Ну и потому, что стало мне неловко. Или стыдно? Но по-настоящему стыдно стало сейчас, когда я вспоминаю это бывшее время и пишу о нём. И не могу вспомнить её имя. Ну да, четыре с лишним десятка лет. И всё-таки,

какой стыд! Несколько лет назад я «отдал» её герою моего рассказика вместе с именем. Я полез в свои компьютерные папки, но прежде чем нашёл, оно возникло и прошелестело в ушах: Саша.

Учительствуя в деревне, я вёл уединенный образ жизни. Мало того, что уставал после шести ежедневных уроков. Но ещё и жил памятью об университете, общежитии, переписывался, оставаясь душою там. Даже книги не надо было привозить, в деревне была очень хорошая библиотека. Но вот уже весной девушки-учителя зазвали-таки меня на какую-то посиделку. Они жили не на квартире, как я, в их распоряжении был дом – большая кухня и такая же большая комната. Войдя вечером в этот дом, я увидел её. Она посмотрела на меня с интересом, открыто, весело. Живые восточные глаза, у меня ещё промелькнуло: не татарка, не из Средней Азии, что-то иное. Она и рассказала потом, что метиска – папа башкир, а мама русская. Пришли два местных хлопца, отслужившие армию, ухажёры моих коллег-учительниц. Мы пили вино, шутили. Вышли с нею на крыльцо, я, робея, обнял её и она отозвалась. Тело было гибким, как ветка. Потом я узнал, что довелось заниматься в балетной студии. А потом почему-то Омский сельхозтехникум и по распределению – к нам. И вот она стала моей девушкой, моей первой женщиной. Она квартировала у родителей моей ученицы. Я приходил вечером, заставлял лаять собаку, и Саша выбегала ко мне. Вскоре моя ученица Светка просекла меня и глядела на уроке лукаво, намекая, что она посвящена в некую тайну. Ну и ладно. Как-то Саша появилась у ворот деда Фёдора на коне, возвращаясь с полей. Я выскочил на улицу – как красиво она сидела в седле, как смеялась. Она привязала коня за кольцо, по старой традиции прибитое к столбу ворот. Мы прошли по двору мимо бабы Арины в дом, в мой закуток за печью, там только фикус и кровать помещались...

И вот этот пристальный взгляд. Уже неделю я не появлялся под её окнами. И конечно, Светка могла доложить, что я не болен, хожу на уроки. Просто я уже знал, что уеду. Надо ли было объясниться? Ничего мы друг другу не обещали. Но чувство вины и острой жалости не позволило пойти и увидеть её напоследок. Вот только так, с мотоцикла. Уезжая из Татьяновки, Госпорьян сказал, что калым всё равно будет найден и обещал взять меня в бригаду. Он сдержал слово. Дней через десять я покинул дорогую мне деревню. И летом 1969-го впервые участвовал в так называемом калыме. И эти впечатления отдали образ Саши, а последующие события и вовсе стёрли его из памяти. И лишь совсем недавно она вспомнилась раз и другой с той самой светлой печалью, с которой вспоминается Руся герою бунинского рассказа. Да простится мне эта литературная аналогия, но ведь я и дальше пошёл по этой дороге – Саша появилась в одном моём рассказике, и мне хотелось рассказать о ней тепло и благодарно.

Мы жили в нескольких километрах от райцентра Кожевниково вполне комфортно, в просторном вагончике. Вокруг – березняк с широкими солнечными полянами. Вот только воды в окружающей природе не было. Мы купались в большой бочке, в ней привозили воду для раствора. Строили птичник этакой разношёрстной бригадой.

Федя был бригадиром, Виталик, исключённый вместе со мной мой друг Володя Лосев. Этих я знал. Виктор Лаврищев тоже наш студент-историк, но познакомиться пришлось только тут, в работе. Ещё Павел Крачковский, крепкий, сдержанный в общении парень. И ещё Миша Казанцев, который ушёл с нашего факультета в армию, теперь демобилизовался и с начала учебного года восстанавливался в число студентов. А нам с Лосем думать о восстановлении пока было рановато. Главное, что в бригаде были те, кто умел выкладывать стены – Фёдор, Миша и Павел; а мы, подсобники, таскали носилками раствор, подавали кирпич по цепочке на стены. Руководители совхоза поступили мудро: над всеми был поставлен их человек. Он приезжал рано утром на велосипеде. Он заводил бетономешалку, отмерял опытным глазом соотношение песка, цемента и воды, готовил строительный раствор.

В то лето я сдружился с Витей Лаврищевым. Каждый день Витя на велосипеде нашего мешальщика ездил в райцентр за газетами – это были «Правда» и «Комсомольская правда». Первую он читал, как и нужно – между строк, во второй мы находили что-то интересное. И вот однажды мы услышали басовитый вопль Лавра, подъезжающего к стройке. А потом увидели его. Размахивая газетой, он кричал: «Люди на Луне!». Мы не сразу и

поняли, в чём дело. А когда поняли, как и положено, обрадовались. «Правда» сообщила об этом петитом в три строки в заголовке промеж других новостей – космонавты-то были американские. Их называли астронавты. Зато «Комсомолка» (надо отдать должное) поставила материал на первую полосу с фотоснимком под крупным заглавием «Земляне на Луне».

Значит, это было 22 июля, на другой день после высадки Нейла Армстронга.

Не забыть и жутковатый случай с традиционным для диких бригад небрежением к технике безопасности. Витя спускался по трапу из дверного проёма к нам, на землю. Над ним лежал венчающий проём стальной швеллер, ещё не перекрытый рядами кирпича. И вот этот швеллер на наших глазах стал падать вниз. «Назад!» – заорали мы в три глотки. Лавр не сделал шага назад, но, слава богу, замер на месте. И швеллер тяжело грохнулся прямо перед ним, хорошо всколыхнув трап. Лавр подошёл к нам спокойный, но мне показалось, что нижняя губа его чуть вздрагивает. «Ребята, – сказал Витя, – мне кажется, это был привет *оттуда*».

Однажды пригрели подростка, встреченного нами в райцентре. Точнее, его представил случайно оказавшийся тут же наш сокурсник: «Знакомьтесь, Петя!». Этой замечательной фразой уже в стенах общежития его долго третировал один из наших – Миша Казанцев. Дело в том, что ночевать Пете якобы было негде. Взяли его в свой вагончик. Рано утром он исчез, прихватив мои вполне приличные польские туфли и совсем уж новые добротные брюки Михаила.

Наш бригадир связался в селе с женой милиционера, который был где-то в отъезде, но внезапно появился. Фёдор едва успел унести ноги. Без умелого руководства работы мы завершили кое-как, получили жалкие рубли, но месяц этот прошёл весело, мы не убивались до изнеможения, хватало сил и времени говорить и спорить, ходить на Обь плавать и греться на песчаном берегу.

В следующем году я работал уже ближе к городу в школе на Басандайке, чудесном месте – сосны, неподалёку обрыв над Томью. В свободное время приезжал в родное общежитие. Там, кажется, Витя Лаврищев и познакомил меня с Андреем Винарским. В год столетия Ленина, 1970-й, появилась масса юбилейных анекдотов, один из которых подчёркнуто бесстрастно и рассказывал Андрей: «В день рождения Ильича подведены итоги проектов памятника Пушкину. Третья премия – Ленин с томиком Пушкина. Вторая – Пушкин с томиком Ленина. Первая – просто Ленин».

Об этом молодом человеке хочу рассказать подробнее.

Андрей переехал из Новосибирска, на нем лежала та самая академгородковская печать снобизма и пижонства, которую потом я узнавал в ребятах из сибирского мегаполиса. Вот и наш первый разговор как-то не клеился. Меня довольно скоро утомили этот ироничный тон, нарочитость вкупе с некоторой снисходительностью, обращённой на собеседника. Я думал, как бы нам скорее разбежаться. Витя это видел и заметно волновался. «Ты вроде стихи пишешь? – спросил Андрей. – Можно что-нибудь?» Я уклонился. Тогда он попросил прочесть любимые строки. Я воспроизвёл «В том краю, где желтая крапива», ещё что-то есенинское. «Мне ближе Блок», – сказал Андрей. И начал читать Блока спокойным глуховатым голосом, так убедительно, как читают стихи действительно близкие, те, которые легли на душу. И отчуждение моё стало таять, мы разговорились, пошли втроём по городу, шутили, дурачились.

Вскоре наши встречи стали частыми. И некоторое время мы тесно втроём общались.

Бродили по городу. Отголоски наших походов в сторону площади Южной, то есть на окраину города, в берёзовый лес, звучат в моём стихотворении «Молодость.1972»: «*Пережили морозы, бураны И шагаем к лесополосе Мимо белых заборов и кранов По оттаявшему шоссе...*». Мне не показалось, чтобы природа так уж радовала Андрея. Скорее он был последовательный урбанист.

Андрей был продвинут в самых разных областях знания. Потому и мог позволить себе некоторое высокомерие, впрочем, неизбежное. Я был рядом с ним аборигеном Австралии. Но я слушал, впитывал, набирался. И он, надо сказать, с удовольствием выполнял роль миссионера. Для меня неведомой страной была классическая музыка, несмотря на то, что в годы детства из радиоприёмников бескончаемо лились Чайковский и Глинка. Но Андрей научил меня *слушать* эту музыку, дал азы музыкальной грамоты. Он подарил мне тогда «Справочник музыканта» и пластинку польского производства с Пятой симфонией Бетховена.

Мы слушали музыку в его доме (Андрей поселился в районе Дворца спорта). Попасть туда из общежития, где не хватало порой именно домашнего уюта, было здорово. Мы пили чай, бывало, спускались в магазин «Ёлочка» за портвейном и закуской, потом рассаживались на диване у проигрывателя. У Андрея я узнал и полюбил Бартока и Хиндемита.

Помню потрясение (это и вправду так, не взыщите) от Кшиштофа Пендерецкого. Это были «Страсти по Луке», где отзывались православные и грегорианские каноны, где из тишины прорастали вдруг фразы, произнесённые торжественной латынью, и сдавленные крики, и громкий шёпот. Куда, в какие пространства без границ уносился мой дух в свободном своём полёте? Холодом охватывало виски, замирало дыхание.

Андрей рассказывал об атональной музыке, о Шёнберге, цитировал «Доктора Фаустуса» Томаса Манна.

На рубеже лета, когда устанавливался понтонный мост через Томь, я уезжал на выходные домой. Как-то Андрей дал мне с собой пластинку Белы Бартока. После домашних разговоров я долго сидел в сумерках на крыльце. Уже ночью, в своей комнате, погасив свет, поставил диск на проигрыватель. Среди прочего там была фортепьянная пьеса «Музыка ночи» – фантастическое совпадение с тем, что я только что переживал, слушая засыпающий мир.

Однажды поутру мы зашли в магазин «Искра», который хоть через день, но практически навещали. И вдруг у Андрея загорелись глаза. Он взгляда не мог оторвать от полки и уже плотоядно щурился. У него это здорово получалось, ни на кого не похоже. «Крюко-о-ов! – протянул он. – Гляди-ка сюда!» Имя Жана Ануя ничего не говорило мне в ту пору. Однако я, не колеблясь, вслед за Андреем, тотчас купил двухтомник. (И никогда о том не пожалел). Намеревались порадовать кого-нибудь из своих, но денег не было. Потому, придя в общежитие, тихонько оповестили близких ребят. Информация пошла по цепочке, после обеда из похода в магазин припоздавшие филологи и историки уже возвращались ни с чем.

Вдруг – именно вдруг! – решили мы изучать польский язык. Почему именно польский, было понятно. Поляки играли джаз, у них были «Червоны гитары», их журналы проникали в СССР, там позволялось давать больше информации, хотя бы культурной – они признавали авангард, они писали о западной музыке и т.д. Андрей отыскал самоучитель с пластинками. Дело пошло, но усидчивости не хватило. Кому-то из девушек-филологов мы проговорились, они дали нам перевести современную новеллу. Это была история Леды, перенесённая в наше время. Я перевёл со словарём. Вот на том где-то всё и кончилось. А в сфере интересов Андрея появилась социолингвистика и ещё что-то, не доступное моему пониманию.

Наверное, это был самый образованный человек нашего поколения томских гуманистариёв. Однако он никак не напоминал кабинетного затворника. Участвуя в общежитиевских пирушках, постоянно лез в споры. И, как правило, выигрывал. Но бывали и проколы.

Однажды, в каком-то филологическом разговоре Андрей говорит: помните в «Бесах» одного из героев – Кириллина? Я возражаю: его фамилия Кириллов. Андрей – уверенно: в том-то и дело, что она по-достоевски вычурна, вывернута. Кириллов было бы просто. Я говорю: просто и есть. Андрей влез в спор, разгорячился, я уж и не рад был. Нет, мы должны непременно установить истину. Ну, слава богу, жил на нашем же этаже старшекурсник, счастливый обладатель серого десятомника, пришли, заглянули в десятый том. Я оказался прав.

Как-то заспорили, чей бюст на площадке перед КГБ. Андрей говорит: чекисту Шишкову. Я сомневаюсь: есть бюст писателя Шишкова в сквере у речного вокзала. А здесь кто-то другой, может, Шишкин? Андрей кричит: пошли, убедимся! Было уже довольно поздно, но сгреблись несколько человек из общежития, пошли. Доходим до КГБ, темно, ничего не видно, только уверенный профиль во мраке просматривается. Стали чиркать спичкой раз-другой, читает кто-то, вроде – Шишков. Я выразил недоверие, ещё посветили. Точно: Шишков. Обидно, но проиграл. Пошли за портвейном. И когда пошли, разговорились и решили, что выиграли все. Должен был бы дежурный КГБ выйти, посмотреть, что там делает группа пьяных молодых людей. А так как они в одном здании с МВД, то можно и передать этих ребят для объяснения в милицию. Но – обошлось.

Когда я слушаю народные истории типа «сидим – пьем», то с гордостью (может быть, наивной) думаю, что наши романтичнее. Там, как правило, финалы такие: «надавал я ему по морде» или «все отрубилась до утра».

Правда, однажды и у нас дошло до рукоприкладства. Я тогда сторожил теплицу горзеленхоза, другими сторожами были мои товарищи, вечерами приходили гости, спорили, шумели. Там опять же ширился мой кругозор – Бердяев, Бродский, Солженицын... Вот на одной вечерке, не знаю, по какому поводу Андрей стал требовать выйти и разобраться. Мы вышли в густые зимние сумерки. Он, не давая мне осмотреться, заехал в ухо так, что я упал. Вскочив, я набросился на него, обхватил, повалил на снег, прижал. Что дальше делать? Андрей безуспешно попытался выбраться, потом притих. Поднялись мы, отряхиваемся. Андрей говорит: «Ну, не бойцы мы, Володя, не бойцы». Вернулись продолжить спор в тепло.

Тогда уже Андрей был женат на моей юношеской влюблённости – Тане. В тот студенческий год отношения наши топтались на нейтрально-платоническом уровне. Влюблён я был вполне инфантильно, переживая так называемое любовное томление, которое так чудесно передано битлами в их «Girl». Черту я перейти робел, полагая тогда, что за этим следует качественно новый этап – создание семьи.

Женитьба, брак в юности были для меня чем-то невообразимо далёким, нереальным, невозможным. Даже устрашающим, честно сказать. Шли студенческие свадьбы, да и мои одноклассники женились, я пировал, писал стихотворные послания, приветствия, но на себя – ни-ни, упаси боже, – не примеривал. Почему это казалось мне столь чуждым? Не знаю, тогда я совершенно об этом не раздумывал. Принял как данность.

Позднее, читая письма Кафки к Фелице Бауэр, понял: да, пожалуй, мои представления о браке совпадали с его страхами. Самым мучительным было то, что тут нельзя спрятаться, исчезнуть, сойти на нет – надо всегда **быть**. Отъединение в браке невозможно. Так или иначе, что-то меня тормозило. Андрей оказался определённое и практичнее. Они поженились.

На последнем курсе я увлекся черноволосой девушкой с короткой стрижкой и выразительными тёмными глазами. Многие находили в ней сходство с известной тогда итальянской актрисой, которую звали Анна Карина. Суждения ее были оригинальны, независимы, она много знала в музыке и литературе. Она обреталась во вполне интеллектуальной компании, куда входил и Андрей. Конечно, они чувствовали там себя, как рыбы в воде. Я туда соваться остерегался, боясь попасть в неловкое положение. Впрочем, иногда попадал, получал там лёгкие щелчки по носу, но терпел, запоминая имена, слушая музыку, листая альбомы. Я был так очарован ею, что позволял себе там иногда что-то говорить, лишь бы обратить на себя внимание. Андрей отметил нестандартное мое поведение и обронил с лёгкой усмешкой:

– Не надо пыжиться. Не твоего поля ягода.

Но моего оказалась, моего! Что уж она во мне нашла, но стали мы встречаться, гулять, говорить. Потом она на пятнадцать лет стала моею женой.

После окончания университета мы с Андреем виделись крайне редко. Случайно сталкивались где-нибудь в центре города. Останавливались, говорили. Андрей располнел. Та, заметная в юности, вальяжность стала нагляднее. Борода добавила ему пресловутой импозантности. Но замечательные глаза оставались прежними – живыми, пытливыми,

внимательными, всегда готовыми засмеяться. Он, как всегда, говорил ярко, иронично. И уже через несколько минут я видел, что сегодняшняя его барственность – это стиль, имидж, нечто внешнее. Большая внутренняя работа, которая сделала ему блестящую репутацию у филологов и философов, социологов и культурологов, творилась наедине с собой.

Теперь хочу сказать вот о чём. Я благодарен судьбе, которая взяла и вытащила меня зимой 1968–1969 года из уютного мира общежития и университетских аудиторий. Нет, меня не бросили в какой-нибудь рабочий коллектив, где я почуял бы на своей шкуре суровую школу жизни. Но я увидел, как живёт деревня, узнал простых людей – родителей моих учеников. Я ещё застал живыми деревенских стариков, совестливых и добрых, несмотря на всё пережитое (а, может быть, именно потому).

Много лет спустя, когда я пришёл (уже как газетчик) поговорить с бывалым чекистом, я совершенно всерьёз высказал благодарность КГБ (в чьём обличье и явилась судьба) за то, что вытолкнули меня «в люди». А пришёл я к нему, чтобы узнать, что он сегодня (в 1989-м) думает о той поре. Честно глядя мне в глаза, он сказал, что хорошо понимает, чего я от него жду. «Покаяния? Так вот, нет его – покаяния. Всё мы делали, не преступая закона».

И, к слову, об этом самом Комитете. После восстановления за мною присматривали. Чтобы, не дай бог, вновь не оступился. Эта роль досталась историку-сокурснику Юре Ковалову. Для Юры это было нечто вроде производственной практики. Потому что после выпуска он начал служить в штате КГБ и, что называется, дошёл «до степеней известных». Это мягко говоря. А конкретно – стал начальником всего томского ведомства и получил серьёзный чин генерала.

Итак, в 1971-м я был восстановлен в рядах советских студентов. И неожиданно, можно сказать, авансом, простёрлось на меня уважение сокурсниц и сокурсников. Стыдно было получить на экзамене ниже четвёрки. И ещё чем-то надо было поддерживать репутацию человека, отчисленного за свободный ум. Наш преподаватель Эмма Михайловна Жилякова предложила нам, филологам, отметить 150-летие со дня рождения Достоевского. Я позволил себе скептическое замечание, типа, знаем, как будет препарирован Достоевский, каким ущемлённым и однобоким получится. И вдруг Эмма Михайловна предложила мне и подготовить вечер. Пообещала всяческое содействие и поддержку. Отступить было позорно. Я взялся за это дело, как писали в старину, со всем пылом молодости. Набрал рабочий сценарий, в котором достойное место заняли «Записки из подполья» и «Бесы». Ожидал, что на этом случится у нас нестыковка, и я уйду с торжеством провидца. Не тут-то было. Сценарий был принят, началась работа. Я привлёк к ней самых разных людей, в том числе и из театральной студии ТГУ. Эмма Михайловна деятельно помогала, не выказывая никакого менторства. Потом репетиции перешли на сцену Дома учёных. И как тут не вспомнить Ольгу Павловну Боярскую. Пожилая дама, со вкусом одетая, неизменно доброжелательная. Она отнеслась к нашей постановке с такой личной заинтересованностью, что мне хотелось сделать всё по высшему разряду. Ольга Павловна созванивалась с управлением культуры, добывая фильмы-экранизации, назначала удобное для меня время, чтобы определить с кинемехаником нужные фрагменты. При её поддержке были изготовлены стильные пригласительные билеты, которые мы не просто рассовали, а вручили чуть ли не поимённо.

Незабываемое представление! Хотя волновался я сильно, всех деталей не помню. Помню Сашу Плотникова, замечательно читающего за автора, помню Сашу Драгунова как Шатова и мрачного Валеру Шамова в роли Кириллова и его же, совсем другого в паре с Ниной Баумиллер во фрагменте из «Белых ночей». (Не эта ли встреча привела их потом к свадьбе, на которой так славно погудели?) Помню, как хорошо воспринимались благодарной аудиторией стыки кино с живыми монологами – герои вроде сходили с экрана. Вспоминаю ребят, и вдруг приходит в голову фраза Цветаевой из одного её очерка: «И все они умерли, умерли, умерли». Не все, слава Богу. Но нет уже и Саши Плотникова, и Валеры, и, понятно, Ольги Павловны.

В начале 70-х приехал в Томск кинорежиссёр Михаил Богин с фильмом «О любви». Он общался с молодёжной аудиторией, говорил даже, что присматривает типажи для новой картины. У нас как раз женился Гена Раков. Режиссёра пригласили на свадьбу. И он пришёл. Происходило всё в столовой «Радуга», в большом зале. Народу было много. И с

нашей университетской стороны и с их политехнической, потому что невеста была оттуда. Сочетание гуманитариев и технарей поначалу не обещало ничего плохого, но по мере выпивания мы почему-то не сближались. Отчуждение же нарастало. И песни Окуджавы они плохо подпевали, знали только туристов – Кукина да Визбора. И наши шутки, казалось нам, до них не доходили. Может, всё это не прорвалось бы в открытый конфликт, если бы Коле Чаусову не показалось, что одна политехница открыто предложила себя режиссёру. Не в качестве актёрки, а в другом, не требующем особого актёрского мастерства. «Ах ты, дрянь! – вскричал Коля. – Позоришь звание томской студентки!» И махач начался. До сих пор не знаю, услышал ли Коля слова девушки или придумал. Знаю точно, что он совсем не был тем ревнителем нравственности, которым возник над большим столом. Зато кулаками поработать любил. Так что, возможно, имела место провокация. Мордобой выплеснулся на улицу. В осенней ночи плохо были различимы свои и чужие. Но какой-то персонаж ткнул меня в бок, я в ответ толкнул его. Он, падая в канаву, увлек меня за собою. Тут уже прибыла милиция, какой-то из политехников стал сопротивляться, его с удовольствием затолкали в машину. Мы, помогая друг другу, выбрались на асфальт, стали отряхиваться. Один мент подошел и ко мне и сказал удивлённо: «И ты тут!». Я узнал земляка Колю Старых, гордо подтвердил своё участие в баталии. «Ну, иди, не дурите здесь больше». Пир и тосты продолжились. Режиссёр, правда, за время потасовки исчез.

С историками на этом, втором этапе обучения, я дружил больше, чем с филологами своего курса. И жил я в 5-8 (то есть восьмая комната на пятом этаже) в окружении историков. Алтаец Кабар уже упомянут в этой главе, он появится потом во взрослой жизни и поможет в трудной ситуации. Вася Пазинич – феерический кинофанат. Он не просто был зрителем на московских кинофестивалях, но умудрялся общаться со многими недостижимыми для нас людьми. Как-то за кулисами Дворца зрелищ и спорта я как внештатник молодежки беседовал с Маргаритой Тереховой. И вдруг появился Пазинич, бурно приветствуя её. И она его узнала: Вася!

Жора Шахтарин, участник хоровой капеллы университета, по-простому, капеллан. Это уж точно его заслуга, что я с давней поры стал посещать и концерты, и иногда (с позволения руководителя Виталия Сотникова) репетиции капеллы и, соответственно, стал поклонником этого коллектива. А Жора и по сей час (теперь уже как Георгий Александрович) принадлежит капелле. Под его началом – репетиционный (он же малый концертный) зал. Когда поёт капелла, чиновник становится в ряды поющих. Валера Жданов, душа-человек, ушёл из жизни довольно рано, сердце его было не в ладу с устойчивой склонностью к алкоголю. Вот это наша 5-8.

Помню, как после зимних каникул мы наостряли уши, чтобы не проспать возвращения Гены Гульбина с родины, из Молдавии. Он жил в соседней комнате. Приезжал обычно рано утром. И привозил канистру молодого красного вина добросовестного домашнего приготовления. Помню, как наш творческий парикмахер Дима Кинякин, приглядевшись, предложил постричь меня «под Брута», показав в «Истории Древнего Рима», как это будет выглядеть. Я согласился.

В мой выпускной год (1973) университетским литературным объединением руководил Станислав Петрович Федотов, который, по сути, учил, как надо писать, *чтобы прошло*. Он крутился в своём писательском союзе, и там, видно, для них делали «прогноз погоды». На каком-то занятии я сказал, что надо бы стремиться к солженицынской мере правды. Он посмотрел с хитрым ленинским прищуром:

– А с чего это Солженицын стал у нас мерилом правды? – и добавил: – Вот у меня есть знакомый, старый литератор Тихменёв, сидевший при Сталине, так он говорит, что Солженицын о лагере врёт. Не так всё было на самом деле.

– А как? – спросил я.

– Это не предмет сегодняшнего разговора, – ответил он. – Однако, ребята, давно сказано: не сотвори себе кумира.

Совсем скоро началась гнусная кампания против Александра Исаевича.

По причине неприятия такого руководителя бросил я ходить в объединение. И на какой-то пирушке в общежитии придумали мы СТУЛ (студенческое товарищество улучшателей литературы). Разумеется, несерьёзное. Учредительную сходку провели в доме Саши Криворотова на окраине Томска, где принимала нас его хлебосольная мама. Сочиняли

буриме. Помню одну заданную строку «В Москву приехал Помпиду», которая откликнулась у некоторых нескромной рифмой. Помню маяковистое стихотворение Вовы Коробенко, в котором и мне нашлось место:

*Свою миссию знаю я точно:
Клеймить засранцев, подлюков.
Имя моё непорочно,
Идти нам вместе, коллега Крюков!*

Ухватившись за фигуру Володи Коробенко, хочу остановить нескончаемую студенческую тему. У Володи, который после этого стишка получил кличку Коллега, я брал галстук и пиджак для участия в педагогической практике. Сам я костюмы и галстуки не носил. Практику мы проходили в школе № 6, и новое общение с детьми позволило мне поверить в свои силы. Я не пробовал правдами-неправдами зацепиться в городе, получил распределение в Шегарский район Томской области, а там, в районном отделе образования, нашли мне место в средней школе села Монастырка. И тут, конечно, так и просится известная фраза «каково же было мое удивление». Не совсем так. Я помнил, что когда-то ездил на «Козле» в Монастырку. Выйдя на обрыв, я увидел внизу неправдоподобно синюю речку Шегарку, а на другом берегу то самое местечко, где я оставил мотоцикл и спустился к воде, чтобы плыть сюда.

2012

ТОМСК: ЧТО УШЛО, ЧТО ОСТАЛОСЬ

I.

Покидая на время Томск, ты без всякого напряжения уносишь с собой в памяти его неповторимые черты и, прикрыв глаза в минуту отдыха, видишь все чётко и ясно. Этого чего-нибудь да стоит.

Любовь к родным местам спасает. Любовь придает неповторимость, очарование улочкам, переулкам, тупичкам, которые другим покажутся заурядными. В идеале удел человека – восхищаться красотой мира. Томск – благодарный объект для этого дела.

На его улицах ты не одинок, даже когда один. Город как будто наблюдает за тобой, нет, не наблюдает, а смотрит тепло и приязненно. Ты это чувствуешь. Всякая, даже самая малая, самая кратковременная прогулка – не только созерцание, она помогает если не разобраться в самом себе, то хотя бы призадуматься. Одиночество здесь, в окружении старых камней и древнего дерева, может доставлять удовольствие.

Удовольствие это проистекает оттого, что глаз не останавливается на мелких деталях, ничто нарочито эффектное не отвлекает тебя. Ты смотришь на всё сразу. И постепенно постигаешь его гармонию – в соразмерности частей храмов, одушевленности приземистых особняков, в общем покое. Ты видишь, что окружающее строилось без дешёвого преднамеренного расчета поразить чье-то воображение, что наша природа как-то определяла этот стиль – сдержанный и скромный, но достойный. Оттого это получилось так хорошо, так близко душе и греет ее, как должны греть дома в суровые наши зимы.

Всякий город живёт, рождается и старится. Но есть более завидная судьба – не просто существовать рядом, а помогать жить **нам**. Это про Томск.

Иногда остановишься у какого-то неказистого дома, почти полусарая, и вдруг защемит сердце по причине, самому неведомой и непонятной. Откуда этот неуловимый образ, почему сердце сберегает его?

Город – не только среда обитания, не только четыре стены и крыша, спасающие от дождя, холода и снега. Это – обиталище душ человеческих, твоих ровесников и предков.

*Безмолвны, безъязыки эти стены.
Кто даст им речь, освободит от плена
Молчания, чтобы они смогли
Поведать нам о тех, что здесь прошли?*

Вопрос «кто?» в этом четверостишии риторический. Конечно, ты сам.

Будем бродить без спешки, вглядываясь в черты его лица, слушая эхо истории. И услышим цокающую по брусчатке лошадь. Главная примета нашего города, промышлявшего извозом, перешла на его герб. Серебряный конь на зеленом фоне.

И сами старые названия складываются в легкую ностальгическую симфонию. Послушайте-ка: Пески, Болото, Кирпичи, Соляная, Заисточье... Или давайте-ка припомним, например, имена женских приходских училищ: Подгорное, Заозерное, Юрточное, Воскресенское, Пушкинское, Загорное, Еланское... Какая музыка!

В старой его части перемены столь незначительны, что несложно при некотором умении пройти сквозь столетия и очнуться в ином времени.

Как-то во студенчестве мы сидели с Володей Лосевым в тени на Ачинской или в переулке Красного Пожарника. Сидели на обрезке ствола громадного тополя, давно уже без коры, отшлифованного за десятки лет такими вот отдыхающими до металлического отлива. И мой товарищ сказал:

– Ей-богу, не удивлюсь, если сейчас из-за угла выйдет какой-нибудь мастеровой на-веселе, с длинными льняными волосами и ремешком на лбу.

Здесь, в этих местах, легко вообразимы те, кого ты никогда не встречал живьем – Григорий Потанин, Михаил Бакунин... Те, кто нашел здесь последний приют перед гибелью, – поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет.

Итак, время расступилось, а преодолеть пространство всего-ничего – сойти с главного проспекта и – в гору, откуда, собственно, пошли острог и город. У Воскресенской церкви много лет назад сложились такие строки:

*Приди сюда, где зыбки времена,
Где церковь на горе вознесена
Над городом, навстречу облакам,
Где камень лестниц сдался каблукам
Студента, грузчика, слепца, поводи́ря,
Где сумерки крадут приметы века
И остаётся в свете фонаря
Вневременная сущность человека.*

*.....
Простёрто на века моё **сегодня**,
И улица не в сумерки уводит,
В былые и грядущие года,
И вот, как на неведомом пороге,
Вдруг замираешь посреди дороги
В нечаянном раздумии: куда?*

Это не придуманное ощущение. Так и воспринимается необозримое **далеко**, как будто уезжал на много долгих дней, лет, веков... И что вернулся сюда, сохранив *плоть и кровь*, тоже не удивляет.

Можно спуститься с этой большой горы по Вокресенскому взвозу и пойти к берегу Томи. Сюда, где в большую Томь впадает маленькая Ушайка, и причалили в 1604 году служилые люди, казаки, которым велено было поставить острог. Царский воевода С.Д. Волховский, формируя в Чердыни отряды для похода в Сибирь по стопам Ермака, понял, что «в Сибирь зимним путем на конех пройти немочно». И тогда ему велено было дожидаться весеннего вскрытия рек, а Строгановым – готовить «добрые струги» со всем судовым запасом, которые подняли бы на борт по 20 человек. Можно предположить, что именно на таких стругах казаки и поднялись к будущему Томску. А следом пришло время дощаника – в XVII веке он стал самым распространенным грузовым судном на реках Западной Сибири. И наконец, появились первые купеческие пароходы. Но это было уже в ту пору, когда близ Томи ставили крепкие дома – из дерева и кирпича – богатые русские и татары.

Дерево и камень – чему отдать предпочтение? Была пора – Томск объявляли столицей деревянного зодчества. Да и как было не плениться его кружевами по карнизам и наличникам, его драконами на коньках крыш, его резными воротами?!

Помню покидавших город молодых людей, так и не ставших студентами. Понятна обида, но в трамвае, идущем к вокзалу, они лопотали что-то уж совсем несусветное: «Да и не нужен нам этот город. Чуть с главных улиц свернёшь – сплошь деревяшки».

Воистину они были не нужны друг другу. И, слава богу, что город отчасти и сам может выбирать для себя людей.

Оставаясь в стороне от больших дорог и царской и советской империй, Томск не стал полигоном для перестроек и переделок. Не избалованный праздным вниманием, он не стремился быть **привлекательнее**. Хотя и в нём немало перечень утрат – разрушили Троицкий собор, не сберегли множество замечательных деревянных сооружений, на моих глазах взорвали основательные стены старого базара...

И всё-таки в итоге эта уединенность помогла сохраниться замечательному Богоявленскому собору, которому, сняв купола, пришлось на советское время «притвориться» фабрикой резиновой обуви. И костёлу, и синагоге, и мечетям нынче потребовалась реконструкция, а не воссоздание с нуля.

Однако не могу удержаться и не вспомнить, что хотя и миновала Томск Транссибирская железнодорожная магистраль, именно в нашем городе заседало в 1918 году Сибирское правительство. Пусть недолго, но были мы столицей автономной Сибири!

Еще интересно: по принятой классификации город наш *провинциален*. Положение, что называется, обязывает, даже как-то питает честолюбие. Отсутствие суеты стимулирует самоуглубленность, учит не путать жизнь с времяпровождением. Самые образованные, развитые люди, по моим наблюдениям, возвращены провинцией. И лучшие проявления творчества рождаются в силу неразмытости, цельности душевных переживаний.

Мы любим мир за его бесконечные обновления и перемены. Но постоянство – тоже замечательное качество. То, что не меняется, также достойно любви. И все это очень трогательно в контексте старого города – почерневшие от солнца и ветра дома и вечно, с каждой весной, обновляемая зелень его кустарников и деревьев.

С годами ещё прибавилось вот что. Твой слух наполняют те же привычные звуки любимых закоулков – лай собаки, звонок трамвая, пересвисты неприятельных наших птиц, но в них недостаёт родных голосов, привычного смеха. Остался запах молодых клейких листьев тополя – когда-то самого распространённого дерева города Томска. А людей, любивших эти звуки и запахи, нет.

II.

Не только многие друзья-товарищи навсегда оставили эти места. Не стало и самих мест, где мы встречались, назначая время, а то и вовсе привычно-случайно. Вот, как недавно говорили, *навскидку* несколько памятных не мне одному точек пересечения.

«БЕЛОЧКА»

Этого места больше нет на белом свете. То есть, дом – хрущевская пятиэтажка – сохранился в своей первозданности. Так же четыре верхних этажа жильё, а на первом – магазин «Ковровый Двор». Но тогда, в наши 70-е и 80-е годы, первый этаж занимала «Белочка» – замечательное сочетание кафе и кондитерского магазина. Сразу от входа в глубине влево – пышущая кофеварка. За нею невеликого росточка Наташа, скромная, но всемогущая девушка. Почему всемогущая? В пору дневного перерыва выстраивалась немалая очередь, но верных клиентов, а лучше сказать, друзей кофе, Наташа знала и выделяла. Среди них был Исмаил Нухович. Так по имени-отчеству мы величали студента-заочника нашего ИФФ (историко-филологического факультета), человека, прошедшего армейское училище, взрослого, но холостяка, балкарца по национальности, всегда подтянутого, опрятного, бодрого, смуглого и белозубого. Он был одним из фаворитов Наташи.

Несколько раз она увидела рядом с Нуховичем и нас – меня и коллегу-товарища Толика по прозвищу Старый. И вскоре мы тоже оказались в режиме благоприятствия. Для этого нужно было подойти к стойке, чтобы быть узанным нашей кофейницей и ждать. Наташа умела обслужить своих тихо, не возмущая очередь. Очередник получал свою чашку, и тут же вторая подвигалась тебе. Вы вместе отходили в зал, а она продолжала работу.

Забавно, но я заполучил особый статус и у соседнего прилавка, где делали молочный коктейль. Я любил его не меньше кофе. Как-то стою в очереди. Вдруг за спиной продавщицы появляется ещё одна, машет мне рукой – пройдите сюда. Поспешил к ней. В глубине магазина, за дверью, чувак опускает с машины по доскам железную бочку, надо кому-то подхватить, принять, что я и сделал. И прикатил в отдел. Полагаю, это был сироп – один из составляющих коктейля. Теперь, если на смене была эта тётушка, она всегда спокойно подзывала меня и наливала вне очереди. Очередники глядели на меня с уважением – и хоть бы один запротестовал.

Кого только тут, в «Белочке», не было. Был Володя Бажиллов, врач, всегда в безукоризненно глаженных брюках, туфли его постукивали железными подковками. Бажиллов заикался, но это его нисколько не смущало. Старый поначалу сказал мне: «Я бы на его месте больше помалкивал», но потом мы привыкли к словоохотливому доктору и терпеливо дожидались в речи преодоления известных запруд, за которыми снова

весело струился поток до нового переката. Были художники Геша Можжерин и Вадим Ламанов. Забегали наши сокурсницы, которые стали сотрудницами художественного или краеведческого музеев, журналисты. Были молодые преподаватели университета, бывшие наши сокурсники – далековато от работы, но ближе тогда попросту таких заведений не существовало.

Достойным шагом захаживал Гена Скворцов, томский краевед, да что там – одержимый фанат города. Он всегда глядел как бы свысока, задрав подбородок. Нет, не свысока, взгляд его был доброжелателен и мягок, просто поверх голов – так ему легче было уноситься в свои миры. Но без собеседника он тоже не мог обходиться и безошибочно определял среди любителей кофе людей беззащитных и деликатных – тех, кто не мог его остановить или попросить замолчать. С этой минуты знакомый или полужнакомый человек был обречён. Забавно наблюдать процесс со стороны, но каково несчастному псевдособеседнику. Можно только молча посочувствовать ему.

Разворачивалась излюбленная тема томской старины – это сказано широко, лучше так: раскручивался один из сюжетов на эту тему. В центре – его, Генины, сокрушительные доводы и смешные, несостоятельные возражения оппонентов. Он мог начать: «И что интересно...», тут же отступив: «Кое-кому это не кажется убедительным...», приправив: «Ну сам посудите», приглашая тебя в понимающие с коротким смешком в адрес неверующих. Хорошо помню, как он обкатывал одно из новых доказательств того, что известный старец Феодор Козьмич, конечно же, ушедший из мира император Александр Первый. Глаза разгорались, руки вспархивали, он разыгрывал ситуацию за двоих – за себя и оппонента. «Мне могут возразить, что...» «Но это же смешно, не замечать очевидного!» «Есть якобы свидетельство иного рода». «Но всякому ли лжесвидетелю можно доверять». Времена, имена (причём не только томские и русские, но мировые) не оставляли возможности усомниться.

Особая статья – тогдашние калымщики, тоже любившие посидеть за чашечкой кофе – Станислав Божко, Саша Нечаев, покинувшие на время свои теплотрассы, траншеи или кровли. А Лёша Камбалов, сын нашей писательницы Марии Халфиной! Разговор он завязывал с полоборота на какую угодно тему. С ним нередко я забывал, что нужно возвращаться на службу. Иногда просто не мог уйти, не дослушав пассажира о Леви-Строссе или Хайдеггере. Обо всём тут переговорено.

Появлялся интересный персонаж. Да, лучше сказать именно так, потому что все звали его Пушкин – и в глаза и за глаза. Это уж потом, много позже, узнал я, что имя его Саша, а фамилия Харитонов. Он был удивительно достоверно стилизован под своего тезку. Многие определяли, конечно, обильные вьющиеся волосы, но и лицо – худое, с живыми глазами – помогало законченности облика, явленного нам мемуаристами и прижизненными портретами. И рождалось натурально *узнавание*. Сам он, кстати, сочинял стихи. Мне не удалось прочесть или услышать ни строки. Может, кому-то повезло больше. Но зато я слышал, как он рассказывал о встрече с Олжасом Сулейменовым. Для той поры это была яркая, самобытная фигура. И поэт, и автор очень спорной с точки зрения ученых-востоковедов книги «Аз и Я». Пушкин не входил в подробности, но передавал благословляющий жест Олжаса – дружеское похлопывание по плечу и наказ:

– Пиши, старик, пиши!

Наташа делала эталонный, честный, качественный кофе. Когда несколько лет спустя в новом универсаме на Учебной тоже появилась стойка, мы со Старым отправились туда, чтобы проверить мастерство кофейниц. Наш метод назывался *эффект ложки*. Если ложечка, опущенная в чёрный двойной была не видна (или почти не видна), технология выдержана. Конечно, и на вкус это проверялось.

А вернувшись в студенческие годы, вспоминаю, как заходили мы сюда с мороза после долгой прогулки от Университетской рощи с валяниями в снегу, и Люда Ушакова – недолгая моя подруга – просила конфет, которые назвались именно «Белочка».

«ОСЕНЬ»

Свернув с главного проспекта (имени Ленина, разумеется) на проспект с не менее выразительным именем Фрунзе и пройдя квартал по левой стороне, ты оказывался возле, как тогда – в 70-е годы – величалось, *современного* здания (стекло, бетон). Ресторан «Осень». Он возник на месте старой столовой, в которой почему-то всегда висел пар, неизвестно откуда приходящий. А ещё раньше на этой земле стояла часовенка в честь томского старца Федора Козьмича, которого настойчиво продвигают как устранившегося из мира императора Александра I. Всех победил ресторан.

Но массовый посетитель любил не сам ресторан, а его преддверие. Здесь тянулась длинная стойка красного цвета, к ней придвинуты были редчайшие тогда в городе пуфы – круглые полумягкие табуреты тоже красного цвета на вертящейся ножке. Кому не доставалось места здесь, мог располагаться за обычными столиками рядом. Томская профессура любила именно эти простые столы. Но для меня счастьем было, конечно, сидеть и тихо поворачиваться на пуфе туда-сюда, потягивая свой алкоголь. Великого выбора не представлялось. Но некая сибирская экзотика присутствовала. Были брусничные и клюквенные коктейли, где водка простёгивалась соком этих ягод. Предлагались вкусные и недорогие бутерброды.

В углу стоял настоящий музыкальный автомат, кажется, болгарского производства. Бросая в щель 15 копеек, ты нажимал выбранную песню и возвращался к стойке. Собравшиеся слушали навязанный тобой номер. Я описал это место в своих «Прогулках». Позволю себе самоцитирование.

*Помнишь первые кафе со стойкой?
Ты сидишь, задумчиво клонясь
над стаканом с клюквенной настойкой,
но глядишь как родовитый князь.
Твой последний рубль уже разменян,
но пока ещё осмыслен взгляд,
брось монету, чтобы Чеслав Немен
нам пропел, как «dziwny jest ten swiat».
Этот свет и вправду свеж и чуден,
это наши, собственно, дела:
мы из общепитовских посудин
пьем, как из божьего стекла.*

Напомню, что Чеслав Немен (1939–2004) – рок-певец и композитор, один из лидеров польского художественного авангарда. А его песня про чудный мир была в ту пору одной из любимых (по крайней мере, в студенческой среде).

Разговоры и споры достигали сильного накала, проходили на высоком градусе (протите каламбур) откровенности. Потом открылось, что здесь работникам органов очень удобно отслеживать умонастроения молодых, и, может быть, пообщаться непосредственно с диссидентствующими ребятами. Помню забавный случай. Неплохо подогретые вином мы развели жестокий спор с незнакомыми молодыми людьми. Тема была рискованной: о свободе. И подсел к нам непонятно откуда явившийся неприметный человек. И вдруг один из наших оппонентов знаками показал мне выйти за дверь, в туалет. Мы порознь выдвинулись туда, и парень, мотнув головой в сторону столика, выдохнул: «Он из КГБ!». Глядь: подсевший уже катит к нам, разминая в пальцах папиросу. А мы обратно к столику и предлагаем каждый своей стороне: «Хватит, засиделись, пора по домам, продолжим в другой раз». И наш засвеченный агент курит за стеклом, провожает нас сожаляющим взглядом.

Туда же в ранних осенних сумерках какого-то года конца 70-х зашли мы с Мишей Орловым. Сначала о Мише. Жил в Томске (и в Кемерове некоторое время) молодой человек с умным цепким взглядом, худой, острые плечи его сразу бросались в глаза. Был он умён, начитан, ироничен. Причём ирония его не была злой, он легко смеялся. Помню наше знакомство. Я зашёл в молодёжку, там работал хороший мой товарищ Гена Плющенко. Он и представил мне своего собеседника: «Михаил». Тот сверкнул живыми глазами, рукопожатие его было быстрым и крепким. Тогда я и прочел стихи. И сразу понял, что ему придется туго в общении с теми, кто у нас в городе давал «добро» на выход к читателю. В Мишинных

строчках не было местного колорита, трудовой романтики, других неизменных атрибутов проходняка, перечислять которые скучно и грустно. Строки его были крепко сшиты, слова точны, интонации уверенны. Ты сразу воспринимал их энергетику и отмечал присутствие в них освоенной, растворенной мировой культуры. (Я писал о том, как такие стихи принимались на областных литературных семинарах). Разумеется, прохладно. Столичные мэтры искали другое: от земли, от тайги, от васюганских болот с запахом нефти. Тем не менее, мы в паре таких семинаров участвовали. И вот после окончания одного из них вышли из Дома учёных (где он проводился) не то чтобы побитые, но *отверженные*, что ли.

Ноги сами привели к дверям «Осени», мы выпили портвейна, расслабились и хорошо поговорили. Не смогу воспроизвести беседы, а сочинять не хочется. Но главное состояло в том, что мы остались «при своих», не собирались следовать советам наставников, не прельщаться газетно-журнальными искушениями. Слава богу, у нас было на кого опереться – и среди ушедших, и среди живых. Я почитал учителем Кушнера, который отозвался на мои опусы, Миша был в переписке с Кавериным и Межелайтисом. Вышли в окрепшие сумерки, пожали друг другу руки, опять я почувствовал его крепкую кисть. К сожалению, общались мы редко, по чьей вине – трудно сказать. Миша не дождался прижизненного признания, книга «Травы чужих полей» вышла уже посмертно. Какие сны в том смертном сне приснятся? Узнает ли он там, где «покров земного чувства снят», что областной конкурс молодых поэтов назвали его именем?..

«ВЕЧНА»

Эта стекляшка на главном проспекте города сохранилась. Но вместо пяти аршинных букв, из которых возникало слово, заставляющее вспомнить Боттичелли и Вивальди, сегодня вашему взору предстанет «МЕГАФОН».* Иные времена, иные песни. Как хорошо, как уютно было за столиком и одному, и в компании, несмотря на гигантские окна, открывающие тебя городу и миру.

Здесь в 1999-м с Женей Зыряновым мы отметили завершение вёрстки моей книжки «Линия ветра». Женя, товарищ с университетских лет, стал мастером макетирования и не мне одному помог подготовить книжку к печати. Меня тогда поразило, что он запросто обратился по имени к одной разносчице, потом к другой.

– Да как же ты их помнишь?! – закричал я в восторге.

– Зачем помнить, – возразил Женя. – У каждой имя на бейджике написано.

При моей рассеянности и близорукости немудрено было этого не заметить.

В другой раз я зашёл переждать дождь, чтобы не мокнуть на автобусной остановке. При скудости средств взял кофе и бутерброд, сел ближе к окну. Соседом оказался молодой человек восточного происхождения. Был он печально погружён в себя. Через какое-то время поднял на меня глаза, я ободряюще ему улыбнулся. Прошло ещё некоторое время.

– Вы не можете мне? – спросил он и, когда я неопределённо пожал плечами, добавил: – Надо жалобу написать.

Из дальнейшего стало понятно, что он нездешний, ездил по доверенности дяди по городу, попал на глаза гаишнику, документ его был изъят, надо выкупать, но он не считает себя виновным. Говорил по-русски не очень, понятно, что с письмом дело было ещё хуже. Я сказал, что попробуем, достал ручку, подошёл к прилавку раздачи блюд, сердечно попросил девушку принести три листка бумаги. Она ушла в глубину. Через минуту-другую вручила мне три чистых листа. Я вернулся к новому товарищу и увидел на столе полстакана водки и вполне аппетитный шницель. Грустный приятель поднял свой стакан сока, предлагая присоединиться. Я слушал его историю по частям, останавливал рассказ и претворял в абзац текста. Мы обозначили время, место, обстоятельства. Мне показалось сочинённое убедительным. Прочёл ему, он горячо согласился, сказал, что это нужно непременно закрепить. Ещё 150 граммов, и мы поднялись из-за стола. Дождь, как и положено, стих. Я двинул на остановку, он немедленно отправился на площадь Ленина, в начальственные кабинеты ГАИ. Не знаю, чем закончились наши труды, но меня грели разливающаяся по крови водка и сознание того, что я помог человеку в беде.

Как-то в самом начале 80-х встретились мне на улице Валера Жданов и Гена Ипатов. Предложили присоединиться. И вроде бы можно пойти в укромный уголок города, но чего-то другого хотелось, тем более что стояла мягкая августовская погода. И что же? Гена просил нас подождать у гостиницы «Сибирь», вышел оттуда облаченным в белый халат, потом перешли мы дорогу и он с заднего хода проник в эту самую «Весну». Гена появился с

пакетом в руке, сказал, что мы едем на Басандайку. С автобуса № 5 мы сошли у поселковой школы, и, пройдя сосняком, отыскивали чудесное место: с крутого берега над Томью открывались заречные луга. Гена развернул пакет, мы ахнули. Почти до заката солнца мы, как разбойники из «Бременских музыкантов», жарили мясо на кусках проволоки и пили вино. Мясом (небывалый в ту пору продукт) нас снабдили работники «Весны», которым Гена сумел представить себя санитарным врачом.

Нет на земле ни Толика, ни Жени, ни Валеры. Но вы знаете: и сегодня на улицах города они встречаются мне. И я не удивляюсь. Я знаю, что этого не может быть. Но при моём угасающем зрении, отмечая знакомый поворот головы, похожую походку, дорисовываешь облик старого знакомого, провожаешь его взглядом, молча окликаешь по имени.

Воистину, в таких случаях ты сам обманываться рад.

2013

* Время катит, как мы раньше говорили, «со страшной силой». Сегодня нет уже над бывшей стекляшкой надписи «Мегафон». А есть другая – «Сбербанк». Вошли мы туда с женою оплатить квиток и стали оглядываться по сторонам: вот тут были столики, а тут линия раздачи, а здесь вот... вешалка, что ли?

Юрий Малышев

ПИМОКАТЫ

В течение многих лет меня не покидало желание написать воспоминания о своём дедушке, потомственном пимокате Алексее Павловиче Шальнове.

Уроженец Костромской губернии, он был убеждён, что именно здесь зародилось это ремесло и славилось на всю Русь-матушку, как славится Тула своими оружейниками, или Иваново ткачихами. Шестьдесят лет своей жизни он посвятил профессии катальщика, исколесив в поисках работы, на подводах, сотни вёрст и множество деревень от Костромы до Сибири.

*...У нас в деревне валенки катают
Зимой и летом, в общем, круглый год,
И мужики, и бабы – все катают,
Любой парнишка, только подрастёт...*

Ныне профессия кустаря-пимоката, подобно другим кустарным профессиям, канула в прошлое, машины заменили их адски тяжёлый труд. Пимоката в деревне теперь не найдёшь. Кто остался в живых – состарился, не под силу стала эта работуха, ох, не под силу. Вот и дед мой отложил свой инструмент на чердак в дальний ящик и вряд ли возьмётся за него.

А память нет-нет, да и вернёт в прошлое, не забыть ему те годы, не забыть.

– В наших деревнях, – вспоминал нередко дед, – пимокаты были, почитай, в каждой семье. Все от мала до велика владели этим ремеслом.

У каждой семьи был свой почерк, своего рода «знак качества», которым потомки дожили и не могли, не имели права потерять его, в противном случае оставались без куска хлеба.

Не случайно разъезжали ремесленники по другим губерниям, уходили в так называемый «отхожий» промысел небольшими группами по 3–4 человека.

Впервые Алёша Шальнов шестнадцатилетним подростком ушёл с пимокатами на заработки в качестве шерстобита в соседнюю, Вятскую губернию, а в двадцать четыре года сам возглавил бригаду в далёкую Сибирь.

Когда в 1964 году я получил распределение на место постоянного прохождения службы, дед, провожая меня в Томск, попросил обратить внимание на станцию Татарскую. И поведал мне о своей первой поездке в этот далёкий и неведомый край.

– Это было в первую германскую войну, когда меня комиссовали из Ярославского госпиталя, где я лечился после полученного в 1916 году ранения в Карпатах, – начал свой рассказ дед. – В ту пору у меня на руках уже были две дочери: Маня, трёх годиков, и твоя мать, Шура, восьми месяцев от роду.

Голод постиг Костромскую губернию из-за неурожая. Засуха была страшная. О Сибири молва доходила до нас хорошая. Вот мы и решили поехать в эти края пимокатить с Колькой Бакшеевым, моим товарищем, и пятнадцатилетним Гришкой Захаровым, которого взяли учеником-шерстобитом из бедной семьи, пожалев его мать-одиночку, Нюрку Яшину.

К поездке готовились тщательно. Приводили в порядок пимокатный инструмент, набрали по мешку продуктов-«подорожников», дорога предстояла длинная.

Мой тятенька довёз нас на своём жеребце, Зипуном звали, до Мантурово. Купив билеты до станции «Татарская», мы направились в багажное помещение, чтоб сдать «маштар». Сам представляешь, внучек, разве с такой «бандурой» в вагон нас запустят?

Приёмщик с красным неприветливым лицом и огненно-рыжими таракаными усами, осмотрев это странное, на его взгляд, изделие, спрашивает: «Что это такое? Как называется?»

Я стал ему объяснять, что это «маштар» и применяется он для битья шерсти.

– Я не знаю никакого «манштар», – коверкая название моего инструмента, со злостью прошипел он. – Как мне записать это г... в квитанцию?

Пиши, говорю, шерстобитная машина, и стоит она 25 рублей.

Ни слова больше не говоря, он заполнил мне квитанцию. Согласно купленным билетам, мы сели в общий вагон. Поезд тронулся.

Больше двух недель тащился наш паровозик с остановками на всех разъездах и почти у каждого столба, выбрасывая из трубы клубы чёрного дыма. В ту пору была ведь однопутка до самого Востока.

В Татарске я подал квитанцию на получение «шерстобитной машины» приёмщику с добрым, приветливым лицом, который, глядя на нас, удивился, что мы приехали из такой дали.

Он осмотрел всё багажное помещение, которое размещалось в небольшой деревянной пристройке к вокзалу, молча подошёл к нам, лицо его выражало обеспокоенность. Я понял, что произошёл какой-то казус. Постояв минуту-другую, покрутив в руках квитанцию, он выскочил в открытую на вокзал дверь.

Вскоре он вернулся с одетым по форме подтянутым молодым человеком, на ходу показывая ему квитанцию. Они проверили все стеллажи. Однако, «шерстобитной машины» моей не было.

Составив какую-то бумагу, они заставили меня в ней расписаться и выдали 25 рублей.

От радости я еле сдержался. В то время это были немалые деньги. До сих пор не могу понять, куда делся мой «маштар», – смеясь, продолжал свой рассказ дед. – Может, в Мантурово не погрузили его в багажный вагон?

Для меня изготовить его – день работы. При возвращении домой я рассказал этот случай своим пимокатам. Они попадали со смеху.

На вокзале мы быстро отыскали лошадь с дровнями. Её владелец, узнав, что мы пимокаты, с радостью согласился довести нас до своей деревни, что в пяти верстах от Татарки.

Дорога была ухабистой, с глубокими колеями. Ноябрьский снежок лишь слегка запорошил её, и нашу повозку от быстрой езды мотало из стороны в сторону и подбрасывало на каждой колдобине. Возница то и дело придерживал ретивого коня, опасаясь перевернуть сани. По дороге он поведал нам о своей деревне, в которой около ста дворов. Живут в ней, в основном, переселенцы со всей России по столыпинской реформе 1907 года. Дома у них – добротные пятистенки, в подворьях держат всякую животину: лошадей, коров, овец, свиней, гусей и кур. А земля здесь не меряна – бери, сколь хошь. И нам работы хватит досыта. За разговорами не заметили, как показалась деревня, и наш ямщик, подъехав к дому с резными ставнями, крикнул, не вылезая из саней: «Эй, хозяйка, принимай постояльцев!»

Из калитки вышла приятная на вид лет шестидесяти старушка. Приветливо поздоровавшись с нами, пригласила пройти в избу.

– Звать меня Аграфеной, – с улыбкой представилась она.

– Меня Алёшей, а это Коля и Гриша, приехали мы из Костромы поработать у вас, катать валенки будем.

– Располагайтесь, – сказала она мягким голосом, в котором чувствовалось радушие и доброта.

Мы договорились, что она будет готовить нам еду, стирать бельишко, изредка топить баньку. В избе было уютно и чисто: пол застелен половиками, на окнах занавески, над зеркалом висело вышитое полотенце, значит хозяйка чистоплотная, для себя отметил я. Аграфена отвела нам помещение для работы, а для ночлега – полати.

Деревня эта носила замысловатое татарское название, ведь этот край был когда-то вотчиной самого хана Кучума.

Весть о появлении костромских пимокатов быстро разнеслась по всей округе. В нашу избу один за другим потянулись местные жители со своими заказами, осторожно выспрашивая нас, откуда приехали, надолго ли.

Несли и несли нам котомки с шерстью, узелки с продуктами: кто мясо и сало, кто масло, сметану, муку, мёд, пельмени. Всем хотелось побыстрее получить новые валенки, зима-то в Сибири студёная, у ребятишек пятки на валенках голые, ходить не в чем, говорили они. Я старался успокоить, мол, обуюм всех, люди добрые, босых не оставим.

На следующий день я изготовил маштар, а Колька с Григорием готовили мастерскую. К вечеру всё было готово. Я подозвал Гришку, передал ему из рук в руки биток и показал, как надо бить шерсть. Он начал неумело ударять битком по струне, часто промахивался и, попадая по колену, до слёз морщился от боли. Немало ушло времени, пока мой Григорий стал настоящим шерстобитом. Первый валенок я закатывал сам. Мне не хотелось перед сельчанами пасть в грязь лицом. Уже тогда я для себя отметил, что мы приедем сюда ещё не раз.

В четыре часа ночи я поднял своих работников, с того дня мы всегда вставали в это же время.

Работа над изготовлением валенка, особенно стирка, занимает очень много времени. Ты же видел в детстве, сам знаешь. Гришка с одной спички разжёт печь с водяным котлом, мы с Колькой разделись до нижних портков, и, как только закипела вода, приступили к стирке. Одновременно я обрабатывал свой и Колькин валенок, так как надо было придать тому и другому одинаковую форму и размер, не допустить, чтобы они смотрели в одну сторону. К десяти часам утра, управившись с работой, мы сели за стол, где наша хлебосольная Аграфенушка приготовила обильный, праздничный завтрак, налив всем по чарке самогона. Мы выпили за приезд, за новоселье, за первую пару валенок.

Так пошла день за днём эта работа. Всяк занимался своим делом: Гришка бил шерсть, а мы с Колюшкой закатывали и стирали валенки.

После стирки и завтрака позволяли себе часок вздремнуть на русской печке. Работали без выходных по 17 – 18 часов в сутки. За весь сезон (с ноября по апрель) позволили себе 4–5 дней отдыха по великим престольным праздникам, перед которыми тётушка Аграфена топила нам жаркую баньку по-чёрному.

Жалела она нас, по-матерински жалела: «Ну что ж вы убиваетесь, себя не жалеючи? Кто вас гонит-то? Молодые парни, а у нас в деревне вон сколько девчат молодых, да красивых. Эх, вы! Они сами вокруг нашего дома каждый вечер резвятся, сугробы топчут, мне проходу не дают. Взяли да пригласили б вечером к себе, поговорили, песенку попели что ли...»

А нам было не до того. Работы набрали столько, что не знали, как до весны управиться.

Слушая деда, я невольно вспомнил те далёкие годы, когда ещё мальчишкой с любопытством наблюдал, как трудился он над своим изделием. На мой вопрос: что и как, терпеливо отвечал, показывая, в какой последовательности нужно выполнять ту или иную операцию с валенком, причём на каждую из них у него был свой отсчёт. «А если собьёшься, то как быть?» – спрашивал я у него. «Тогда начинаю считать опять с начала», – с улыбкой отшучивался дед.

Со стороны казалось, что с валенком он будто бы играет, поглаживая его, то с одной, то с другой стороны, любуясь своим изделием, кряхтя и мурлыча мелодию, выдуманную им самим. Только спустя многие годы я понял, что он выполнял тяжелейшую работу, которая требовала большой силы, выносливости и навыка. И всё это вырабатывалось годами.

– Зима пролетела незаметно, – продолжал свой рассказ дед, – настала пора домой возвращаться.

В его тихом голосе передавалась грусть и жалость расставания с этими добрыми людьми, особенно с тётушкой Аграфеной, которая стала родной и близкой.

– Провожала нас вся деревня по первому половодью. Благодарили за работу, просили приехать ещё, а тётушка плакала так, словно предчувствовала, что мы больше не вернёмся.

– Родные мои, вы мне стали близкими, как дети родные, не хочу отпускать вас, не хочу!

Нагрузили нам продуктов целую подводку и довели до самой станции. Тогда я не думал, внучек, что эта поездка для нас будет последней. То было весной 1917 года.

Будь она неладна, эта революция, которая смешала всю нашу жизнь и повернула её вверх дном.

За ней грянула Гражданская. Мыслимо ли дело – сын шёл на отца, брат на брата?!

Всё пережили, и даже подразверстку, по которой выгребали у крестьян всё до последнего зёрнышка. Бездари да лодыри править стали деревней. Народ от отчаяния кто в

петлю лез, кто бунтовал, поджигая сельсоветы. Следом слали отряды с винтовками и расстреливали бунтовщиков на месте.

Вот ты учил в своём университете историю нашу по книжкам, а мы испытали её на горбу своём, знаем, какой была она на самом деле...

Дед махнул рукой, смолк, из его глаз выкатились крупные слезинки, и, скользнув по чисто выбритым щекам, бусинками сверкали в поседевших его усах.

Мне не хотелось, чтоб он ворошил те годы, которые пришлось ему пережить, а вместе с ним и его семье.

Когда мы жили в Пятково Пермской области, это было в далёкие 50-е годы прошлого века, к нам каждую осень съезжались костромские пимокаты, как на перевалочный пункт. Передохнув после дороги, они расходились всяк по «своей» деревне, где пимокаты по многу лет.

Это были близкие и далекие родственники, или просто знакомые моих родителей, седовласые, познавшие жизнь мужики. Мне нравились их мирные, неторопливые беседы с приятным костромским говором.

...С полатай я порой ночами
Был слушать до света готов,
Дремля под мерными речами,
Степенных, мудрых стариков...

В своих разговорах они нередко смешивали наши слова со «жгонскими». Я понимал их каждое изречение и нередко спрашивал дедушку, откуда взялись эти непонятные для других, странные слова и зачем.

– Я не знаю, внучек, когда они появились, но полагаю, что связано это с нашим ремеслом. Когда в те далёкие годы пимокаты-костромичи разбрелись по другим губерниям, где не знали ремесло наше, а местным хотелось выведать их секреты, тогда и стали вставлять они в разговорную речь жаргонские слова, услышанные кем-то и где-то.

Поскольку пимокаты именовали себя «жгонами», стало быть этот язык стал называться «жгонским».

Он не имеет письменности, однако, слова, написанные буквами русского алфавита, мог перевести только жгон.

Твоя мама рассказывала мне, что на фронт своему мужу она писала письма на жгонском языке со всеми подробностями. Её письма доходили без помарок со штемпелем: «Проверено военной цензурой».

Его сослуживцы только и ждали Шуриных писем, так как адресованные им письма от жён, наполовину были вымараны той же проверкой.

Вот так-то, внучек, даже в этом случае жгонский язык был нужен.

Сейчас он забыт, мало осталось в живых тех, кто ещё помнит его.

Может, ты напишешь об этом?

* жгонка – приспособление для катания, валяния валенок (жаргон костромских пимокатов).

Валерий Доманский

МАЛОРОССИЙСКАЯ ТРУППА Ф.А. ХМАРЫ В ТОМСКЕ

В истории культурной жизни дореволюционного Томска одним из самых ярких событий являются гастролы различных театральных трупп – из Центральной России, Москвы и даже Украины, которые охотно отправлялись в университетский Томск, где долгие годы не было своей постоянной труппы, но были культурные и благодарные зрители. Поэтому историю томского театра преимущественно составляют отдельные сюжеты из истории антреприз и театральных гастролей. Они, к сожалению, до сих пор практически не описаны, хотя томская периодика предоставляет обильный материал для изучения этой темы.

Один такой сюжет о гастролях украинской труппы Ф.А. Хмары будет раскрыт в данной публикации. Эти гастроли проходили в Томске в период с начала января до середины февраля 1903 года, в обычные дни в здании бесплатной народной библиотеки, а по праздникам в помещении общественного собрания. Репертуар труппы Хмары состоял преимущественно из украинских оперетт и инсценировок по произведениям украинских писателей, а также некоторых оперетт русских авторов. Томская публика очень хорошо приняла представление украинской труппы, о чем уже свидетельствует рецензия И. Ольгина в «Сибирском вестнике» от 5 января: под названием «Первая гастроль малороссов»: «Бесплатная библиотека уже давно не вмещала столько публики в себе, сколько было на первом спектакле 3 января прибывшей к нам малороссийской труппы Ф.А. Хмара. Билеты задолго до начала спектакля были распроданы, очень много публики толпилось в дверях и проходах, а многим приходилось возвращаться домой, не попав на спектакль. Поставленная драматическая оперетка Старицкого «Цыганка Аза», шедшая уже неоднократно у нас, была исполнена с полным ансамблем и оставила по себе самое лучшее впечатление».

Автор рецензии сравнивает первое впечатление от игры труппы Хмары и приходит к выводу, что она значительно превосходит труппы Морозенко и Каганца, гастролировавшие ранее в Томске. Он отмечает достойный профессиональный уровень хора и оркестра, а также новизну и свежесть костюмов. Но главное – это хорошее исполнение вокальных номеров артистами Ясновской, Антонович и Черновым и залихватская пляска, которая, по его словам, вызвала восторг у публики. Рецензент в особенности выделяет игру артистки Антонович (Галя) в роли Азы, а также исполнителей ролей Лопуха (Зозуля), Васыля (Чернов) и Панаса (Хмара).

«Сибирский вестник» постоянно из номера в номер помещает на первой странице анонсы об опереттах украинской труппы, из которых можно узнать, что почти вся украинская опереточная классика была поставлена на томской сцене.

Интересно, что в это же время на сцене театра Королёва шли драматические спектакли русской труппы Ю.Ф. Строговой, которые имели значительно меньший успех, о чем свидетельствуют рецензии того же И. Ольгина и Всеволода Долгорукова, подписывающего свои рецензии псевдонимом *Неизменный театрал*. Так, например, ничего лестного не было высказано рецензентом о спектакле по комедии Н.А. Борисова «Бирон», а спектакль по драме Суворина «Татьяна Репина» назван безжизненным и бледным, за исключением игры «г-жи Строговой в роли Кокошкиной» (№ 9, 12 января). И. Ольгин не смог дать положительной оценки и спектаклю русской труппы по комедии А.П. Чехова «Три сестры» (№ 8, 11 января).

Украинская труппа ставила также и оперы, и первой на томской сцене была поставлена опера украинского композитора Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». В своей рецензии, помещенной в рубрике «Театр и музыка» под названием «Спектакль малороссов в общественном собрании», Всеволод Долгоруков отмечал, что «труппа Хмары будет иметь успех, так как в Томске немало любителей малороссийских мотивов». И уже первое исполнение ею оперы произвело «впечатление благоприятное». Опытный театральный критик неплохо разбирался в специфике оперного искусства и профессионально оценивал пение актеров: «Госпожа Ясновская обладает хорошим голосом приятно-

го тембра и имела успех в роли Одарки, жены запорожца Ивана Караса; недурной голос и у г-жи Антонович, выступавшей в роли Оксаны, приемной дочери Караса. Правда, – отмечал при этом рецензент, – голос этот необработан, слаб на нижнем регистре; но исполнение простых малороссийских мотивов ей удается, и впечатление получается хорошее. Недурной баритон и у Чернова, исполнявшего роль молодого казака Андрия». Несомненным достоинством игры двух ведущих актрис, Ясновской и Антонович, Долгоруков считал также их «довольно прочувствованную игру» (№ 6, 9 января).

Еще одной удачной постановкой украинской труппы, по мнению рецензента И. Ольгина, была оперетта по пьесе А.Л. Суходольского «Майская ночь» (по мотивам Н.В. Гоголя). «Особенно удачным, – по его мнению, – нужно считать первый акт, где артисты имели положительно выдающийся успех. Хоры звучали очень стройно, а игра г-ж Ясновской и Антонович подкупала зрителей своей непринужденностью» (№ 7, 10 января). И. Ольгин отмечает неизменный успех украинской труппы: «В общем спектакль прошел хорошо, и все участвующие удостоились аплодисментов и вызовов, а музыкальные номера были бисированы».

Особого успеха у томской публики, как пишет в следующей своей рецензии И. Ольгин, был удостоен спектакль по драме И.П. Котляревского «Наталка Полтавка». В «Наталке Полтавке» ему понравилась непринужденная игра С.М. Антонович, выступавшей в заглавной роли. Он сообщает, что «вокальные номера, выполненные г-жой Антонович, слушались с большим удовольствием». С неподдельным комизмом исполняли свои роли артисты Хмара (ввозный), и Зозуля (выборный). В заключение спектакля были поставлены «цыганские песни в лицах», в которых в роли Стеши появилась артистка Ясновская и своей игрой и пением заслужила громкие аплодисменты.

Совсем другое впечатление у зрителей вызвала оперетта И. Захаренко (1839–1908) «Червоні черевики». Она не вызвала особого интереса, так как в ней, полагает автор рецензии, много скучных разговоров и акты слишком растянуты. «Это чуть ли не самая неудачная пьеса из репертуара малороссийских опереток, – заключает И. Ольгин. – На этот раз опять же так хороша была г-жа Ясновская в роли наймицы Стехи» (№ 10, 14 января).

Более критические суждения об успехах украинской труппы содержатся в рецензии Всеволода Долгорукова от 16 января, который отмечает, что большая часть томской публики не может отличить «посредственную оперетку» от «очень хорошей и идейной пьесы», каковой, по его мнению является драма «Родина» Зудермана – бенефисный спектакль артиста Быстрова. Известный томский литератор и критик отстаивает высокое искусство и стремится воспитать требовательного зрителя, который приходит в театр не только развлекаться, но и переживать, сострадать, испытывать катарсис.

Суждения И. Ольгина о спектаклях и опереттах украинской труппы по-прежнему комплиментарны. В своей рецензии, помещенной в этом же номере «Сибирского вестника» он дает достаточно высокую оценку спектаклю по драме Л.Я. Манько «Нещасне кохання» («Несчастливая любовь»). «Малороссийская труппа Ф.А. Хмары положительно завоевала симпатии нашей публики. В такие дни, как понедельник и вторник спектакли их проходят почти при полных сборах». Анализируя постановку драмы Манько, И. Ольгин опять выделяет Е.П. Ясновскую, на этот раз в трудной драматической роли Зарьки, отмечая, что «в четвертом и пятом актах игра ее доходила до совершенства, и г-жа Ясновская создала лицо, переживающее страшные нравственные потрясения». В очередной раз он хвалит хор и особенно выделяет исполнение квартетом песни на слова Т.Г. Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий». Заключает рецензию автор предположением, что труппа Хмары «вполне пришлась по вкусу томичам и будет подвизаться у нас не без успеха».

Во второй половине января произошло объединение двух трупп – украинской труппы Ф.А. Хмары и русской труппы Ю.Ф. Строговой. Украинская труппа получила возможность ставить спектакли на более престижной сцене – в театре Королева, а русская труппа, неудовлетворенная кассовыми сборами, стремилась поправить дела за счет успеха своего партнера. Новый театральный коллектив получает название «Русско-малороссийская опереточно-драматическая труппа», главным руководителем его становится Ф.А. Хмара. В «Сибирском вестнике» появляется анонс спектаклей объединенной труппы, которые теперь неизменно идут на сцене театра Королева.

Состав украинской труппы за короткое время репетирует и ставит на сцене театра Королева еще плохо освоенную русской сценой оперетту С. Джонса «Гейша, или Необычайное происшествие в одной японской чайной» (либретто О. Холла и Г. Гринбэнка). Оперетта с интригующим названием вызвала необычайный интерес, и театр был переполнен. Вполне

положительную оценку постановке дает Всеволод Долгоруков: «Исполнение оперетки я не могу назвать блестящим, но оно было именно вполне удовлетворительным. Хорошие свежие костюмы, хорошая декорация, недурные стройные хоры и изящная симпатичная Молли в лице г-жи Ясновской. У г-жи Ясновской недурной голос, как раз для оперетки, изящные, не без грации, манеры и некоторый опереточный шик. Особенно удались ей сцены во втором действии. Исполнение здесь вызвало шумные аплодисменты и требование повторений» (№ 16, 21 января). На этот раз рецензент отмечает также и игру исполнителей второстепенных ролей: Хмары в роли маркиза Имари и Зозули в роли китайца, содержателя чайного домика.

Повторное исполнение «Гейши» оказалось менее удачным, что отмечает в своей небольшой рецензии И. Ольгин, критикуя кордебалет и массовые сцены, в которых участвуют гейши, не умеющие обходиться с веером (№18, 23 января). Не совсем удачной в это время была также постановка Строговой пьесы М. Горького «Мещане». Но украинский состав объединенной труппы неизменно радовал томского зрителя, хотя на спектакле по драме Мирославского «Мазепа» публики было не так много, но, как замечает Долгоруков: «...оно и понятно; каждый день то спектакль, то концерт, и часто по два в один день, т.е. в двух, а иногда в трех местах – в театре, клубе и бесплатной библиотеке. Как хотите, но в Томске не сто тысяч жителей, и посетителей не может хватить на все развлечения» (№ 20, 25 января). Вместе с тем *Неизменный театрал* вновь выделил игру Ясновской, которая «с большим чувством и одушевлением провела роль дочери Кочубея – Марии». Резюмируя свои суждения о спектакле, критик заметил: «У малороссов, право, очень недурная труппа, есть две-три талантливые силы и главное очень недурное хорошее пение».

В конце января отзывы об украинской труппе становятся более скупыми и сдержанными. Оно и понятно, новизна утрачена, многое в репертуаре повторяется. Поэтому об оперетте по повести Гоголя «Вий» рецензент И. Ольгин дает лишь краткую информацию: «В пятницу малороссы в театре во второй раз поставили оперетку «Вий». «Декоративно пьеса была обставлена прекрасно.<...> Все вокальные номера вызвали одобрение публики» (№ 21, 26 января).

Нередко в один день объединенная труппа, чтобы привлечь зрителя, одновременно дает два представления, как это происходило, например, 23 января 1903 г., когда на сцене театра Королева был поставлен бенефисный спектакль в честь В.П. Аркунина по «Отцам и детям» Тургенева и оперетта малороссов «Цыганские песни в лицах». Всеволод Долгоруков в своей краткой рецензии говорит о не совсем удачной переделке романа Тургенева, невысоком уровне исполнительского мастерства актеров, все же отмечая игру госпожи Абаровой в роли Одинцовой. Но свою оперетку украинцы, по словам Долгорукова, исполнили бойко и лихо (№ 21, 26 января).

В своей следующей рецензии от 2 февраля театральным критиком отмечается целесобразность объединения двух трупп, что сказалось на посещаемости томской публикой театра Королёва: «Очевидно, что театр стал посещаться охотнее с того времени, когда антреприза пригласила малороссийскую труппу и соединила обе труппы вместе». В этой же рецензии он дает небольшой обзор спектаклю украинской труппы «Лиса Патрикеевна», приуроченный к бенефису Е.П. Ясновской, которая не без успеха исполнила главную роль: «Г-жа Ясновская, несомненно, хорошая артистка, при том и внешность у нее милостивая и подкупающая».

Следующие рецензии о спектаклях русского и украинского состава объединенной труппы очень сдержаны. Это относится к отзыву Долгорукова о драме по роману Г. Сенкевича «Камо грядеши» и Ольгина об оперетте «И ночь, и луна, и любовь» (№ 28, 4 февраля, с. 3; № 33, 9 февраля).

Перед наступлением Великого поста проходят заключительные спектакли объединенной труппы, часто устраиваются бенефисы в честь ведущих актеров. Об одних бенефисах рецензенты дают лишь скудную информацию, как, например, о бенефисе В.Я. Шмардина в «Фоме Гордееве» Горького. В своей краткой заметке И. Ольгин отмечает «плохое исполнение пьесы», размышляя, что «не присутствующие зрители ничего не потеряли». (№36, 13 февраля). Но о бенефисе С.М. Антонович при участии украинского состава труппы в опере Станислава Монюшко «Галька» Долгоруков не отделался скупыми замечаниями. Видимо, опера вызвала у томской публики неподдельный интерес, и ее постановка требовала профессионального истолкования. В своей рецензии Долгоруков вначале ограничивается общими сведениями, а затем касается качества игры актеров: «Исполнение

было удовлетворительное и как в декоративном отношении, так и со стороны костюмов, довольно чистых, опера была обставлена недурно. Правда, у исполнявшего партию Антона г. Чернова очень слабый голос, не выдается голосовыми средствами и бенифициантка; тем не менее их пение было прочувствованно и игра не лишена была драматизма. Особенно г-жа Антонович правдиво исполнила сцены сумасшествия Гальки» (№ 34, 11 февраля).

16 февраля на томской сцене были представлены прощальные спектакли: утром давалась «Гейша», а вечером «Запорожец за Дунаем» (вместо запланированной оперы А. Верстовского «Аскольдова могила»). После отъезда театральных трупп Долгоруков написал обширную рецензию в «Сибирском вестнике», размышляя о завершённом зимнем театральном сезоне в Томске. Он в целом дал невысокую оценку русской труппе, сформированной Ю.Ф. Строговой: «Драматическая труппа русская, сформированная г-жой Строговой, была бедна и в качественном и в количественном отношении. Особенно был беден женский персонал труппы с таким ничтожным женским персоналом. Надо только удивляться г-же Строговой, опытной и даровитой артистке, знающей хорошо условия жизни нашего города, что она решилась выступить с такой труппой. В труппе, впрочем, были и недурные силы и их приходится жалеть, потому что они одни в некомплектной труппе ничего не могли сделать...» (№ 38, 18 февраля).

Более высокую оценку получила украинская труппа под руководством Ф.А. Хмары, хотя, как отмечает рецензент, и она не была особенно сильна своим составом. «За исключением г-жи Ясновской и г. Хмара и Зозуля – остальные артисты были заурядные посредственности; но там были недурны хор и пение народных малороссийских песен доставляло хотя некоторое удовольствие». Украинцы, по его мнению, внесли «некоторое оживление, и спектакли с участием их посещались охотнее». Исполнение опер им удавалось значительно хуже, за исключением лишь «Гейши», исполнение которой «с участием артистов малорусской труппы прошло более удовлетворительно».

Оценивая общий уровень театральных постановок, рецензент пишет и о томской театральной публике. Бурная театрально-музыкальная жизнь культурной провинции сформировала своего требовательного зрителя, и он ожидает подлинного искусства, профессиональной режиссуры и исполнителей. «Поверьте, – заключает Долгоруков, – дайте хорошую труппу драматическую, оперную или опереточную, и Томск всегда ее окупит, и антрепренер останется с барышом».

Сергей Заплавный

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ТОБОЛЬСК

Еще издали, из окна вагона, увиделся белокаменный Тобольский кремль на Троицком мысу. Словно вырезанный из кости мамонта корабль, рассекал он согретое февральским солнцем предполуденное небо. Заснеженная ширь Иртыша и заречные просторы едва проглядывались, и было в этом ракурсе что-то неповторимо волнующее, будто подъезжаешь к родному дому, где давно не был.

Не успел я насытиться этим щемлящим чувством, набежал серый, испятнанный разнотравьем склон и стёр зыбкое, берущее за душу видение. По пути от вокзала к гостинице «Сибирь» оно вспоминалось вновь и вновь, пока впереди не показался златоглавый Софийский собор и сам кремль, но уже во всю свою ширь и высь...

Впервые я побывал здесь тридцать лет назад – в дни Всесоюзной творческой конференции «Новое в жизни – новое в литературе». Она проходила в Тюмени и собрала пишущую братию из большинства областей и республик во главе с генералитетом Союза писателей СССР. И обсуждались на ней, согласно программе, «вопросы патриотического, интернационального и трудового воспитания в коллективах Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и роль художественной литературы в формировании советского характера». Сухие, правильные речи перемежались с яркими, проблемными, поистине писательскими размышлениями, деловые заседания с задушевными выступлениями на предприятиях, в библиотеках, учебных заведениях. А в заключение, разбившись на мобильные группы, мы разъехались на ударные стройки Тюменского и Томского Севера. Я напросился в Тобольск, где строился и отчасти уже действовал один из гигантов отечественной нефтехимии – Тобольский нефтехимический комбинат. Такой же возводился в Томске, где я, как томич, уже не раз бывал. Хотелось сравнить их.

Но не только это двигало мной. Работая над документально-художественным повествованием «Рассказы о Томске», одна из глав которого рисует историю освоения западно-сибирского нефтяного Севера, я то и дело вплетал в него сведения о других сибирских городах и, прежде всего, о первой столице Сибири – Тобольске. Их связывают многие исторические события, славные имена, деяния. И даже повороты их непростых судеб имеют немало общего. Всё это и вспомнилось мне тогда во время писательского марш-броска в Тобольск. А ещё вспомнилось то приподнятое настроение, которое выразил коллективно родившийся в пути перифраз: «Все дороги ведут в Тобольск!». В нём соединились заботы текущего дня и ожидание чего-то важного, сокровенного, идущего из глубины веков. Я бы сказал, ожидание открытия своего, *сибирского Рима*...

Томск моложе своего старшего брата всего на 17 лет. В 1629 году царским указом Сибирь была разделена на два разряда – Тобольский и Томский. К Томску отошли Сургут, Нарымский, Кетский, Кузнецкий, Енисейский, Красноярский остроги. Он стал центром «второй Сибири». Через них легла дорога в «третью», восточную, и дальше к Тихому океану. На счету тоболяков и томичей много совместных походов, созидательных дел и сражений за Отечество. Одно из самых ярких – Бородинское. В 1812 году Томскому пехотному полку выпала честь оборонять знаменитый редут Раевского, а слева от него насмерть стоял Тобольский пехотный полк. Заряжающий одной из пушек, знаменитый лермонтовский дядя, судя по всему, сибиряк, описал это сражение так:

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..

Земля тряслась – как наши груди;

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой...

129 лет спустя, здесь же, на Бородинском поле, в составе 32-й Сибирской Краснознамённой стрелковой дивизии плечом к плечу обороняли Москву от немецких полчищ то-

боляки и томичи. А командовал дивизией выпускник Томской пехотной школы комсостава В.И. Полосухин.

Многие годы Тобольск был административным центром Зауралья, однако со временем проходивший через него тракт лёг южнее – по меткому выражению «хожалых» людей *спрямился*. Там же пролегла Транссибирская железнодорожная магистраль. И остался Тобольск на отшибе, уступив своё место набирающей силу Тюмени.

Нечто подобное случилось и с Томском. Его судьбу решили каменные берега через Обь у деревеньки Кривощёково. Они как нельзя лучше подходили для возведения несущих опор железнодорожного моста, к тому же Транссиб заметно спрямлял Сибирский тракт. На месте Кривощёкова вскоре вырос Ново-Николаевск (Новосибирск), а Томск, как и Тобольск, остался на отшибе. Однако ни тот, ни другой при этом не потерялись. Тобольск сохранил значение историко-культурного и духовного центра России, а Томск по-прежнему входит в число трёх ведущих научно-образовательных комплексов.

С ними связаны судьбы многих знаменитых сибиряков. Одна из улиц Тобольска носит имя его воспитанника, декабриста Г.С. Батенькова. Но и с Томском Гавриила Степановича роднят четырнадцать лет жизни – сначала как инженера 10-го округа путей сообщения, много сделавшего для его благоустройства, а годы спустя как ссыльнопоселенца. Здесь наиболее полно проявился литературный, педагогический, строительный, научный талант этого незаурядного человека. Столь же заметный след в истории Томска оставила литературная и общественная деятельность другого тоболяка – известного писателя-народника, «бытописателя Сибири» Н.И. Наумова.

Многообразны родственные и научные связи с Томском почетного гражданина Тобольска Д.И. Менделеева. Здесь жила старшая его сестра Екатерина. После смерти мужа, управляющего Томской казённой финансовой палатой, она перебралась к брату в Петербург. Стоит ли удивляться, что её младший сын, Федор Капустин, любимый племянник Менделеева, стал одним из заслуженных профессоров первого в Сибири Томского императорского университета, а сам Дмитрий Иванович, немало сделавший для развития сибирской науки, избран почётным членом сразу двух томских вузов – университета и технологического института, тоже первого в азиатской части России.

Они, а затем медицинский, педагогический, инженерно-строительный институты, институт радиоэлектроники и электронной техники стали стартовой площадкой для многих прославленных учёных, изобретателей, государственных деятелей, руководителей науки и производства. Среди них – конструктор Останкинской телебашни, создатель берущего за душу монумента «Родина-мать» в Волгограде, комплекса зданий Московского университета тоболянин Н.В. Никитин и другие его земляки.

Однако знать историю города и увидеть его воочию – не одно и то же. Это я почувствовал сразу по прибытии нашей писательской группы в Тобольск.

Наиболее впечатляющие сооружения его Нефтехима поднимались на высоту птичьего полета. К ним примыкали непривычно длинные корпуса, шарообразные резервуары, переплетения труб и металлических сооружений, уже обжитые кварталы и развороченные строительством площадки. Здесь царил неостановимое движение, после которого сам Тобольск показался островком величавой старины и покоя, затерявшимся в безбрежных таёжных просторах. Его венчали единственный в Зауралье кремль и по-воински скромный обелиск Ермаку на Чукманском мысу. По словам знатоков города, полтора века назад здесь устроен был сад с цветником и оранжереей. В ней произрастали не свойственные для Сибири растения и даже вызревали ананасы. Но потом оранжерея сгорела, а сад Ермака пришёл в запустение и лишь теперь восстанавливается, обретает, как и сам обелиск, должную значимость... Побывали мы и на Завальном (иначе говоря, на вынесенном за городской вал) мемориальном кладбище, где покоятся П.П. Ершов и П.А. Словцов, отец и сестра Д.И. Менделеева, выдающийся исследователь Сибирского Севера А.А. Дунин-Горкавич, декабристы В. Кюхельбекер, А. Муравьев и другие сыны Отечества. Драгоценными вкраплениями в ноябрьский пейзаж заметно обветшавшего верхнего и особенного нижнего города гляделись резной драматический театр и другие памятники деревянного и каменного зодчества.

После ознакомительной экскурсии по городу один из участников той поездки в Тобольск заметил:

– Сплошные завалы истории...

– Всем бы такие завалы, – по-своему истолковав его реплику, заступился за город я.

– Речь не о содержании, речь о состоянии, – последовал разъяснительный ответ. – Через три года Тобольску четыреста лет стукнет. И что? Первый царь-град Сибири, а выглядит, как бедный родственник. И это в нефтяном краю, при таких-то богатствах?! Тут невольно задумаешься: а соответствует ли городу хозяин?

Завязался обычный в таких случаях *лестничные* разговор:

– А вот у Даля чётко сказано, какой мерой наши предки начальство мерили.

– И какой, интересно знать?

– Да очень простой. Есть полный хозяин, иначе говоря, полноценный. Есть половинный. Есть, извините за выражение, четвертной. Полный по двору пойдет – рубль найдёт. Половинному не до жиру, быть бы живу. Ну а четвертной всё, что имел, растеряет. Вот и сегодня та же проблема: где найти полноценного хозяина? Чтобы двор при нем не хирел, а приумножился.

– И как бы вы сами на этот вопрос ответили?

– Однозначно, – отшутился знаток «Словаря живого великорусского языка», составленного В.И. Далем. – Вырастить! Лучше всего – на своей же грядке...

В каждой шутке, как известно, есть доля правды. Вот и эта удивительным образом сбылась. В 1986 году, то есть всего через два года после того, застрявшего в моей памяти разговора, председателем Тобольского горисполкома был назначен Аркадий Григорьевич Елфимов. Родился и вырос он в Тюмени, там же окончил инженерно-строительный институт. В двадцать семь лет стал главным инженером, а затем начальником управления по строительству объектов социального и культурного назначения Тобольского нефтехимического комплекса. Позже возглавлял домостроительный комбинат. В эти годы и сформировался как специалист, а ещё как краевед, коллекционер, библиофил, фотохудожник, общественный деятель. Стать *полноценным хозяином* исторического города без всего этого вряд ли возможно.

За короткий срок Елфимову удалось подготовить юбилейные мероприятия, посвящённые 400-летию Тобольска, начать давно назревшие восстановительные работы, а главное – заразить тоболяков убеждённостию, что в Сибири провинции нет, ведь и сама она не государственная периферия, а перспективный, мирового уровня пространственный центр, счастливо доставшийся России.

В 1994 году наперекор рыночному разгулу, ломавшему страну, людские судьбы и души, Елфимов создал общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска». Это сужало и вместе с тем расширяло сферу его деятельности. Теперь ему не надо было вникать во все текущие хозяйственные дела города. Появилась возможность сосредоточить внимание главным образом на возрождении того, что по меткому определению всеохватного В.И. Даля, «совершается покорением чувственности и преобладанием духа».

Первым и поэтому самым любимым объектом фонда стал Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, включающий в себя кремль и Дворец наместника, научную библиотеку и бесценный архив, губернский музей и комплекс тюремного замка. Благодаря настойчивости Елфимова заповеднику возвращено, а затем отреставрировано построенное еще в 1889 году на добровольные пожертвования горожан мемориальное здание. Со временем в нём разместился Художественный музей, фонды которого постоянно пополняются произведениями живописцев, графиков, скульпторов России и стран Содружества, коллекциями икон, старинных фотографий, изделиями народных умельцев, антиквариатом и другими редкостями. Особое место в этом ряду занимает серия уникальных медалей «Славен град Тоболеск» работы выдающихся мастеров Г.И. Правоторова и А.В. Бакланова. Они посвящены знаменитым тоболякам и юбилейным датам Тобольска. Духовными доминантами города воспринимаются мемориальные доски, памятники и скульптурные композиции, установленные стараниями фонда.

Столь же масштабным и значимым направлением работы фонда стала его книгоиздательская деятельность. Поначалу он выпускал буклеты, каталоги, альбомы, книги по истории сибирских ремёсел, рукопечатных и печатных книг, краеведческие сборники. Они сопровождали тематические выставки, вернисажи, литературные встречи, чтения и другие текущие мероприятия, посвященные Тобольску. Затем как-то сама собой у Елфимова и его сподвижников вызрела мысль о необходимости создания периодического издания, которое бы, по словам В.Г. Распутина, «имело своей задачей просветительскую духовно-культурную работу на просторах всей Сибири». Так вот и родился литературно-краеведческий и научно-художественный альманах «Тобольск и вся Сибирь», наименованный так по

предложению того же Валентина Григорьевича. Эпиграфом к нему могла бы стать мысль, высказанная ещё древними историками-летописцами: «Мы исследуем прошлое и его героев для того, чтобы выразить свое отношение к событиям и героям сегодняшнего дня».

Книга первая, естественно, была посвящена Тобольску. Она соединила глубокие по содержанию и эмоциональному воздействию научные, публицистические, краеведческие статьи, путевые заметки, письма, воспоминания, поэзию и художественную прозу. И всё это в великолепном оформлении, на высочайшем полиграфическом уровне, в лучших отечественных традициях. И хотя в выходных данных каждого номера значилось, что альманах печатается в Италии в Вероне, на литературной родине Ромео и Джульетты, он дышал родной почвой, Сибирью и той удивительной по силе духа и энергии историей, которая позволила казакам-первопроходцам всего за пятьдесят один год на порубежье XVI и XVII веков передвинуть границы державы от Уральских гор до берегов Тихого океана. И это было не завоевание, а присоединение, обретение, а в итоге приобщение сибирских племён и народов к России, к её культуре, к её вере.

Помню, какую радость вызвало у меня известие о том, что следующие выпуски альманаха «Тобольск и вся Сибирь» будут посвящены Сургуту и Томску, а их авторами станут не только учёные и краеведы, но и члены творческих союзов этих городов. Не верилось, что такое возможно. Ведь за годы рыночных реформ профессионально работающие писатели и художники были оттеснены от литературы и искусства. Полноценные книжные издательства остались разве что в Москве, Петербурге и нескольких региональных столицах. На остальной территории бал правил (и правит) по большей части графоманский «самиздат»: есть деньги, издавай, что вздумается, – *бумага всё стерпит*. Творческие конференции, подобные тюменской, Дни литературы и другие мероприятия, дававшие в прежние годы возможность увидеть страну, напиться новыми знаниями и впечатлениями, пообщаться с читателями и коллегами, остались светлыми воспоминаниями.

Три пионерные книги альманаха увидели свет в 2004 году – одна за другой. Для Томска это был особый праздник, ведь город отмечал свой четырёхсотлетний юбилей. Посвященный ему выпуск предваряли такие строки: «Древние государевы наказы свидетельствуют: в 1604 году на строительстве Томского острога плечом к плечу с местным населением дружно трудились прибывшие на Томь посланцы Тюмени, Тобольска и Сургута. То был, пожалуй, первый опыт общесибирской стройки. В память о событиях четырёхвековой давности современные жители этих трёх городов – тюменцы, тоболяки и сургутяне – собрали денежные средства, необходимые для издания томского номера альманаха».

На презентацию книги в Томск прибыли генеральный директор издательского проекта А.Г. Елфимов и главный редактор альманаха, известный поэт, прозаик, литературный критик Ю.М. Ложиц. Тогда я впервые и познакомился с *полноценным хозяином* Тобольска. Он поразил меня широтой своих творческих задумок, целеустремленностью и ненасытной любознательностью. Всё в Томске ему было интересно – история, архитектура, люди, их взаимоотношения. И везде он не расставался с фотокамерой. Пользовался ею редко, но, как я убедился впоследствии, метко.

В 2005 году вышли четвертый и пятый выпуски альманаха – «Тюмень» и «Лукоморье», в 2006-м – «Югра» и «Омск», в 2007-м – «Красноярск» и «Иркутск», в 2008-м – «Триста лет учреждения Сибирской губернии»... Не знаю, как у других, а у меня к тому времени возникло ощущение, будто широкий неостановимый поток двинулся с Тобольского *бузга* на восток, соединяя времена и судьбы, племена и народы, их верования, культуру, искусство и устремления, заново открывая Сибирь всероссийскому читателю, на этот раз широко и объективно, без умолчаний и фальсификации.

Этот поток захватил и нас с женой, прозаиком Тамарой Калёновой. Через несколько лет после выхода книги «Томск» с нашим участием Елфимов предложил мне составить и отредактировать очередной выпуск альманаха, посвященный одному из первых сибирских городов, а ныне небольшому поселению Нарым. Пробовал я отказаться от этого почётного предложения, ссылаясь на то, что никак не могу дописать роман «Мужайтесь и вооружайтесь!», в котором немало страниц посвящено людям исторического Тобольска, но вовремя устыдился. Ведь возглавляемый Аркадием Григорьевичем фонд имеет определённые географические координаты, а потому не обязан выпускать книги о других сибирских городах, да ещё и находить для этого спонсоров, а потом дарить библиотекам, учебным заведениям, общественным организациям. Но он выпускает, находит, дарит. Для Елфимова общесибирское дело с Тобольска только начинается. Моё с ним не сравнить...

Теперь, когда книга «Нарым» заняла своё место в обложке альманаха «Тобольск и вся Сибирь», я мысленно благодарю Аркадия Григорьевича за доверие, за настойчивость, за опыт и те знания, которыми я обогатился, работая над ней, а затем над материалами для других выпусков.

На сегодняшний день, всего за десять лет, издано двадцать пять книг альманаха. Его авторами стали учёные и писатели, журналисты и художники, краеведы и народные умельцы, искусствоведы и фотохудожники, священнослужители и общественные деятели – всего более тысячи человек из разных краёв Сибири, из Москвы, С.-Петербурга, Пскова и других городов России. По сути дела, целая армия единомышленников. И хотя лично знакомы друг с другом немногие, всех нас, добровольно вступивших в эту разбросанную по стране армию, объединяют не только публикации и «сведения об авторах», своего рода *визитные карточки*, размещённые в конце каждого выпуска, но и верность отечественным традициям, память о прошлом во всей его многозначности, желание жить не в рыночном обществе, а в народном государстве.

Сборником стихотворений, поэм, писем известного в середине девятнадцатого века тобольского поэта-самоучки Евгения Милькеева дебютировала «Библиотека альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Следом вышли «Избранные произведения» Сергея Маркова, Владимира Арсеньева, повесть Валентина Распутина «Живи и помни», антология сибирской поэзии в двух томах «Слово о матери», составленная Юрием Перминовым, и другие сочинения о Сибири, её истории, её людях. Вышел в этой «Библиотеке» и мой одностомник. Для меня это великая честь.

Ещё одна издательская серия фонда «Возрождение Тобольска» получила красноречивое название – «Сибирский художественный музей». Каждый её выпуск – это книга-выставка, книга-альбом, книга-открытие. Они вводят нас в мир таких ярких мастеров изобразительного искусства, как живописец из Тобольска Николай Боцман, художник книги из Йошкар-Олы Александр Бакулевский, скульптор из Ялуторовска Владимир Шарапов и принадлежащий поистине всей России график из Москвы Фёдор Конюхов. Для каждого из них Елфимов нашёл свое яркое и ёмкое вступительное слово, а книгу Конюхова сопроводил проникновенным фоторассказом, и стало ясно, почему творчество и сама фигура именно этого человека обрели для Тобольска столь мощное звучание.

Фёдор Конюхов – человек-легенда. Его художнический и писательский дар (он автор более трёх тысяч рисунков и девяти книг) неотделим от дара подвижника, странника, богомольца, путешественника, укрепляющего силу тела силой духа, обретающего счастье в суровых «*хожениях за три моря*» и дальше – вокруг света (уже шесть раз он обогнул земной шар).

Внук полковника морской службы, исследовавшего русский Север под началом самого Георгия Седова, Фёдор Конюхов с детства мечтал о том же. В пятнадцать лет он пересёк на вёслах Азовское море, а возмужав, побывал в самых разных уголках планеты – на Северном, затем на Южном полюсе, на Эвересте и мысе Горн, в одиночку (опять на вёслах) переплыл Атлантический океан, таким же образом, но под парусом, достиг полюса относительной недоступности в Северном ледовитом океане, совершил ещё целый ряд столь же рискованных, единственных в своем роде путешествий. За них он внесён в энциклопедию «Хроника человечества». Эти путешествия и подсказали ему сюжеты чёрно-белых и цветных офортов, литографий, печатей на холсте и рисунков на бумаге в смешанной технике.

Во время своих «*хожений*» по свету не миновал Конюхов и «*град Тоболеск*». Он запомнился ему сразу и навсегда. Вот почему накануне 425-летия Тобольска «вечный скиталец» откликнулся на предложение Елфимова устроить здесь выставку своих избранных работ. «Духовный мир русского путешественника» – так называлась эта выставка. Перенесённая на бумагу, она стала двумя книгами серии «Сибирский художественный музей». А сам Конюхов, «помолившись, – по его выражению, – на священной тобольской земле», три месяца спустя, в день святителя Николы-Чудотворца, покровителя путешественников и моряков, принял сан священника и уже на седьмом десятке лет отправился в новое одиночное кругосветное путешествие, которое продолжается и сегодня. Его девиз прост и поучителен: «Истинное удовлетворение даёт не само достижение цели, а преодоление препятствий на пути к ней». Его опыт свидетельствует: «Именно энтузиазм выводит человека на стезю достижений». Его совесть говорит: «Человек всегда должен усердно исполнять заповеди Божии...»

Тех же правил придерживается и Аркадий Григорьевич Елфимов. Обязанностей у него, как у руководителя фонда, не счесть, но это не мешает ему постоянно впрягаться в рабочую лямку и наравне со всеми тянуть коллективный авторский воз. Его статьи, комментарии, живописные фотографии рассыпаны буквально по всем выпускам альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Уже в первом из них останавливает внимание его фотоочерк «Крестный ход в Тобольске». По признанию главного художника первых двенадцати книг альманаха А. Быкова, в нём «нет суеты, нет должностей и имущественных предпочтений, нет унылых и беспричинно весёлых, нет бесноватых... Есть шествие!».

И это характерная черта фототворчества Елфимова – вдумчивость, взглядчивость, умение не просто запечатлеть увиденное, но и вдохнуть в него чувство, мысль, настроение. Сюжеты своих фотополотен он строит обычно на контрасте времён, характеров, символов, на соседстве бренного и вечного, небесного и земного.

Наиболее впечатляющи в этом отношении его альбомы «Ангел Сибири». Первый из них увидел свет в 2005 году, второй – тремя годами позже. Один развивает и значительно дополняет тематические циклы другого. Многозначны уже сами названия этих циклов: «Взгляд», «Размышления», «Зимние этюды», «Люди», «Окна», «Двери», «Поверхности», «Отражения», «Тобольская графика»... Тот и другой выпуска объединяет вступительный триптих «Ангел Сибири». В левой и правой его части изображён вострубивший с дозорной башни знаменитый тобольский ангел. А в центральной части тот же ангел намеренно укрупнён и смотрит в заложенном досками и кирпичом проеме окна вековой башни покосившейся картонной фигурой на инвалидной деревяшке. Каждый волен дорисовать воображением то, что хотел сказать такой композицией автор, какие изломы в отечественной истории подчеркнул. Но сразу чувствуется, что это не *щелкунчик*, каких при современном развитии фототехники появилось множество, а творец, мастер, поэт и художник одновременно.

В этом убеждаешься, знакомясь с коллекционными изданиями фонда, такими как «Конёк-горбунок» Петра Ершова, поэтические сборники Дмитрия Мизгулина «В зеркале изменчивой природы», Юрия Перминова «Солнечный скворечник», Владимира Коробова «Изменчивый пейзаж», очерками Валентина Распутина «Отцовская благодать Байкала». К ним Елфимов сделал не просто фотоиллюстрации, а нечто большее – сотворческие художественные полотна, согретые тем же чувством, теми же образами и метафорами. А ещё он автор альбомов «Экспедиция» (это фоторассказ о природе и людях Северного Урала), «Камчатка», «Мальта», «Бразилия», «В стране героев и богов» (путевые заметки о Греции), оригинальных календарей, рисующих многообразие Тобольска, Сибири, мира. Оригинальных не только по темам и мастерству, но и по вниманию Аркадия Григорьевича к друзьям и самым активным авторам фонда. Небольшой фотопортрет каждого из них вписан в ту страницу ежедневника, которая соответствует дате его рождения.

Как тут не вспомнить строки Дмитрия Мизгулина из их с Елфимовым совместной поэтической книги:

*Всё вместила моя душа
Без остатка и без возврата,
Чередуются не спеша
Времена, события, даты...*

И вот я снова в Тобольске, на этот раз по случаю двадцатилетия фонда «Возрождение Тобольска». Приметы этого возрождения заметны на каждом шагу. Город стал светлей, ухоженней, живописней. Его украсили стилизованные уличные светильники, кованые ограждения, детские городки и другие малые архитектурные формы из цветного бетона и стеклопластиковых материалов. Особую выразительность обрела историческая панорама с куполами и звонницами тобольских храмов. Она не утомляет, а напротив, приобщает к «миру божественных сущностей», к непривычной тишине и немногочисленности на городских улицах, ко всему, что видишь и слышишь.

Юбилеи тем и хороши, что подчёркивают значимость того или иного события, собирают единомышленников, знакомят тех, кто ещё не был знаком, настраивают на сотрудничество в будущем.

Вот и для меня юбилейные дни фонда начались волнующей встречей с «мастером международной фотографии» (есть такое звание), лауреатом многих престижных российских и международных премий в области фотоискусства, а при близком общении – с удивительно скромным, самоуглубленным, по-детски улыбчивым человеком по имени Пал Палыч Кривцов. Его альбом «Ангел вострубил», выпущенный фондом шесть лет назад в *содружестве* (в одной художественно-тематической коробке) с альбомом А.Г. Елфимова «Ангел Сибири», запомнился мне магией чёрно-белого снимка, волшебством композиции, умением превращать лица в лики, а портретные кадры в фотообразы. С равным вниманием автор запечатлел будни священнослужителей и прихожан, именитых и рядовых тоболяков, а вперемешку с ними «Друзей Тобольска», таких как иркутянин В. Распутин, москвичи Ю. Ложиц, А. Быков, М. Переяславец, сургутяне Р. Карояков, А. Кот, И. Иванов, Ю. Важенин, новосибирец А. Алексеев, омичи Е. Греф и А. Никитенко с семьями, екатеринбуржец Е. Лыков... Но особенно поразила меня тогда фотокартина Кривцова «Ожидание». Сюжет её прост и трогателен до глубины души: мальчик четырёх-пяти лет, встав на детский стульчик, чтобы быть выше, припал русоволосой головёнкой к высокому животу матери, чтобы услышать там биение новой, родной ему жизни. И вот теперь Кривцов привёз в Тобольск для выставки «Творчества порыв святой» сто портретов ведущих деятелей культуры России, в том числе В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова, Г. Свиридова, В. Клыкова, Т. Петровой, Н. Бурляева, В. Крупина, А. Проханова и многих других творцов литературы и искусства.

Вечером Елфимов пригласил нас с Кривцовым к себе в гости. По тому, как обрадовались Пал Палычу хозяйка и дети, я понял, что он здесь человек *свой*. Да и мне показалось, что я уже видел прежде и Ольгу Владимировну, и Петра. Но где? когда?.. И вдруг заметил на стене фотокартину «Ожидание» из альбома Кривцова «Ангел вострубил». Тут меня и осенило: так это же Петя с матерью, а младший сын Аркадия Григорьевича Павлик – тот, кого они так трепетно ждали.

В старину многодетных отцов называли *семьянистыми*. Елфимов вполне подходит под это уважительное определение. У него пятеро сыновей и дочь. Тут поневоле поверишь в народную расшифровку слова *семья*. Согласно ей семья – это *семь «я»*, начиная с главы семейства. А в семье, как известно, и каша гуще. В этом мы с Пал Палычем имели возможность лично убедиться. А если серьёзно, то нам в тот вечер подумалось, что Елфимов и в делах фонда человек семейный. Есть у него такой дар – объединять, сдруживать, опекать, заботиться и делать, выражаясь по-кривцовски, «друзьями Тобольска» всё новых и новых сибиряков и россиян, заражать их духом творческого родства и ответственности.

Ту же семейную атмосферу понимания и согласия я почувствовал на следующий день *во дворце* фонда «Возрождение Тобольска». (Представьте себе полуразрушенное здание городской конюшни, инженерными стараниями Елфимова превращённое в уютный белостенный особняк, и вы поймёте, почему я назвал его дворцом). На первом этаже разместились сотрудники Аркадия Григорьевича, на втором, среди редкостных книжных собраний, картин с дарственными надписями, скульптур, исторических фотографий, всевозможных карт – он сам. На третий вела витая деревянная лестница. Не ошибусь, если назову этот этаж мансардой. Пол его сложен из прозрачных квадратных плит. Ступая по ним, чувствуешь себя так, будто идёшь по воздуху. Посреди мансарды – чайный столик и кресла. В окно, как с палубы океанского корабля, открывается вид на нижний город, Иртыш и подёрнутые дымкой заречные дали.

Здесь, в кабинете Елфимова, похожем скорее на музей, чем на служебное помещение, я *вживе* увидел факсимильное издание «Чертёжной книги Сибири» и других трудов С.У. Ремезова, с которыми прежде был знаком лишь по иллюстративным изданиям фонда, впервые подержал в руках медали из серии «Славен град Тоболеск», восхитился цельногравированной книгой «Возвращение Тобольска», в которой писательский талант Валентина Распутина удивительным образом соединился с мастерством вдохновенного художника-графика из С.-Петербурга Нины Казимовой.

А малое время спустя чайный столик в мансарде свёл меня с самой Ниной Ивановной и Александром Васильевичем Баклановым, главным художником-дизайнером монетного двора Гознака, автором медалей «300 лет Сибирской губернии», «Адмирал А.В. Колчак», «Первый губернатор Сибири – князь Матвей Петрович Гагарин» и мемориальной доски тому же Гагарину, установленной на стене государственного архива вблизи от приютившей нас гостиницы «Сибирь». Для приезжих это лучшее соседство – вышел на улицу, вот как

я утром, и сразу соприкоснулся с историей. Ну а для Бакланова – радость, что труд его (и труд замечательный!) служит людям.

К двадцатилетию фонда Казимова подготовила графические изображения двадцати героев Тобольской истории (двое из них – Г.С. Батеньков и Н.И. Наумов, как я уже упоминал, стали героями и Томской истории). А в октябре прошлого года выставка её работ «Страницы медных книг» экспонировалась в Губкинском музее освоения Севера Ямало-Ненецкой автономной области. Вот я и спросил у Нины Ивановны: не сибирячка ли она по рождению? Уж очень у её фамилии сибирские корни... Оказалось, сибирские корни у её мужа, тоже художника, а у нее, скорее, сибирская корона.

Зато у Александра Васильевича корни самые что ни на есть сибирские. Родился и вырос он в деревеньке Бакланово Вагайского района. До неё от Тобольска рукой подать. Народ там подобрался крепкий, мастеровитый, было у кого уму-разуму поучиться. Взять хотя бы...

И стал Бакланов вспоминать родичей и соседей, да так, что заслушаешься. А сам, прихлёбывая душистый травяной чай с мёдом, нет-нет в окно глянет, словно надеется увидеть там, сквозь годы и расстояния, свои первые шаги в мир художественных образов. Начинать он как живописец и график, но главным делом его жизни стало медальерное искусство. Он автор более 350 работ в этом жанре. Среди них – «500 лет Русского государства», признанная «лучшей палладиевой монетой мира», «30 лет полета первого человека в космос» и «Суверенитет, демократия, возрождение», признанные «лучшими историческими монетами мира»...

Затем к нашей беседе подключились фотохудожник из Екатеринбурга Евгений Лыков, поэт из Омска, он же главный редактор альманаха «Тобольск и вся Сибирь», сменивший на этом посту Ю.М. Лошца, Юрий Перминов и писатель, историк и публицист из Москвы Игорь Шумейко. Вот уж и верно, все дороги ведут в Тобольск...

Юбилейные дни, посвященные 20-летию фонда «Возрождение Тобольска», начались творческой встречей со студентами художественно-графического факультета Тобольского педагогического института и выставкой фоторабот П.П. Кривцова в торговом центре «Ермак». Затем, 27 февраля, торжества переместились на территорию Кремля. Здесь, во Дворце наместника, тоболян и гостей города ждали выставки «Из даров фонда «Возрождение Тобольска» Тобольскому музею-заповеднику» и «20 героев Тобольской истории» Н.И. Казимовой. Ключевой в праздничной программе этого дня стала церемония вручения людям творческого труда и подвига Всероссийской премии имени Фёдора Конюхова. Учреждена она по инициативе фонда «Возрождение Тобольска» и поддержана городской администрацией, которую ныне возглавляет Владимир Владимирович Мазур (к слову сказать, выпускник Томского государственного университета, в прошлом заместитель мэра Томска и заместитель губернатора Томской области).

Первым лауреатом этой премии в номинации «Слово» стал большой русский писатель, главный редактор газеты «Завтра», «телевизионный трибун», он же «последний солдат империи», как окрестили его броские на эпитеты журналисты, Александр Андреевич Проханов. В Тобольск он прибыл двумя днями раньше, успел побывать на поражающем воображение Нефтехиме, который «помнит ещё с пелёнок», встретиться с читателями в молодёжном центре, отметить в кругу тоболяков и «друзей Тобольска» своё 76-летие и посадить дерево в липовой аллее уникального парка, созданного А.Г. Елфимовым. Фёдор Конюхов, по образному определению Проханова, это вечный путь человечества через пространство и время, воплощённый в образе одного человека. Точнее не скажешь.

Победителем в номинации «Образ» стал «петербургский тоболяк» А.В. Бакланов, последняя творческая работа которого – медаль Фёдора Конюхова – заслуженно украсила и его грудь. Лауреатом в номинации «Преодоление» назван лётчик-космонавт, директор Института истории естествознания и техники РАН Юрий Михайлович Батулин. Посаженные ими липы тоже украсили парк А.Г. Елфимова.

Ещё три премии остались в Тобольске. Руководитель главного строительного комплекса ОАО Корпорация «Монтажспецстрой» Борис Иванович Коваленко отмечен в номинации «Благое дело»; краевед, доцент кафедры сервиса и туризма ТГСПА имени Д.И. Менделеева, один из активистов фонда «Возрождение Тобольска» Евгений Александрович Панишев в номинации «Память», а пятнадцатилетний ученик детской школы искусств имени А.А. Алябьева, одаренный пианист Алексей Кривенков – в номинации «Будущее России».

После вручения премий состоялся «круглый стол» «20 лет фонду «Возрождение Тобольска». Он собрал людей самых разных профессий, званий, заслуг. Их объединяло то, что нынешняя финансовая и политическая элита, пусть нехотя, сквозь зубы, но всё же стала признавать. Семь лет назад как-то незаметно, невнятно промелькнул Год русского языка. А ныне с превеликими пробуксовками разгоняется и всё никак не может разогнаться Год культуры. Однако на местах, вот как в Тобольске и других глубинных городах России, уже давно идёт напряжённая целенаправленная работа в этом направлении, но – увы! – она крайне редко встречает поддержку власти, а тем более отмечается по заслугам.

Ныне появилось много дат, которые по замыслу их учредителей должны нас радовать и вдохновлять. Ну вот, например, День счастья. Он введён решением Генеральной Ассамблеи ООН и выпал на 20 марта. Уже трижды страны мира, в том числе Россия, отметили эту красивую дату. И что? Кто-нибудь у нас её заметил?

Величину счастья по западным стандартам принято измерять величиной кошелька, степенью комфорта, количеством товаров, развлечений, услуг, градусом личного успеха. А с этим у подавляющего большинства россиян серьёзные проблемы. Зато свежо в памяти иное, дорыночное представление о счастье. И тяготело оно к ценностям, которые одним лишь материальным благополучием не измерить. Имя этим ценностям – подлинная культура, творческий труд, чистая любовь, родинолюбие, жизнь по совести и справедливости, коллективизм.

Обо всём этом я думал во время «круглого стола», подводившего итоги работы фонда «Возрождение Тобольска» за двадцать лет. До Международного дня счастья оставалось ровно двадцать дней, но душа не терпит искусственных, взятых с потолка праздников. Вот и моя не хотела ждать. Она была переполнена впечатлениями, радостью новых знакомств, открытий, воспоминаний, чувством сопричастности к тому большому Делу, которое возглавил и умело направляет Аркадий Григорьевич Елфимов...

А разве не радость – встретить в Тобольске томича, да ещё учившегося с тобой на одном факультете Томского государственного университета? Вот они: писатель, публицист, журналист, а ныне директор телерадиокомпании «Регион - Тюмень», член редакционного совета альманаха «Тобольск и вся Сибирь» Анатолий Константинович Омельчук и редактор газеты «Тобольская правда» Тимур Валериевич Волков.

Счастье складывается из многих составляющих. И самый верный его признак, на мой взгляд, внезапное желание писать стихи. Вот и меня на стихослагательство потянуло...

* * *

В галактических даях Сибири,
Упадая с бездонных высот,
Над Тобольским кремлем белокрыло
Снег идёт.

Снег идёт.
И сквозь белую замять,
Через зыбкую вязь куполов
Устремляется цепкая память
В глубь далёких и близких веков.

В глубь веков.
И рождаются лики
Тех, кто жил здесь,
боролся,
творил.
Лики смертных и лики великих.
Отсвет их незабвенных могил.

Снег идёт.
Оживает былое...
Вот Ермак на высокий Чукман
Русь ведёт.

Это дело святое –

Андрей ДОРОШЕНКО

«ПРЕПАРАТ Х»

«В 1995 году, в соответствии с законом о свободном доступе к информации, конгресс США обнародовал в числе других секретных материалов тридцатилетней давности документ под кодовым названием «Препарат Х». Новейшее биологическое оружие, разрабатываемое секретной лабораторией в штате Массачусетс, должно было стать страшнее ядерной бомбы. После лабораторных экспериментов над шимпанзе, смертоносный порошок был распылён над бассейном реки Конго, что привело почти к полному истреблению обезьян Центральной Африки. После такого успеха Пентагон решил нанести удар по Вьетнаму. Тринадцатого сентября 1965 года на вьетнамскую армию было сброшено сто семьдесят три тонны белого порошка. Но вскоре возбудителя предпологаемого заболевания обнаружили у американских солдат. Однако выяснилось, что действие возбудителя болезни на человека отличается от действия на обезьяну и не приводит не только к смерти, но и к какому-либо заболеванию. Исследования по данной теме вскоре были заморожены.

О «препарате Х» вспомнил профессор Кембриджского университета доктор Хайт. К ученику Хайта в целях профилактического осмотра обратился престарелый инвалид. Здоровье пациента оказалось феноменально крепким для его возраста. Внимание врача привлёк только неизвестный ему кишечный паразит. Не найдя никаких сведений в литературе, доктор обратился к профессору Хайту.

Научная интуиция сразу подсказала опытному ученому наличие связи между неизвестным паразитом и «Препаратом Х». Хайт сразу поинтересовался у пациента, не участвовал ли тот во Вьетнамской войне. Выяснилось, что майор Браун (так звали пациента) действительно воевал в джунглях Вьетнама.

В результате исследований доктор Хайт установил, что паразит поедает в первую очередь шлаки организма, а также нитраты и другие вредные вещества. Единственным побочным действием можно считать потерю веса, так как эта искусственно выведенная разновидность аскариды уничтожает до семидесяти процентов жиров, съеденных человеком.

За комментариями мы обратились к профессору Второго московского медицинского института, члену-корреспонденту Академии медицинских наук Е.А. Заливайло. Вот что он нам рассказал.

«Организм человека – сложная система. В нём происходят сложнейшие биохимические процессы. Всем известно, что в желудке и кишечнике человека, постоянно живут бактерии, способствующие перевариванию пищи. Так сказать, полезные микробы. А раз уж есть полезные микробы, то почему бы не быть полезным глистам?!

Я знаю Хайта, как ответственного, очень добросовестного ученого. На днях мы получили от него для наших независимых исследований образцы «Препарата Х». Говорить о результатах еще рано. Но могу заметить, что когда доктор Хайт начал продажу своего препарата в Бельгии, там была на гастролях одна наша известная певица. Как она сейчас выглядит, вы можете увидеть, включив телевизор. Я не имею сведений, пользовалась ли она препаратом. Но когда другая наша певица сбросила килограмм тридцать лишнего веса, я заинтересовался, и навел справки. Тайну своей диеты обе отказались мне сообщить, но обращает на себя внимание тот факт, что и вторая певица похудела сразу после гастролей в Брюсселе».

«Русская красавица», июнь 1998 г.

Около полудня, когда Алексей Петрович уже собирался отнести свой спецчемодан в первый отдел, чтобы в обеденный перерыв сбежать заказать набойки на женины туфли, в лабораторию заглянула Клавдия Захаровна и кинула: «Хомутов, к городскому!» Алексей Петрович прошёл в кабинет начальника, к единственному в отделе телефону с выходом в город, и услышал как всегда ликующий голос Витьки Оптимиста. Оптимист – это не фамилия, это – студенческое прозвище. А фамилию Оптимиста Алексей Петрович к стыду своему никак не мог вспомнить.

– Старик! – кричал Витька. – Ты вечером свободен? Заезжай ко мне! Тут у меня Васька Трубин сидит. Расслабимся маленько, потрещим о жизни нашей скотской. Карандаш есть? Пиши адрес!

Алексей Петрович был страшно рад повидаться с друзьями молодости. Все трое учились в разных институтах, но их извилистые студенческие тропы не раз пересекались, что и вылилось в крепкую настоящую мужскую дружбу.

Он пообещал приехать, распрощался с Оптимистом и двинулся к двери.

– Алексей Петрович! – босс оторвался от своих бумаг. – Заработать хочешь?

– Что делать? – коротко спросил Хомутов.

Шеф выдвинул на себя столешницу и протянул небольшой полиэтиленовый пакетик, наполненный белым порошком:

– Опиши. Деньги немедленно.

«Опиши!». Легко сказать «опиши»! Для человека постороннего – так чего тут делать! Написал: «порошок белого цвета в полиэтиленовой упаковке» – и все дела! Но Алексей Петрович, его начальник, да и любой химик знают, что на самом деле означает это короткое слово «опиши». Это значит – разберись с этим порошком досконально, установи, чего туда понамешано, и выдай химическую формулу каждого ингредиента.

А для этого надо провести десятки опытов. Заливать микроскопические дозы этого порошка (микроскопические, хотя бы потому, что его не так уж много) то кислотой, то щелочью, то еще не пойми чем, следить за реакцией. Растворять его в том, в чем он растворится, потом этот раствор титровать часами.... Эх!

«Препарат X» прочитал Алексей Петрович на синей этикетке. Он не спросил, сколько ему причитается, ведь подработать по специальности – редкая удача. Не спросил и о сроках, чем скорей, тем лучше, что ж тут непонятного. И уж конечно не спросил, сколько заработает начальник только за то, что передал пакет ему, Хомутову.

– Хорошо, Степан Станиславович.

– Заваливай, старик! – гостеприимно пригласил Витька.

– Хомут, привет! – весело заорал Трубин.

И после обязательных объятий вперемешку с сокрушительными ударами по плечам и спине, друзья расположились на кухне размером с небольшой аэродром.

– А ты всё, значит, в своём НИИ? – спросил Витька.

– Ага, – кивнул Алексей, оглядывая просторы стола, и в очередной раз подумал, стоит ли синтезировать начинку для лучших в мире ракет или всё же начать продавать жвачку.

Алексей Петрович постарался не выпучивать глаза и не открывать рот, чтобы совсем уж не походить на деревенщину. Дескать, видали мы такое! Но, всё-таки, одно дело – по телевизору, в их американском кино. А вот, например, домофонов с экраном Алексей Петрович и в кино не видел.

Из разговоров «что да как» выяснилось, что у Трубина дела совсем плохи. Зарплату учителям уже полгода не платят, а с университетским дипломом филолога никуда больше не сунешься. А как всё хорошо начиналось! Постоянные публикации в студенческой малотиражке и грёзы об известности старика Хэма!

Алексей Петрович поведал друзьям, что тоже давненько не видел окошечка кассы, но выкручивается, как может. То стенки кладёт, то трубы варит. Пользуется стройотрядовским опытом.

– Да, старик, – обрадовался Витёк, – ты мне можешь в ванной подогрев пола заманстрячить?

– Только так!

– Ты, Лёха, вообще молодец! – оценил Оптимист ответ. – Оплату гарантирую.

– Да брось ты!

– Не. Любой труд должен быть оплачен. Держи задаток.

И всунул в нагрудный карман пиджака, слабо отнекивающегося Алексея Петровича, пару зелёных бумажек.

– Да! – Хомутов взял со стола телефонную трубку, приложил к уху, и, не услышав гудка, принялся ее разглядывать.

– Тут нажми, – подсказал Оптимист, но Алексей уже и сам увидел кнопку с надписью «ON-Off».

– Лидочка, – сказал Алексей Петрович, набрав номер, – я сегодня задержусь. Тут... Он положил трубку на стол и решил посидеть ещё минут десять.

Домой он вернулся в приподнятом настроении, правда, немного омрачённом ожидаемой взбучкой. Но Лида не сердилась за опоздание.

– Лидочка, подвинься, пожалуйста, – Алексей полез под кровать, где стояла коробка из-под телевизора. Лидия Дмитриевна сместила дородное тело на край кровати, не отрываясь от дела. Она распускала переднюю часть свитера. Лидия Дмитриевна давно хотела вязать свитера и зарабатывать этим уйму денег. А пока она тренировалась: неделю вязала мужу свитер и один день распускала.

В коробке из-под телевизора лежала коробка из-под ботинок, а в ней — коробка из-под конфет. А в коробке из-под конфет лежали все сбережения семьи Хомутовых. Алексей Петрович не доверял ни банкам, ни акциям, ни облигациям, ни, тем более, всяким там МММам.

Если повезет с калымами, еще пару лет, и можно будет подумать об однокомнатной квартирке. Или о двухкомнатной, но уже без удобств. Или ещё потерпеть и сразу замахнуться на двухкомнатную? А то ведь Лидочка меньшая подрастает, и так уже никакой личной жизни.

Алексей Петрович пересчитал деньги. Опешил и пересчитал снова.

– Лидусь, ты денег не брала? – спросил он.

– А что, не хватает? – поинтересовалась супруга, продолжая мотать клубок.

– Пять сотен.

– Посчитай получше.

– Я уже два раза пересчитывал!

– Значит, там столько и было, – спокойно объяснила жена.

– Я что, по-твоему, совсем идиот?! – вспыхнул Алексей Петрович.

– Что ты носишься со своими деньгами! – грянула и Лидия Дмитриевна. – Не брала я их! Люди вон какие бабки заколачивают! Трубоч твой лопатой загребают! А ты! Что ты за мужик!

Раньше Алексей возмущался такими словами и требовал от своей половины признания того, что мужик-то он что надо! Но со временем привык и стал пропускать мимо ушей. Оно и спокойней: ругани меньше. Вот только упоминание Витьки Трубина удивило его.

– Что-то он мне ничего не говорил.

– Мне сегодня Труба звонила, хвасталась. За одну страничку полтысячи. Зеленью! Вот почитай!

Лидия Дмитриевна выпростала откуда-то из-под себя последний номер «Русской красавицы» и протянула Хомутову. Больше всего на свете Алексею Петровичу хотелось зашвырнуть журнал подальше. Но почему-то он просмотрел статью. Затем перечитал внимательно. Зародившиеся подозрения погнали его на кухню. Не обращая внимания на соседку, Хомутов изучил содержимое своего мусорного ведра. Опасения подтвердились.

– Что это?! – гневно спросил он с порога комнаты, держа двумя пальцами пустой прозрачный пакетик со знакомой синей этикеткой «Препарат X».

– Ну милый, чем четыреста долларов отдавать за тренажёр, да потом еще крутиться как белка, уж купить так купить. Выпил и порядок. Ты ведь хочешь, чтоб твоя жёнушка была красивой? А, зайчик?

В прошлый раз, когда Лида купила эластичные шорты для похудения во сне, такой приём сработал. Алексей только долго потом убеждал жену, что договорились же копить на квартиру. Так никогда не купим. А тут Хомутов совсем сбрендил.

– Дура! – выкрикнул он.

И тут ему нет никакого оправдания. Каждый школьник знает, что нельзя оскорблять женщин! Мужика – того можно. И бить мужика можно. Когда Лидия Дмитриевна хрястнет Алексея Петровича сковородкой по башке, разве станем мы её осуждать! Но назвать женщину душой! Это уже ни в какие ворота...

Хомутов кинулся на улицу.

– Сходи, сходи, проветришься, – крикнула ему вслед законная половина.

С неба сыпала какая-то неприятная мразь. Алексей подошел с ближайшему комку и взял бутылку «Столичной». Крутанул горлышко и посмотрел на снующих мимо прохожих. Ни у одного из них стакана в кармане не ожидалось. Приложился к горлышку – не идёт. Не

научился он ещё так. И побрёл Хомутов куда глаза глядят. «Еще врёт, – бормотал он про себя, – не брала!» Не знаю, сколько бы Алексей Петрович так прошагал, не наткнись он на телефонную будку. Телефон, как ни странно, работал.

– Мужики, вы ещё не расходитесь?

– Да у нас всё в самом разгаре! Не знаю, чего ты убежал. Подъезжай скорей!

Замок щёлкнул, и Алексей Петрович, захлопнув дверь подъезда, прошел в квартиру, оказавшуюся не запертой. Трубин сидел за столом, совсем уж наклюкавшись. Оптимист радостно кричал в телефонную трубку:

– Сколько?! За сегодня?!

– Нормально! – так же радостно выкрикнул он, положив трубку. – Я тебе обещал успех?! Надо тебе премию выписать.

– Я даже не знаю, когда была война во Вьетнаме, – со слезой в голосе прогундел Трубин.

– Брось ты! Кто на это обратит внимание!

– Я даже не знаю, где находится Кембридж. Вдруг не в Штатах, а в Англии.

Оптимист только отмахнулся.

– Ой, посадят! – совсем уж взвыл Трубин.

– Назови статью. Кодекс принести?

– Прикроют вас, ребята, – безо всякого злорадства, даже с непонятным ему самому сожалением, вмешался с порога Хомутов, – я сегодня анализ вашего препарата делал. По просту одного опровержения хватит. Ещё дня два-три, и всё.

– Конечно, прикроют! – по-прежнему ликуяще сказал Оптимист. – Только за три дня мы этого талька полвагона продадим!

**Эдуард Владимирович
БУРМАКИН**

Родился 12 октября 1928 года в Саратове. Старейший член Томской писательской организации. Доктор философских наук, профессор Томского государственного университета. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член Союза писателей России с 1964 года. Автор романов «Три испытания», «Наследники Ганнибала», книг прозы «Балкон без перил», «К морю», «Трагическое падение тополей» и многих других.

**Валерий Анатольевич
ДОМАНСКИЙ**

Родился в 1950 году. Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой филологического образования ЛОИРО (Санкт-Петербург), исследователь творчества Николая Клюева и новокрестьянских поэтов. Член Союза российских писателей, автор нескольких поэтических книг. Живёт в Санкт-Петербурге.

**Андрей Николаевич
ДОРОШЕНКО**

Родился в 1960 году в г. Салаире Кемеровской области. Окончил Томский государственный университет. В пору студенчества увлекся поэзией, печатался в «самиздате» под псевдонимом А. Борода. Сегодня пишет прозу. Издавался уже без псевдонима в периодических изданиях и в серии «Русские сны» (сборник «Где-то не здесь»).

В настоящее время живет в Кузбассе.

**Виктор Степанович
ЖУКОВ**

Родился в 1953 году в Новосибирской области. В 1975-м окончил филологический факультет ТГУ.

Работал преподавателем, журналистом, резчиком по дереву, плотником. Подборка стихов публиковалась в писательской газете «Прямая речь», г. Барнаул). С рассказами дебютировал в нашем журнале (№ 3, 2012).

**Сергей Алексеевич
ЗАПЛАВНЫЙ**

Родился в 1942 году в Чимкенте. Окончил Томский государственный университет. Работал учителем, редактором областной молодежной газеты, старшим редактором книжного издательства. Автор многих поэтических и прозаических книг.

Член Союза писателей России. Живёт в Томске.

**Александр Павлович
ЕВТЕЕВ**

Родился в 1963 году в Грозном. Живёт в Стрежевом. Работает на предприятии «Сургутнефтегаз». Окончил Томский политехнический институт. Печатался в газете «Томская нефть», в литературно-художественных альманахах «Стрежевой». Лауреат литературного конкурса «Зимний сад» в рамках городского фестиваля художественного творчества «На волне города» (2007). Первая публикация в журнале.

**Ольга Михайловна
КОРТУСОВА**

Родилась в Томске. Окончила факультет прикладной математики и кибернетики ТГУ. Печаталась в различных литературных альманахах. Член Союза российских писателей. Автор поэтических книг: «Приглашение»(1999), «Шкатулка Клеопатры» (2003), «Колыбельная для эпохи»(2008), «Книга для птиц и людей» (2008), «Новорождённая душа» (2012).

**Елена Викторовна
КЛИМЕНКО**

Родилась в Первомайском районе Томской области. Окончила факультет прикладной математики Томского государственного университета. Автор сборников стихов «Неуместные письма», «В подстрочнике мая», «Время витья гнезда». Член Союза писателей России. Работает в Томском государственном педагогическом университете. Ведёт в университете литературное объединение.

**Андрей Иванович
КРАТЕНКО**

Родился в 1961 году. В 1978 году поступил на факультет журналистики Томского госуниверситета. После окончания учебы работал корреспондентом Восточно-Казахстанской областной газеты «Рудный Алтай» (Усть-Каменогорск).

С 1987 года и по сегодняшний день собкор республиканской газеты «Ленинская смена» (теперь «Экспресс К»). Параллельно работал собкором сначала газеты «Караван», затем «Время». Был представителем информационного агентства «Интерфакс-Казахстан».

С 2009 года редактор газеты областного Дома дружбы «Вестник Ассамблеи». С 2012 года внештатный автор журнала «Горно-металлургическая промышленность».

**Владимир Михайлович
КРЮКОВ**

Родился в 1949 году на севере Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского университета. Сборники стихотворений «С открытым окном» (1989), «Созерцание облаков» (1994), «В области сердца» (2005), «Стихотворения» (2009) и др. Книги стихов и прозы «Линия ветра» (1999) и «Жизнь пунктиром» (2007).

Публикации в журналах России «Звезда», «Знамя», «Москва», «Литературная учёба», «День и ночь», в русскоязычных альманахах Германии.

Член Союза российских писателей.

Живет в селе Тимирязевском под Томском.

**Юрий Максимович
МАЛЫШЕВ**

Родился в 1942 году в Костромской области. С 1964 года и по настоящее время живёт в Северске. В 1971 г. окончил исторический факультет ТГУ. Полковник в отставке. Печатался в коллективных сборниках Томска, Северска и Перми. Публиковался в нашем журнале.

Автор сборника «Здесь лето промчалось моё» (Северск, 2009).

**Лев Фёдорович
ПИЧУРИН**

Родился в 1927 году в Ленинграде. Окончил физмат Томского педагогического института. Профессор, общественный деятель, публицист. Автор многих литературоведческих и краеведческих книг. Исследователь творчества Галины Николаевой. Почётный член Томской писательской организации. Живёт в Томске.

**Андрей Александрович
ПОЧИВАЛОВ**

Родился в 1972 году в г. Бийске Алтайского края. Рассказ во многом автобиографичен, автор тоже провел годы в исправительном учреждении. Печатался в местной газете.

Живет в Томске.

**Татьяна Валерьевна
ПРОКОПЬЕВА**

Родилась 1 января 1976 года в селе Старая Ювала Кожевниковского района Томской области. В 1998 году окончила колледж культуры и искусства – актёрско-режиссёрское отделение. Первая публикация стихов состоялась в газете «Томский вестник» в 18 лет. Но по-настоящему яркий дебют случился на страницах первого номера журнала томских писателей «Начало века» за 2013 год. В том же году вышла первая поэтическая книга.

**Валентина Григорьевна
СУРНИНА**

Родилась в 1947 году в Алтайском крае. После окончания Омского финансово-кредитного техникума работала в системе сберкасс. С 1978 года – электромонтёр в Северске.

Сейчас – на пенсии. Живёт в Томске. Это её первая публикация.

**Игорь Николаевич
ТЮЛЕНЕВ**

Родился 31 мая 1953 г. в пос. Н. Ильинский Нытвенского района Пермской области. Известный русский советский поэт, участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1988).

Член Союза писателей России (с 1989 года). Окончил с отличием Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Секретарь правления Союза писателей России с 2004 г.

**Юрий Анатольевич
ТАТАРЕНКО**

Родился в 1973 году в Новосибирске, там же живёт и работает. Актёр (несколько лет состоял в труппе Томского театра драмы). Поэт, член Союза писателей России, автор четырёх поэтических сборников.

**Михаил Васильевич
УСКОВ**

Родился 16 марта 1935 в г. Тайга Кемеровской области. Окончил Томский лесотехникум (1956 г.) и юридический факультет Томского государственного университета (1996 г.). Работал в Госавтоинспекции, народным судьей, адвокатом. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живёт в Томске.

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал
Издание томских писателей

Главные редакторы
Г. Скарлыгин
В. Крюков

Вёрстка журнала
Л. Кулманакова

Корректор
Т. Яблуновская

Редакция журнала принимает к рассмотрению первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо набранные на компьютере через полтора интервала (12–14 кегль), желательно с приложением набранного текста в любом формате на любом цифровом носителе.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Учредитель: Томское региональное отделение Союза писателей России.

Адрес редакции: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

Адрес издателя: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

Адрес учредителя: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС121331 от 21 марта 2007 года.

Выдано управлением Росохранкультуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

© Составление и оформление: «Начало века», 2014 г.

Формат 70×108 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2. Тираж 2000 экз.

Дата выхода журнала 25.07.2014. Цена свободная.

Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания»,
г. Томск, пр. Фрунзе, 103

